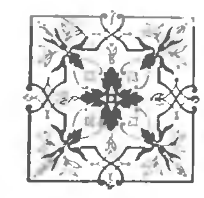
80 коп

2В-1-14

ИНДЕКС 73274



Наш современник, 1990, № 1, 1–192

НАШ СОВРЕМЕННИК №1 1990

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№1 1990



"... Ныче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы".
С.Есенин.

Фото Г. Савушкиной

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№1 1990

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

Отечественный архив

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Депутатская трибуна

КРИТИКА

Оформление художника В. ОЛЕФИРЕНКО

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры С. Л. Колганова, М. И. Кононова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.10.89. Подписано к печати 25.12.89. А-03687.
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2 Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,6. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,60. Тираж 482 000 экз. Заказ 2167.
Цена 60 коп.

НПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Депутатская трибуна

СЕРГЕЙ НЕПОБЕДИМЫЙ,
Герой Социалистического Труда, член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской, Государственных премий и премии Совета Министров СССР за 1989 год, депутат Верховного Совета РСФСР.

ПОРА ВОЗРОЖДАТЬ РОССИЮ!

Я НЕ СМОГ присутствовать на прошедшей в конце осени 11-й сессии Верховного Совета республики. Следил за ее работой по передачам телевидения, радио, публикациям в прессе. И вот впервые задумался над тем, что своих собственных средств массовой информации Россия не имеет. Вся печатная продукция принадлежит общесоюзным организациям и ведомствам. У «Советской России» целых три попечителя, первым из которых является ЦК КПСС. По существу, если подходить строго формально, то мы имеем всего-навсего русскоязычные органы массовой информации, но отнюдь не российские, тем более не русские.

Наверное, по этой причине ход сессии, принимавшей важнейшие для России законы о выборах, не был отражен в полном объеме ни телевидением, ни печатью, одна лишь информационно-музыкальная программа «Маяк» вела трансляцию в записи.

Мы как-то свыклись с мыслью, что Российское государство не имеет важнейших государственных органов: ни своей Академии, ни своих телеграфных агентств, ни своего телевидения, ни своего кинематографа, ни многого другого, что естественно, предположим, для Эстонии.

Об этом много уже говорилось, но так в структуре КПСС и не нашлось места для Компартии России. Каждому школьнику известно, что революционные преобразования в стране возглавили коммунисты России и партия у нас была Российская — РСДРП(б), РКП(б), и только при Сталине она потеряла национальное лицо, став ВКП(б) — КПСС.

На мой взгляд, именно то, что в КПСС нет лидирующего ядра, каким могла бы стать Компартия России, объясняет пробуксовку перестройки на всех уровнях. Не имеющая четко выраженной созидательной национальной платформы, КПСС, оперируя только интернациональными абстракциями и пытаясь угодить всем сразу, стремительно теряет авторитет и влияние как в центральных областях страны, так и в пока еще союзных нам республиках.

Многим памятно, как шумно заявила о себе на I Съезде Советов группа народных депутатов, назвавшаяся московской. О чем только не ораторствовали с высокой трибуны Съезда ее представители: о коррупции, о гонениях на кооператоров, о врагах перестройки с саперными лопатками в руках, о свободе самовыражения и свободе эмиграции, они очень эмоционально говорили о проблемах Закавказья и Прибалтики... Одного не было слышно в их пламенных речах — страдания о судьбе России, а ведь Москва не только столица СССР, в первую очередь она — столица РСФСР.

Очевидно, уяснив несоответствие собственного названия своим целям, группа сменила вывеску и стала называться межрегиональной. По-прежнему их волнуют и будоражат все проблемы, кроме проблем того народа, на языке которого они разговаривают и на территории которого проживают.

В истории нашей партии было немало печальных и весьма поучительных страниц. Одна из них — массовое вхождение в ряды большевиков так называемых межрайонцев как раз в то время, когда партия коммунистов становилась правящей. Межрайонцы, сразу проникнув в руководящие органы партии, оттеснили тех, кто вел практическую работу в массах, кто, собственно, и готовил революцию, затем они обосновались в зарождающемся госаппарате Советской власти, став в скором времени самой благодатной средой роста культа личности Сталина.

Что готовят нам межрегиональщики? Чьи интересы они представляют? «Известия» (№ 310 за 1989 год) опубликовали текст соглашения Союза кооператоров со стачкомом шахтеров Воркуты, в котором есть требование кооператоров: за оказанные бастующим услуги — обязательная поддержка на предстоящих выборах кандидатов от межрегиональной группы. Интерес-

чый получился парадокс. Межрегиональщики единодушно осудили саму идею выборов по территориально-производственному принципу, бесцеремонно заявляя, что рабочий класс является послушной игрушкой в руках аппарата и выборы от предприятий не будут свободными. Сами же, вступив в соглашение с лидерами кооперативного движения, фактически использовали трудности со снабжением бастующих регионов в крайне корыстных политических целях, заранее навязывая рабочим своих кандидатов.

Я бы не стал уделять так много места межрегиональной группе депутатов, если бы не наблюдал по телевизору, как активист-межрегиональщик депутат Стадник просил задержаться своих единомышленников после окончания рабочего дня сессии Верховного Совета СССР 24 октября для выработки неких совместных действий в связи с начинавшейся 25 октября сессией Верховного Совета РСФСР.

Похоже, что межрегиональщики начали серьезную и хорошо организованную борьбу за власть в России или корректировку решений по России. Прошедшая же сессия Верховного Совета РСФСР хоть и не смогла игнорировать требование о возвращении к действительно ленинским основам формирования советских органов власти как власти рабочих и крестьян, но сделала это как-то робко, со множеством оговорок, в качестве эксперимента, забыв, что самый главный эксперимент был уже поставлен в 1905 году рабочими Иваново-Вознесенска.

Вообще нельзя не отметить, что основная масса выступлений на 11-й сессии Верховного Совета РСФСР носила какой-то примиренческий характер. Казалось, что депутаты, направляясь к трибуне, больше всего беспокоились: как бы чего из-за их речей не вышло... Нельзя не понимать: такое поведение — результат того, что долгое время, и вплоть до сегодняшнего дня, любое взволнованное слово о России отождествлялось с проявлением великодержавного шовинизма. Мы разучились говорить открыто о своих бедах, мы всегда озираемся по сторонам, словно находимся на оккупированной врагом территории, а не у себя дома. Мы постоянно боимся кого-то обидеть, кого-то задеть...

Модно стало называть себя то сыном XX съезда, то сыном перестройки, есть еще — дети Арбата. Думается, что русскому человеку более пристойно вернуть себе забытое имя — сын Отечества и осознать, что никто, кроме тебя самого, это Отечество не возродит, пора бы перестать пугливо вздрагивать при любом окрике, пора бы вернуть себе ощущение хозяина собственного дома.

Пятый год идет перестройка, в лидеры которой почему-то записали Прибалтику. Наверное, потому, что жизненный уровень коренного населения этого региона один из самых высоких в стране. На первый взгляд это очень положительный пример, и мы должны ему учиться. Но вот вопрос: чему, собственно, учиться?

Лидирующее положение прибалтов объясняется в немалой степени наличием столь богатых и крайне дешевых сырьевых придатков, которыми стали для них Россия, Украина и Белоруссия, и откровенно дискриминационным, граничащим с расистским отношением к «мигрантам». Если весь Союз примет в качестве положительного прибалтийский «опыт перестройки», то это неизбежно приведет к катастрофе.

По всей логике исторического развития страны лидером и первопроходцем перестройки должна была стать Россия, и в этом нет ничего шовинистического. Просто у истории существуют свои объективные законы, так же как в физике и математике. Можно, конечно, их проигнорировать, можно попытаться подправить, но ничего хорошего из этого не выйдет.

На протяжении последних шестисот лет формирование нашей государственности шло вокруг Москвы, вокруг России. Это может сегодня нравиться или нет, но История центром притяжения определила именно Москву, а не Бухару или Тбилиси и даже не Киев. Обижаться на это столь же наивно, как взрослому человеку начинать проклинать родителей за то, что они ему дали жизнь здесь, а не за океаном.

Директивно определив России не равные, а униженные условия для последующего социально-экономического развития с тем, чтобы окраины скорее смогли догнать центр, руководители молодого Советского государства действовали, может быть, из самых благих побуждений, но такое вот «причесывание» исторического процесса в соответствие с кабинетными теориями привело к результатам прямо противоположным тем, о которых мечталось. Прошли десятилетия, и выяснилось, что недовольны все: и индустриализованные окраины, и ограбленный центр.

Настоящий и полный хозяйственный расчет надо было в первую очередь вводить в России, в которой еще осталось достаточно честных и порядочных людей, умеющих хорошо работать. Они бы живо откликнулись на проникновенное слово своего правительства, но этого слова произнесено не было. Перестройка с самого своего начала идет как-то судорожно, рывками, без четко обозначенного плана, шараханьем из крайности в крайность.

Меня могут обвинить во всех смертных грехах и «антиперестроечных» настроениях, но скажу, что непродуманные законы о кооперации и госпредприятии стали тем песком, который мы сами засыпали в буксы государственного локомотива.

А ведь мощнейший рывок вперед был вполне возможен, был возможен прорыв, был...

Основой советского производства являются, естественно, государственные предприятия, среди которых есть и такие, что работают ничуть не хуже американских. Любому здравомыслящему человеку ясно, что первоначальную опору в начинавшейся перестройке всей промышленности надо было делать на них. Именно лидеров отечественной промышленности необходимо было поставить в привилегированное положение, обеспечить им режим наибольшего благоприятствования, ориентировать на выпуск продукции, дающей валютные поступления, с тем, чтобы сократить продажу сырья, а остальные предприятия в срочном порядке подтягивать до уровня лидеров, начиная их полную технологическую переоснастку. И начинать это надо было с предприятий России.

Увы, ничего подобного не случилось. Наоборот, лидеры оказались в самых невыгодных условиях, преимущества же были отданы невесть откуда взявшейся кооперации. Двадцать три года я возглавлял крупнейшее промышленное объединение, выпускавшее продукцию, не имеющую в мире серьезной конкуренции. И я очень высокого мнения о наших конструкторах, о наших рабочих, со всей ответственностью могу заявить, что их интеллектуальный уровень не ниже, а в некоторых отношениях и выше, чем у заокеанских коллег. Мы дали стране миллионы и миллионы долларов валютных поступлений. И хоть бы цент из этих миллионов заплатили нашим работникам! Нет же! Мне приходилось выбивать в фонд зарплаты каждый рубль...

И вдруг открываются кооперативы, где без всякого выбивания и согласования работник низкой квалификации, даже просто уборщик туалетов, получает в несколько раз больше, чем ведущий инженер, ломающий голову над сложнейшей технологической разработкой. Вдобавок с необыкновенной легкостью вновь испеченные предприниматели получают совершенно свободный доступ к валюте.

При этом один из «ведущих экономистов» страны П. Бунич с издевкой заявляет: «Здоровый рубль, живой рубль побеждает мертвый рубль спящего медведя, нашего госсектора. И из госсектора народ убегает. Уже за один год в кооперации стало 2 миллиона человек против 150 тысяч до этого. Это не худшие люди, это те, кто ходить умеет, а те, кто не ходит, те остаются и ругают кооперацию» («Известия», № 153 за 1989 год).

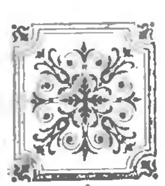
К сведению Павла Бунича, «медведь госсектора» не спит, хоть и не шевелится, так как опутан сетями всевозможных инструкций, ограничений и запретов. Сплели эти сети не рабочие, не инженеры, даже не директора и министры, а «ведущие экономисты» прошлых времен, среди которых немало и тех, кто, не смущаясь, не каясь в прежних своих ошибках, «ведет» нашу промышленность и по сей день. «Прорабы перестройки», к которым у нас отнесен и Бунич, ничуть не спешат распутать «медведя», наоборот, похоже, что они набрасывают на него все новые и новые «силки да удавки», отдавая свои профессиональные знания и депутатские симпатии одной лишь кооперации и рыночным отношениям.

Ну а если «медведь» устанет ждать от «ведущих экономистов», когда они его развяжут, а точнее — окончательно задушат, и попытается обрести свободу самостоятельно? Задумывались ли Бунич и другие «экономисты-юмористы» о последствиях такого пробуждения?

Радикалы от экономики без зазрения совести вводят и народ и правительство СССР в очень опасное заблуждение. Они утверждают, что если будет принята их программа «оздоровления», ориентированная на встраивание нашего хозяйственного механизма в мировое сообщество развитых государств, то произойдет чудо, и мы заживем не хуже, чем те же американцы. Народ, уставший от постоянных нехваток и дефицитов, подобно кролику, идет на сладкоречивые призывы, не подозревая, что идет прямиком в объятия удава.

Страна оказалась в тяжелейшем социально-экономическом и духовном кризисе, и выход мы должны искать прежде всего внутри страны, а не вне ее. Сократив внешнеполитическую деятельность до минимума, все внимание надо сосредоточить на внутренних проблемах разоренного неумелым хозяйничанием нашего огромного отечественного общего дома.

Не за горами выборы в Советы России. Тысячу лет создавалось Государство Российское. Так неужели мы, предав память наших великих предков, погонимся за обманчивыми сиюминутными выгодами, которые сулят нам лукавые гешефтмахеры, и обречем страну на погибель? Неужели мы не сможем отличить словесной шелухи «записных» демагогов от искренности настоящих радетелей России? До каких пор мы будем бездумно откликаться на любой «революционный» призыв, не задумываясь, что стоит за броским словом? Когда же мы осознаем, что от каждого из нас именно сегодня зависит судьба Отечества, судьба Союза?



ПОЭЗИЯ



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ



И СТАЛА ОГРОМНОЙ ВИНА...

* * *

— В борьбе полыхающей, жаркой
Дороги без жертв не найдешь.
— Для цели высокой — не жалко.—
И отдал пшеницу и рожь.

— В борьбе нестихающей, жаркой
Нужна и вода, и земля.
— Для цели великой — не жалко.—
И отдал леса и поля.

— В борьбе нарастающей, жаркой
Мы все отдадим до конца.
— Не жалко, не жалко, не жалко!—
И отдал родного отца.

И голос сквозь гула разливы
Пробился чрез множество лет:
— А цель-то как будто фальшива.
А цели-то... вовсе и нет.

— Э, нет. И наверное, все же
Ты с толку меня не собьешь.
Иначе за что же, за что же,
Иначе за что же, за что ж.

Я вытравил солнечность луга,
Я вырубил лес до конца,
Я выдал любимого друга,
Я предал родного отца?

* * *

— И негодуй, и горько плачь.
И негодуй — и плачь.
Он был и жертва, и палач.
И жертва — и палач.

— Но помню твердо я о том,
Что на пути своем
Он был сначала палачом,
Он жертвой стал — потом.

* * *

Как на открывшийся просвет,
Неторопливо-зорко-длинно
Глядит крестьянин на портрет
Вождя, тирана, властелина.

И взгляд, и жест в портрете том,
И свет, стекающий по платью,
Своим отмечены огнем,
Своей особенной печатью.

И смотрит снова и опять,
Сомненьем смутным отуманен,
На эту ясную печать
Работник, труженик, крестьянин.

Все в душу чуткую влилось,
Вместилось, втиснулось, впиталось.

И лишь одно не улеглось.
Одна, одна лишь только малость.

Не может он понять никак
(И тут напрасны все усилья!):
Всесилья это явный знак?
Иль это тайный знак бессилья?

* * *

— Вина преградила дорогу,
Застыла, тревожно темна.
— На всех разложи понемногу —
И станет ничтожной она.

— На всех разложил понемногу —
И каждое сердце до дна
Пронзило холодной тревогой!
И стала огромной вина!

* * *

— А государство правовое
Мы непременно возведем.
— Так что же, что ж это такое:
Я прожил жизнь... в неправовом?

— Родному горестному краю
Дадим мы свет. Дадим покой.
— Но я такой страны не знаю...
— А ты не знаешь никакой!

* * *

Сначала — темная вина.
Потом — гремящая война.
Затмила эту тень вины
Тень оглушительной войны.

Но вот окончилась война.
И всколыхнулась вновь вина.
Очнулась снова тень вины.
Больней, страшней,
чем тень войны!

* * *

— Почему не поешь о разоре?
О растрате бессмысленной сил?
Почему не твердишь ты о горе?
— Потому что я все позабыл.

— Как же может подобное быть?
Как же можно забыть о разоре,
О разбое, позоре, о горе?
— Я хотел,
Я хотел
Позабыть!

* * *

— Я по земле ступаю твердо.
И свет не меркнет в синеве.
Что мне Париж и что мне Лондон,
Коль я живу в самой Москве?

— Нет на земле прочнее, крепче
Прямой моей тропы земной.
Что мне Нарым и что мне Нерчинск,
Коль Колыма — мой дом родной?

* * *

О том судите и о том
В стремленье яростном своем
К неограниченному счастью,
Но не забудьте ж об одном,
Что пробирался фюрер к власти
Демократическим путем!

Великая русская литература

За все ужасное на свете,
За этот долгий, страшный бой
Была, была, была б в ответе —
Коль не была б
Она
Святой.

* * *

Бьет колокольчик звонко, бойко
Под круто согнутой дугой,
Чтоб веселей бежала тройка
Дорогой зимней полевой?

Иль для того и скачет тройка,
Чтоб колокольчик удалой
Гремел напевно, звонко, бойко
Под расписной крутой дугой?

Слова

Памяти Григория Сковороды

В тех — предощущение завета.
В тех — предвозвещения примета.
В тех — предвосхищения ответа,
Дать и Бог какого не дерзал.

А всего пленительнее — это,
А всего таинственнее — это,
А всего непостижимей — это:
«Мир меня ловил, но не поймал!»

* * *

Косил траву, шагал по сланям.
Сжимал упругий шест весла.
Но он не знал, что испытаньем
Вся эта жизнь ему была.

Он шел в счастливом ожиданье
Сквозь дождь,
и снег, и свет, и тьму.
Но он не знал, что в наказанье
Весь этот путь сужден ему.
И засвистели грозно ветви.

И налилась свинцом вода.
И зашумел тяжелый ветер.
...Беды не понял и тогда!

Рванулся к небу бор соседний,
Заколыхался, гневен, яр.
Взревел огнем.
...Удар последний
Воспринял в грудь
Как счастья
Дар!

Пушкин на Мойке

Дрожит реки живая жилка.
Заката теплится кайма.
И длится жизнь, как будто ссылка.
И давит время, как тюрьма.

И яркозвездный свет высокий.
И шелестенье вечных дней.
И холод, холод одинокий —
Удел поэтов и царей.

В школу

Как намело сегодня много!
Колючей скраденный пургой,
Иду, пропавшую дорогу
Незряче щупая ногой.

В шуршащей мгле заледенелой
Она видна едва-едва.
Она под гладью этой белой,
Как жила твердая, жива!

Я в белый лес вхожу. С разбега
Полозьев узкие следы

Вдруг вылетают из-под снега,
Как из-под вспененной воды.

...И все здесь стыло и недвижно.
И все здесь в плотной дымке сна.
И отголосков здесь не слышно.
Одна лишь только тишина.

И, ледяным огнем сверкая,
Закоченевший бор стоит,
И лишь моя душа живая
Сквозь этот мертвый мир летит!

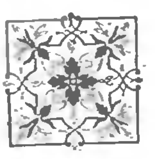
* * *

Он предлагал большую тему,
Достойную немалых сил,—
Хотел, чтоб ты вошел в систему.
А ты в систему не входил.

Он предлагал другую тему,
Другой добротный матерьял,—
Чтоб ты в другую втек систему.
А ты в систему не втекал.

А вне системы очень сложно
Искать, выдумывать, творить.
А вне системы невозможно
Ни созидать, ни жить, ни быть.

— Тебе чужда любая тема.
Ты чужд творящим голосам.
— Системе чужд? Я сам — система,
Система — сам я, сам я, сам!



ПРОЗА

ЛЕОНИД БОРОДИН



ТРЕТЬЯ ПРАВДА

ПОВЕСТЬ

1

Селиванов шел улицей, вдоль заборов деревни Рябиновки, и притворялся усталым и хромым. Когда нужно было перешагнуть через лужу, он останавливался, ворчал, кряхтел, а занеся ногу, непременно попадал в нее и потом долго охал и стонал, хотя никто того не видел и не слышал.

Селиванов любил притворяться. Он занимался этим всю жизнь. Самодельная березовая трость почернела и потрескалась от его притворства. Он и сам бы не смог вспомнить, когда оно стало его привычкой, потому что вовсе не считал себя притворщиком. А если бы все же признался в этом грехе и попытался вспомнить, то пришлось бы перелопатить в памяти самые свои юношеские годы, когда, промазав на охоте в присутствии отца, он стягивал с себя рубаху и искал несуществующего муравья, который будто бы «цапнул его за волосья под мышкой» во время выстрела.

И ведь все равно получал от отца подзатыльник, а то и смачный пинок под зад, но муравья находил-таки, совал отцу под нос и потом мстительно отрывал муравью голову.

Леонид Иванович Бородин родился в 1938 году в Иркутске. Окончил педагогический институт в Улан-Удэ. Работал в школе. Писать начал в конце шестидесятых. Однако более двадцати лет понадобилось автору, чтобы опубликоваться в родном Отечестве. На Западе его книги выходили на английском, французском, немецком, итальянском языках. Лауреат литературных премий: французской «Свобода» и итальянской «Гринзане кавур». Живет в Москве. Повесть «Третья правда» написана десять лет назад.

А уж как мог с самого детства разыгрывать из себя дурака или несведущего в чем-то, притворяться больным или подслеповатым, а как умел пройти мимо соседа и не узнать его, после же оклика извиняться искренне и конфузиться; а в гостях по пьянке надеть чье-нибудь никудышное пальто, свое добротное оставив у гостей, потом же, после обмена, сокрушаться, что вот, дескать, до чего пьянь доводит, до прямого убытку, и надо же такому случиться!

У людей неострого глаза он слыл чудаком; другие, кто догадывался о притворстве, говорили, что Селиванову палец в рот не клади, и опасались его. Но никто, даже отец, с которым прошатался по тайге без малого десять лет, даже он не раскусил до конца своего сына, а лишь хмуро косился всякий раз, когда тот выдавал очередную «темноту».

Притом Селиванов никогда не злорадствовал в душе, если удавалось кому-то пустить пыль в глаза, он будто не замечал своей хитрости, не ценил ее и не наслаждался ею. Это была просто потребность, которую он не сознавал. Однако же пользовался притворством часто с большой пользой для себя. Но и без всякой пользы тоже.

Вот сейчас у проулка он увидел девочку, ломающую рябину; подкрался к ней, чуть коснулся тростью плеча. Девчушка вскрикнула, отскочила. Селиванов покачал головой и надтреснутым старческим голосом выговорил ей за небережливость к дереву, которое и краса и удовольствие для деревни. До деревни и до дерева Селиванову было заботы не больше, чем до гольцов Хамар-Дабана на горизонте. Сейчас он притворялся ворчливым стариком, любящим больше печки и завалинки поучать молодежь.

Деревня Рябиновка, полагают, называлась так по рябиновым зарослям вокруг — и в каждом проулке, и в каждой усадьбе. Но было и другое мнение...

На том краю деревни, где почти без перехода рябины уступали место кедрам, старым и кривым, стоял большой пятистенный дом Ивана Рябинина, и не сохранилось в деревне ни одного старика или старухи, которые помнили или знали по рассказам своих бабок и дедов деревню без этого дома и Рябининых в нем.

Сюда-то и держал путь Андриан Никанорович Селиванов. Путь был не короток — с одного конца деревни на другой, но Селиванов не спешил, а напротив, чем ближе подходил к рябининскому дому, тем чаще останавливался по всякому пустяку, тем суетливее становилась его походка, шаги, однако же, не ускорявшая...

Двадцать пять лет пустовал рябининский дом, и хотя за это немыслимое для хозяйства время не был растащен по бревнышкам (чему были причины, конечно!), то пострадал от бесхозяйственности изрядно и видом и осанкой, в особенности окрестностями: огороды превратились в черемушник и рябинник, двор — в царство крапивы, репея и лопухов, а колодец просто сгнил и обвалился срубом внутрь.

Каждый новый председатель сельсовета одним из первых своих административных актов провозглашал решение о передаче приусадебного участка в 0,3 га кому-либо из нуждающихся в том жителей деревни, но всякий раз, спустя несколько дней, этот самый нуждающийся публично отказывался от «рябининского пустыря», как его называли, и сам председатель забывал об участке навсегда. Жители Рябиновки многозначительно переглядывались, когда кто-нибудь на улице или в магазине затевал разговор о странной судьбе участка. Дело пахло тайной, а тайна способна придавать значимость всему и всем, кто к ней оказывается причастным. Да и не в тайне одной было дело!

Судьба Ивана Рябинина была недоброй и несправедливой. И хотя ни одну душу не возмутила она так, чтоб подать голос, и ни одну руку не подняла в защиту — только вздохи, покачивания голов да без-

вольное пожатие плеч и были все внимание и память горькой судьбе Ивана Рябинина. А многолетняя неприкосновенность «рябининского пустыря» стала для всех знающих и помнящих Ивана Рябинина не просто оправданием их равнодушия к чужой беде (к своим бедам они притерпелись), а местью всему, что есть судьба, когда она — недобрая, и всему, что за этой судьбой скрывается, неназванному и недоступному. Жители Рябиновки порою даже преувеличивали значимость судьбы трех десятых гектара лопухов, крапивы и рябины в судьбе самой деревни, пытаясь намеками, прищурами, причмокиванием да прикашливанием выткать в воображении своеобразную легенду без слов и содержания, но полную смысла и неведомой мудрости.

Они были бы обижены и даже рассержены, если б узнали, что вся тайна в том только и есть, что мужичок с березовой тростью, бредущий сейчас по деревне к рябининскому дому, появлялся каждый раз перед очередным претендентом на участок с соболем за пазухой (если тот был жаден), или с бутылкой самогона (если был тот человек — человеком), или с парой «теплых слов» ночью у плетня (если тот был труслив). А все бывшие председатели сельсовета так старательно не узнавали Селиванова при встрече, что тоже, наверное, могли кое о чем порассказать.

За те двадцать пять лет, что простоял рябининский дом с заколоченными окнами, сколько игр переиграли деревенские мальчишки в зарослях участка, сколько влюбленных парочек пересидело на приступке рябининского колодца, сколько кошачьих свадеб сыграно в паутиновых джунглях высокого рябининского чердака, сколько птенцов вывелось и разлетелось по свету изо всех щелей и дыр крутоскатной крыши...

Целое поколение рябиновцев родилось и выросло за период безнадзорности рябининского дома. Да и те, что родились и жили раньше, тоже так свыклись с заколоченными окнами дома на краю деревни и с пребыванием в неведомости самого хозяина, что тем самым утром, когда бабка Светличная ахнула около магазина, хлопнув руками по бедрам, когда она даже присела и выпучила глаза вслед старику с вещмешком за спиной, когда она испуганно прошептала: «Господи, никак Рябинин Иван вернулся!» и перекрестилась, будто увидела привидение,— вот с того самого утра деревня более чем неделю цокала языками, разводила руками и тревожно принюхивалась.

Когда же к ней вернулся дар речи, все заговорили хлопотно и многоречиво, и, конечно, нашлись умники и знатоки, которые, многозначительно покачивая головами, с большим смыслом произносили одну и ту же фразу: «Двадцать пять! Н-да-а!» Те, что были еще толковее, прошедшие без медных труб огонь и воду, поясняли, что двадцать пять — это, по-иному говоря, четвертак! А четвертак — это вам не червонец! И каждый пытался представить себе свои двадцать пять, что прожил, будто их и не было, и не мог представить своей жизни в таком изуродованном виде, и не мог понять прошедшего через то Ивана. А потому не шел к нему, чтобы поздравить с возвращением; еще же оттого, что не знал, уместно ли вообще поздравлять человека в таком случае.

Никто не пришел к Ивану Рябинину ни в этот день, ни на следующий, ни на третий. На четвертый он вышел сам, и его сразу увидело полдеревни, и замерли люди, затаив дыхание, словно вышел Иван Рябинин на улицу, чтоб пристыдить всех за что-то или посчитаться с кем-то. Он же прошел в сельсовет, пробыл там не более получаса и вышел так же спокойно, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь.

Теперь деревня вспомнила про него все, что забыла или не вспоминала. И это забытое вдруг обернулось нынче не просто интересной и романтической историей, но историей вообще, как бывают те или иные события, в отличие от всех прочих, непосредственной историей народа, вовсе необязательно прямо участвующего в этих событиях.

Деревня испытывала угрызения совести, но больше терзалась от того, что не знала своей вины, и подозревала, что вины этой нет, тем

не менее чувствовала себя виноватой, как здоровый — перед калекой. Деревня десятками пронырливых мальчишеских глаз следила за домом на окраине, говорила, молчала, думала. В неожиданном почете оказались все, кто помнил Ивана Рябинина, кто когда-либо в то время, что было отделено от нынешнего двадцатью пятью годами, соприкасался с Рябининым, а в то время, поскольку был Рябинин егерем, соприкасались многие. Они припоминали и не могли припомнить добрых чувств к егерю: напротив, оказывалось, что каждый хоть однажды да сталкивался с непримиримым, упрямым охранником рябиновской тайги.

Морщинистыми лбами старух деревня напрягла память и вспомнила не только мать Ивана Рябинина, хлопотливую, быстроногую женщину, но и отца его, не вернувшегося с гражданской, откуда-то с «прикеана», где дрался он за красных против двоих своих старших сыновей, мобилизованных каппелевцами и канувших в безызвестность в те прожорливые на человеческие жизни годы.

Деревня вспомнила работящего, всегда хмурого и нелюдимого паренька-сироту, что незаметно для всех превратился в статного парня — таежника, а потом и в первого советского егеря. Крепкая задним умом деревня нынче готова была признать, что Иван Рябинин справедливым был егерем, а что если и прижимал кого, так это когда уж тот совсем без меры лютовал в тайге. Но признать такое было нелегко, потому что разве забыть, как недобро смотрел вслед егерю тот, кого уводили милиционеры? Разве забыть, с какой жадной яростью накинулась деревня на таежную благодать в короткий период междуцарствия и как затем радостно и хитро прищурилась она, когда поняла, что новый егерь за бутыль самогона готов не то что полдюжины струнчатых сосен, а целую деляну отвалить и живность любую положить на мушку дробовика без ограничения и меры. Несколько лет таежная мудрость шла по цене самогона, и деревня нагуляла солидный жирок от своего беззакония. Потом уж и сами готовы были одуматься; кряхтели мужики-охотники и покачивали головами, цокали языками и недобро косились на новый дом своего егеря. И долго бы еще косились, если б, смешно сказать, сохатый не затоптал в смертной агонии оплошавшего егеря.

Тогда деревня вспомнила впервые об Иване Рябинине добро. Но воспоминание было коротким, потому что жизнь — не тихая вода, а чаще паводок, и надо суметь жить и выжить. Это же — не просто, когда весь мир, что начинался за границами деревни, оскалился на нее в непонятной лютости, и козни его, казалось, самим сатаной придуманы на погибель мужика...

Вспомнила деревня и то доброе летнее утро, когда на крыльце рябининского дома появилась царевна-лебедь. Она вышла из сеней так, будто только-только появилась на свет, будто родилась с этим тихим скрипом сенных дверей, золотоволосая, с маленькими белыми ножками. И все подтверждало ее чудесное рождение: как прищурилась она на солнышко, а затем закрыла глаза, словно постигая собственную тайну; как озадаченно-изумленно смотрел Иван Рябинин на нее, замерев у поленницы дров с опущенным топором; как потом сошлись они у последней ступеньки крыльца и молчали, не прикасаясь друг к другу.

Теперь уже было не вспомнить, чьими глазами увидела деревня рождение чуда в рябининском доме. Но чтобы бирюк Рябинин отхватил городскую кралю, такого деревня ожидать от него не могла и поначалу даже оскорбилась и поджала губы, готовясь оказать достойное сопротивление дерзкому вызову егеря. А вызов не прозвучал, и деревня поняла, что он ей только померещился в гордыне. Рябинин не торопился показываться на людях со своей молодухой, и она ограду его усадьбы, похоже, принимала не как ограду, а заграду, словно менее всего собиралась выходить за калитку и в крепости плетня видела свое счастье и удачу жизни.

Тропа, что проходила мимо рябининского дома в тайгу, была не

единственной и не самой удобной, но в то лето бабы ли шли по голубику, мужики ли на промысел, мальчишки ли за черемшой,— все выбирали эту тропу, пусть бы пришлось крюк сделать в пару километров, но лишь бы глазом взглянуть на «чужую», языком прицокнуть и посудачить после про то, какой номер выкинул ихний егерь.

Через уйму лет вспоминая об этом, деревня законно могла гордиться, что хорошо отнеслась к чужой, что после того, как привез из города егерь швейную машину, без предубеждения и зависти потащили девки и бабы сундуковые отрезы нэповских времен городской мастерице, и когда получали на руки платья, юбки и кофты не совсем привычного фасона, не фыркали и на плату и подарки не скупились.

Прошло немногим более года, и проходящие тропой мужики и бабы уже слышали детский плач в рябининском доме; и деревня не обиделась, что имя своей дочке Иван дал, какого и в помине у них не было,— Наталья.

А когда фигура молодой егерской жены округлилась по второму разу, тогда и появились в деревне милиционеры на конях и увели Ивана Рябинина в город, где пропал он без вести. Казалось, деревня не спускала глаз в тот день и в ту ночь с окон рябининского дома. Когда же утром обнаружилось, что дом заколочен со всех сторон, а калитка даже брусом привалена, все только ахнули. Слухов пошло уйма, нынче большую часть их деревня забыла, но сохранился все же в памяти один упрямый слушок: будто под самое утро следующего дня, как увели егеря, видели на обходной дороге упряжку со скарбом, на котором будто сидела в слезах егерская жена с ребенком на руках, и какой-то мужичишка, подстегивая гнедую кобылу, утешал ее грубыми словами.

Селиванов уже обогнул последний дом, то есть предпоследний, потому что последним за густым рябинником был дом, куда он и направлялся и куда так старался не торопиться.

Что-то не припоминал Селиванов когда-либо в себе такого волнения, что охватывало его с каждым следующим шагом к рябининскому дому. За всю жизнь никакая удача и никакой страх (а страх в жизни знавал он не раз) не трясли его руки и не схватывали так дыхание, что хотелось сесть на землю. Увидев в стороне от тропы березовую колодину, он шагнул к ней, потыкал тростью, ковырнул прогниль внизу на тот случай, не залежалась ли там гадюка (любит эта тварь гнилые березины), и присел, уже не притворяясь, а захлебываясь одышкой, какую с тихого хода и получить невозможно.

Было бы правильно посидеть здесь и повспоминать, что стоило вспомнить, прежде чем переступить порог чудом ожившего дома. Но Селиванову в этом нужды не было, потому что он ничего не забывал. Сейчас память била его по глазам отдельными, не связанными друг с другом видениями; связь-то между ними была, но где-то отдельно, существовала сама по себе: она, эта связь, была самой жизнью, которую Селиванов знал помимо памяти. И было бы чистой ложью назвать дальнейшее повествование воспоминаниями Андриана Никаноровича Селиванова, потому что воспоминания, даже в самом подробном и добросовестном пересказе, и меньше и больше того, что было в действительности: не все чувства подвластны слову и не все происходящее доступно чувству; что-то обязательно остается за его пределами, как бы назначенное чувству другого, кто при том присутствовал или присутствовать мог бы.

2

По зимней засугробленной тайге бежали два человека. Один догонял другого. Убегающий был невысокого роста, щуплый, пронырливый и в этой погоне вполне походил на добычу, уходящую от рук настоящего охотника, каковым был догоняющий, — высокий, широкоплечий, кряжистый, силы и выносливости неисчерпаемой.

Со стороны бы взглянуть, погоня на погоню едва ли походила, потому что в походке убегающего, во всех его движениях, даже в ритмическом хлопанье камусов по снегу сквозила озорная уверенность в том, что он уйдет; догоняющий также был уверен, что догонит, потому что был таежником в том возрасте, когда еще не имел случая узнать предела своих сил, и они ему казались беспредельными. «Беги, беги! — бормотал догоняющий.— Далеко не убежишь, сучок трухлявый!» — «Давай, давай! — хихикал убегавший, озорно оглядываясь. — Ловил рогатый косого, да окосел от натуги!»

Однако при всем том одному из них во что бы то ни стало нужно было уйти, а другой, хоть сто верст бежать, решил догнать, потому что второй такой случай не скоро представится.

Два сезона подряд делал набеги Андриан Селиванов на участок егеря Ивана Рябинина, и вот наткнулся-таки на хозяина. Два сезона выслеживал егерь ловкого браконьера и хулигана и подловил, наконец, с поличным. Это «поличное» лежало в вещмешке, что мелькал теперь перед глазами егеря то в пятидесяти, то в ста шагах, а один раз — так и рукой схватиться, да переломил Селиванов ветку и кинул на лыжню.

Селиванов бежал по целине, егерь — по его следу, но преимущества в том не было: рыхлый снег заваливал лыжню с краев и не давал скольжения.

Селиванов к тому же путь выбирал по мелкому березняку, где шел вполунаклон, как мышь проскальзывая под ветвями.

Рябинин прикладом и стволом карабина расчищал путь, не всегда, однако, успевая увернуться лицом от хлесткой пружинистой ветки, а если и боли при этом не ощущал, то все же терял в скорости, наверстывая упущенное на чистом склоне и на твердом насте.

Селиванов надеялся оторваться от егеря в березняке на последнем спуске и уйти в деревню, где по неписаным законам кончалась власть егеря и его права на человека тайги.

Рябинин же, догадываясь о намерениях браконьера, доставившего ему столько хлопот за два сезона, уверен был, что нагонит его в поле перед деревней, и обязан был это сделать, потому что хотя и был его закон главнее закона деревни, и мог бы он запросто взять Селиванова с поличным в его собственном доме, и никто не посмел бы помешать ему, и даже на вражду, что возникла бы следствием этого со стороны мала и велика, наплевать бы мог,— да не в том дело. Взять Селиванова до деревни и привести его туда за шиворот и, может быть, даже отпустить, ткнув раз-другой мордой в снег,— он должен смочь, иначе какой ему почет в его деле? Была еще одна причина особой злости егеря. Селиванов пакостил не везде на участке, а именно в его личных, егерских, владениях. На своих солонцах обнаруживал Рябинин следы Селиванова, в его, егерской, избушке-зимовье внаглую разделал Селиванов запрещенного к отстрелу изюбря, и даже следы не замел и не прибрал за собой — точно фигу под нос сунул. Мощные рябининские кулаки давно чесались на Селиванова.

Друг от друга на сотню шагов преодолели они последний небольшой подъем, после чего через километра полтора должен был начаться спуск по березняку, и Селиванов пошел на отрыв. Отмахиваясь прикладом еще отцовского «Зауэра» от веток, пригнувшись в пояс, выбирая самые густые заросли березняка, не оглядываясь, весь собранный для рывка, он, как казалось ему самому, головой шел впереди своих камусов. Спуск, начался круто. И он пошел вниз петлями, зигзагами, круче заворачивая повороты и швыряя за собой при случае ветки, чтобы егерь на скольжении вылетел из лыжни. Когда же спуск на время прервался небольшой лощинкой, он, оглянувшись, довольно крякнул: егерь отстал.

Но тут, в этой лощине с метровыми сугробами и в два обхвата поднебесными соснами, судьба сыграла с ним худую шутку. Именно так, потому что сам он никакой ошибки не допустил, сугробовые ло-

вушки обходил верно и завал этот проклятый обогнул в двух метрах, не менее. Но кто мог знать, что какая-то подлая ветка свалилась с сосны по слабому зимнему ветру и, присыпанная снегом, залегла бечевой-ловушкой внутри наста. Одна нога зацепилась, другая по инерции прошла верхом, и Селиванов, словно в петлю попав, завалился носом в сугроб. Пока поднимался — время, пока отряхивался — время! А попробуй протащить камус назад против шерсти! И егерь уже рядом, хотя и не виден в березняке, только треск веток да шорох по снегу.

В конце концов мог Селиванов успеть: снять вещмешок и закинуть проклятую шкурку в снег или затоптать и отбежать от этого места метров на сто-двести, пока настиг бы его егерь. Но Селиванов сызмальства боялся побоев. В тайге не боялся ни медведя, ни рыси, ни ночи, ни непогоды. Но отцовские побои, но кулаки парней-односельчан и даже случайные зуботычины по пьянке переносились им как болезнь и тела и души. Даже на чужую драку не мог он смотреть без страха и трепета. Может, оттого сторонился людей, может, оттого стала ему тайга милым домом, где пропадал он и лето и зиму.

А сейчас, представив себя один на один с этим кабаном-егерем, который еще мальчишкой один вытащил из болота корову за рога, Селиванов задергался, заметался и, высвободив, наконец, ногу из плена, кинулся к толстущей сосне.

— Не подходи! — закричал он визгливо, когда Рябинин вывернулся в лощину с последнего поворота.— Не подходи! Шлепну!

— Я тебе! — попридержав дыхание, с угрожающим спокойствием, но громко ответил егерь, и от такого его голоса у Селиванова подогнулись ноги.

— Шлепну! — крикнул он надсадно и нажал спуск «Зауэра», не целясь и не успев даже прижать приклад к плечу. Отдача кинула его за сосну, и он чуть было не потерял равновесия, а когда выглянул, увидел егеря, барахтающегося в снегу.

— Таки шлепнул! — изумленно прошептал он, готовый шагнуть вперед, но из-за сугроба темным зрачком глянуло на него дуло егеревского карабина. Отшатнувшись за сосну снова, он не столько вздрогнул от выстрела, сколько от того, как вздрогнула громадина-сосна, получив пулю в свой промерзший ствол. Он выглянул с другой стороны, и на этот раз пуля, зацепив по краю щепу, осколками хлестнула его по лицу. Он лихорадочно соображал: стрелял в егеря из левого ствола, стало быть, картечью... не целился, значит, если зацепил, то не более одной или двумя картечинами, а может быть, не зацепил вовсе, и тот просто залег, хотя и не похоже на него.

— Эй! — крикнул он, не высовываясь.

Ответом снова был выстрел, но на этот раз сосна не дрогнула.

— Да погоди ты пулять-то! — крикнул он громче, пригнулся к самому снегу, снял шапку и выглянул одним глазом.

Рябинин пытался подняться, одной рукой держа винтовку наготове, но вскрикнул и снова упал на снег, провалившись так глубоко в сугроб, что ствол винтовки уперся в небо.

— Зацепил! — прошептал Селиванов, еще никак не относясь к этому факту и лишь собираясь обдумать его. Барахтающийся в сугробе егерь походил на медведя, вылезающего из берлоги, и Селиванову снова стало страшно: он вскинул ружье на руки, но тут же шмыгнул за сосну — дуло выравнивалось, и над сугробом появилась голова Рябинина; даже его лицо, перекошенное то ли от злобы, то ли от боли, успел рассмотреть Селиванов.

— Эй, слышь, поговорим! — крикнул он просяще.

— Я те поговорю, гад! — прорычал в ответ Рябинин и выстрелил.

— Чего без толку патроны переводишь? Куды я тебя зацепил-то?

Рябинин молчал, левой рукой пытаясь дотянуться до бедра, в котором где-то застряла (или прошила насквозь) селивановская картечина. Будто спица проткнула ногу и торчала из нее, не позволяя подняться на камусы, ушедшие в снег на всю глубину сугроба.

— Слышь, давай поговорим! — крикнул снова Селиванов.— Куды зацепил-то? Ну чо молчишь! Не убиец же я! С испугу шлепнул!

— Высунешься, и я тебя шлепну! — глухо ответил егерь.

— Встать-то не можешь, что ли? — спросил Селиванов, стараясь придать голосу сочувствие, но, поскольку говорить приходилось громко, вопрос прозвучал издевкой.

— И ты не уйдешь! — зло ответил Рябинин, дотянувшись, наконец, рукой до раны и ощутив кровь.

— Мне-то чего не уйти! — кричал Селиванов.— Так и уйду за сосной!

Сообразив, что, прикрываясь сосной, Селиванов действительно может уйти, егерь от отчаяния выстрелил два раза подряд и заворочался, доставая из подсумка другую обойму. Но Селиванов считал его выстрелы, и не успели щепки упасть на снег, как он выскочил из-за сосны и бросился к Рябинину. Уже держал егерь обойму в руке, уже опростать успел патронник, но Селиванов опередил. Когда винтовка вырвана была из рук, Рябинин, дернувшись всем телом, вскрикнул и перекосился.

— Гад! — прошептал он, глядя на сидящего в двух шагах от него Селиванова.

— Ежели ты помирать хочешь, твое дело,— спокойно, чувствуя себя, наконец, хозяином положения, говорил Селиванов.— Если не хочешь, давай уговор делать! И не ерепенься попусту! Не хотел я тебя убивать! Да ведь если б ты догнал меня, все зубы по снегу раскидал! Не так, что ли?

— Чего хочешь? — зло спросил Рябинин.

— Ногу зацепил?

— Чего хочешь? — повторил егерь.

— Чего? Перевязываю тебе ногу, тащу до дома, лечу — как на собаке заживет! А ты мне зла не делаешь.

— Ты меня — картечью, а я тебе зла не делать!

— Оба жить будем,— пожал плечами Селиванов и добавил неуверенно.— Ну, если скажешь еще чего сделать... деньжата у меня найдутся... или чего другого...

Взглянул исподлобья на Рябинина.

— Хошь, служить тебе буду, чем хошь...

— Режь гачу!

Селиванов вскинулся, сбросил с ног камусы, проваливаясь выше колен, подошел к егерю, снял у него со спины вещмешок, растоптал вокруг снег, перевернул его на спину и осторожно ощупал ноги.

— Тут?

Рябинин поморщился.

— Ляжку прошило? А встать-то почему не можешь? Должон встать! — рассуждал Селиванов, деловито и осторожно вспарывая штанину ножом и косясь на красное пятно на снегу. Картечина прошила ляжку наискось и вышла сбоку рваной раной. Рябинин хотел было приподняться и взглянуть на рану, но Селиванов не позволил, легким толчком откинув его на спину.

— У, гад! — еле сдерживая злобу, прошептал егерь, отворачиваясь от Селиванова.

— Ладно, ругайся! — пробубнил тот, разрывая какую-то тряпку повдоль и подкладывая ее снизу на выходную рану.— Оно, конечно, ничего доброго — шлепать своего мужика, да говорю ж, с испугу! Эвон, сравни-ка свой кулак с моим! Тузить бы начал, так печенку отбил бы, кровью, чай, харкал бы! А я тебе сейчас смоляну приложу, и дырки после не сыщешь... Через неделю козлом прыгать будешь! Терпи, затягивать буду!

Ни на слова его, ни на действия егерь и ухом не повел.
— Рукавицы дай! — буркнул он.— Руки замерзли!
Селиванов хотел было подать рукавицы, что валялись на снегу, но, выщупав их сырость, подал свои. Тот попытался натянуть их.
— Мне твои наперстки знаешь на что натягивать! — и откинул их в сторону, дыша на пальцы.
Селиванов достал из своего вещмешка соболиную шкурку, распрямляя, сломал ее в нескольких местах; делал это с подчеркнутой небрежностью: дескать, плевать он хотел на шкурку. Выгнул ее на обе руки егеря, потом снял с него шапку, стряс снег, надел снова, плотнее прикрыв уши.
— Хоть ты и здоров, как кабан, а слабак! — говорил он при этом.— Дырка-то у тебя пустяковая, я б с такой дыркой со следа не сошел! А ты вот валяешься, как колода...
Договорить не успел. Егерь схватил его за полу шубы, одной рукой подтянул, другой перехватил за шиворот, молча дважды ткнул лицом в снег по самый затылок и отшвырнул от себя. Отряхиваясь и отплевываясь, притворно кашляя и чихая, Селиванов отполз подальше и только тогда жалобно и обидчиво заохал:
— А уговор-то как? Тут мордой об снег, а домой притащу — мордой об забор, а?!
Рябинин пытался встать, но что-то в ноге было основательно нарушено, она не слушалась. Зло выругавшись, он снова упал на спину.
— Ну так чего? Будешь драться али нет? — сердито спросил Селиванов.
— Хватит с тебя! Костер пали, замерз я!
— Вот так-то лучше! — закивал довольно Селиванов.
Вытоптав еще полянку в метре от Рябинина, начал набрасывать ветки и щепу, и скоро на этом месте заработал небольшой костер. Егерь потянулся к нему.
— Жилу ты мне попортил какую-то, гад! Не дай бог, хромать буду!
— Не будешь,— махнул рукой Селиванов.— Сейчас свяжу волокушу и поедем до дому. Корнем тебя поить буду. У тебя-то, поди, такого корешка нету. А ведь ты супротив меня как охотник — хе! Смех! Вот бы мне егерем быть, уж я б мужичкам закон показал! Я сызмальства в тайге, я такое про тайгу знаю, чего ты и не слыхивал и не нюхал.
— Трепло! — уже без злобы ответил Рябинин.
— Ишь ты! — обиделся Селиванов.— А кто два сезона соболя у тебя из-под носа таскал!
— Куда шкурки деваешь? Почему не сдаешь, как положено? — хмуро спросил егерь.
— А кем же положено, Ваня? — прикинулся незнающим Селиванов.
— Властью, кем!
— Как твой отец, не знаю, а мой — так он своего отца помнил и деда, и все они тайгой жили, а власти никакой на тайгу не было! Жили, и все! А потом — на тебе, власть появилась и говорит: «Мое!» А почему это ее, когда прежде всегда наше было? А на эту власть другой власти нету, чтобы право наше рассудить!
— Власти не признаешь? — покосился Рябинин.
— Я сам по себе, власть сама по себе! — прищуриваясь, ответил Селиванов.
— Ну и что, разбогатеть хочешь?
Селиванов ответил вопросом на вопрос:
— А вот ты чего не женишься? Слышал, в Рябиновке девки на тебя никак хомута не сыщут...
— Не твое дело!

— Во! Значит, не каждому про все знать положено!
— Перетрухал, когда в меня пальнул-то? Человека стрелять — не изюбря, а?
Селиванов хитро и плутовато сощурился.
— Мне, Ваня, людишку шлепнуть — это как палец обо...ть. А вот человека, оно, конечно, убивать страшно! Только я ж не в тебя пальнул, а так, со страху. Картечь вразброс пошла, вот тебя и зацепила. Кулаков твоих я шибко испугался. Знаю ведь, какая лютость у тебя на меня имеется! За того козла, что в твоем зимовье распотрошил, за одно это ты бы мне глаз на сучок одел.
— Точно! — уверенно подтвердил егерь.— Для чего пакостил? Или не знал, что за такие дела полагается?
— Сам не знаю, чего охульничал,— не очень искренне ответил Селиванов.— Ну, я пойду волокушу вязать. Да и время уже позднее. Тебя тащить — не мед будет. Торопиться надо!
Нарубив достаточно двухметровых веток, он выложил их ровно на снегу, по середине и по краям перемотал тонкими березовыми прутьями и обрывками веревки, по бокам пристроил рябининские камусы, приспособил веревку-лямку, использовав для того даже ружейный ремень. Закидал костер снегом и, наконец, подошел к егерю.
— Тронем, Ваня! Одень рукавицы, подсохли, поди!
Он опустился на корточки перед Рябининым, и тот, обхватив его за плечи, вместе с ним поднялся на здоровую ногу. Селиванов закряхтел.
— Ох, и тяжел же ты, не меньше шести пудов! Я вот больше четырех никогда не вытягивал, даже с обжорству...
До волокуши было нормальных два шага, но преодолели они их еле-еле, и когда Рябинин неуклюже, боком, свалился на волокушу, Селиванов, выпучив глаза, вздохнул облегченно.
Положив рядом с егерем оба ружья и закрепив их, он пристроил под голову Ивану оба вещмешка и, звонко высморкавшись, накинул лямку на грудь. Напрягся, рывком сдвинул волокушу с места, остановился и довольный повернулся к егерю.
— Осилю, значит! А будь бы дело летом али на подъем...
Он покачал головой и, согнувшись чуть ли не пополам, двинулся с места. Волокушу тащил вдоль ложбины, в обход березняка, на который вывел егеря в надежде оторваться от него. Теперь березняк был препятствием, по нему не пройти с поклажей, но Селиванов места знал до каждого пня, и вскоре от ложбины вниз открылась не то просека, не то дорога летняя, а теперь — под снегом и без следов. На нее и свернул свой путь Селиванов. Когда же спуск стал крут, скинул лямку с плеча и лишь чуть-чуть подтягивал волокушку, с трудом удерживаясь от скольжения. Волокушу заносило боком, зарывало в снег, несколько раз Рябинин сваливался с нее, и тогда Селиванов бесцеремонно, не обращая внимания на ругань егеря, заваливал его катом на прутья и тащил дальше.
Когда спуск кончился и открылось поле, и деревня завиднелась вдали, взмокший Селиванов остановился, скинул шапку, расстегнулся и сел на снег, охая и постанывая. Егерь тоже облегченно посматривал кругом, морщась от боли, стряхивая с лица снег, таявший холодным потом.
— Это что! — хвастливо залепетал Селиванов.— Вот когда я в двадцатом с Чехардака папаню своего волок с простреленными грудями! Вот тогда была работа, я тебе скажу. Две гривы тащил живого, а две — уже мертвого. Нет, чтобы взглянуть в глаза — пер как дурак. Ведь слышал же, что он стонать перестал, а все тащил. Молодой был совсем, глупый... Уж как обозлился, что покойника тащу!
— Кто это его? — без особого интереса спросил Рябинин.
— Кого?
— Отца, кого еще!

— Его-то...
Селиванов пошмыгал носом, покосился на егеря.
— Да было такое дело...
— Не хошь, не говори! Тащи давай, а то замерзну.

Деревня Лучиха, где жил (или считалось, что жил) Селиванов, была в десяти километрах — ниже по речке Ледянке — от Рябиновки, стоящей немного в стороне, но не на той же дороге. Дорога же шла в Кедровую и далее — на Байкал и Иркутск. Уходя от егеря, Селиванов, понятное дело, шел на Лучиху, хотя до Рябиновки было ближе. Но не в егерской же деревне было ему искать спасения — там местные мужики, как бы ни были злы на своего егеря, за чужого не заступились бы. И теперь, значит, Селиванов тащил егеря в «свой» дом, купленный Селивановым несколько лет назад. Необжитый, не подновленный, как положено, он лишь числился за Селивановым, зиму и лето живущим в своих потаенных зимовьях.

В кооперативе, где приписан был Селиванов, давно махнули на него рукой, в основном рукой председательской, не отсохшей от щедрости рук селивановских. Подслеповатый, хромой, боящийся тайги, как черт ладана, председатель кооператива был дюже силен в бухгалтерии, и особенно по части меха. Он не только понимал мех, но питал к нему созерцательную любовь, которую Селиванов презирал, но изрядно поощрял по мере возможности и надобности. Надобность же была простая: чтоб жить не мешали, на участок его не совались, чтоб никому не было до него дела. Потому что вся радость жизни Селиванова состояла в том, чтобы жить по своему желанию и прихоти, ходить в тайге лишь по своим следам или, по крайней мере, чтоб никто по его следам не шатался...

Селиванов любил власть и хотел ее, но не над людьми, чьи души путанее самых запутанных троп. Люди непостоянны и ненадежны, с ними нельзя быть спокойным и уверенным, среди них — будь настороже, а то враз обрушится на тебя, что ненужно и хлопотно.

Другое дело — тайга! После лета всегда осень, а зимой — снег, и никак по-другому. Здесь, ежели по тропе идешь, можешь о ней не думать: не подведет, не свернется кольцом, не вывернется петлей, а если уйдет в ручей на одном берегу, на другом непременно появится, да там, где положено. А язык?! Его среди людей держи в зубах, потому что одни и те же слова по-разному поняты могут быть, и вдруг прищурятся глаза, губы сожмутся, и вот — уже опасность. Напрягайся, чтоб избежать ее: хитри, ловчи, притворяйся, уступай не уступай, беги или оставайся, а зачем все это?

В тайге же человек всегда только вдвоем: он и тайга; и если язык тайги понятен, он с ней в разговоре — бесконечном и добром.

В тайге Селиванов пьянел от власти, потому что там не было ничего ему не подвластного, и власть эту не нужно было утверждать каждый раз заново, когда возвращаешься: просто приходи и вступай во владение. На зверя у тебя — стволы, на дерево — топор, на шорохи — уши, на даль — глаза, на красоту — радость, а на опасность — умение.

Когда дорога от людей где-то превращалась в тропу, а тропа, сужаясь, становилась тропой одного человека, ее создателя и хозяина, когда лес за человеческим жильем становился тайгой (а переход этот незаметен и необъясним), Селиванов, обычно до того всегда шедший молча, глубоко и радостно вздыхал и произносил: «Дождя б не было!» или «Ничего погодка нонче!» Говорил он это просто так, не вникая в смысл сказанного, но громко и облегченно, словно получал, наконец, право вольного голоса и свободы.

Давно миновало то время, когда огорчали его неудачи на охоте, когда он даже ружье мог кинуть на землю и браниться вслед ускользнувшей добыче. Теперь о том вспоминать было смешно. Теперь если, к примеру, белка прыгнула раньше выстрела и ушла по деревьям, уводя за собой собаку, Селиванов улыбался ей вслед и думал о ней с уважением, даже собаку мог вернуть, свистом громким и резким приказать: «Пусть живет, ищи другую! Мало ли глупых-то!» И если даже ценный и нужный зверь уходил от него, все равно не было в том неудачи, потому что это ведь удача — встретить зверя хитрее себя. И в этом — интерес.

Уважая тайгу, признаваясь себе в этом (он просто не знал слова «любовь»), Селиванов не уважал людей. А суету их, что развели они за пределами тайги, в тесном и шумном мире, презирал даже, полагая, что ему лично повезло родиться тем, кто он есть, и там, где он есть, хоть не повезло ему в теле и в росте. Но и то выходило к лучшему, потому что будь он эвон таким битюгом, как Рябинин, разве удержался бы от соблазна вступать с людьми в спор, не соблазнился бы мощью своих кулаков да голосом зычным? Ведь честолюбие — грешок этакой — разве не знал его за собой?!

Вот так! Но вот Рябинин. Когда Селиванов увидел его впервые, сумрачного и крепкого, как кедр-дубняк, он, этот егерь, заинтересовал его сразу. В интересе была странная ревность, близкая к зависти, и это незнакомое и неприятное чувство начало все чаще и чаще гонять Селиванова на участок егеря; оно же заставляло делать маленькие пакости поначалу, а потом толкнуло уже на открытый вызов и соперничество, которое завершилось теперь селивановской картечиной.

Может, будь Селиванов откровеннее с собой, признался бы, что давно жаждет иметь товарища, которому можно многое рассказать и которого интересно послушать. Но к такому товарищу заранее предъявлял множество требований: должен был он обладать такими качествами, которые в одном человеке редки, а может, и вовсе не бывает таких сочетаний: чтоб человек был силен и добр, верен и надежен, умен и неболтлив, чтобы умел быть близким и не надоедал, чтоб нуждаться в нем, но не зависеть, чтобы не опасен был человек для твоего спокойствия — вот что главное.

С отцом, когда тот был жив и они вдвоем шастали по тайге, было стеснительно. Отец был человек жестокий и суровый, душевности между ними не было, власть его тяготила и сковывала жаждущего самостоятельности и свободы, рано осознавшего себя взрослым Андриана, единственного сына своих родителей. Что-то брезгливое и презрительное было в отношении отца к хилому и худосочному сыну; может, потому не слишком переживал Селиванов смерть его (мать умерла еще раньше), и не только не испугался своего одиночества, но, напротив, обрадовался ему как обретению свободы и великих прав на тайгу и на жизнь, и на все, что давала жизнь в тайге.

Было двадцать четыре года ему, когда публично осмеяла его рябая девка Настасья, и с тех пор больше никогда не приходила в голову мысль о женитьбе. Как-то так получалось, что каждый раз, если испытывал он мужское томление, бежал в тайгу, и тайга подсовывала ему (точно знала!) такую охотничью загадку, которая выматывала его до полной утраты всех сил, в том числе и мужских; и когда после, уставший и размягченный, засыпал он на нарах в зимовье, баба могла присниться с четырьмя ногами и с рогами изюбря на голове; и он уже никаких иных желаний не имел, как шлепнуть ее из обоих стволов вразнос крупной картечью.

Мудрое и великодушное властвование, которого жаждала его душа, Селиванов осуществлял по отношению к собакам. Их всегда было у него две: кобель и сука. Обученные всем таежным премудростям, прирученные ко всякому домашнему пониманию, всегда в меру кормленные и ухоженные,— они были гордостью его и источником побочного заработка. Щенки их ценились в деревнях на несколько шкурок соболей, а заявки на них Селиванов получал на две вязки вперед.

Сколько бы щенков ни принесла сука, он оставлял жить не больше пяти, для сбережения славы отбирая самых крепких и здоровых. Время собачьей любви было для него праздником. Когда подходил день вязки, он забирался с собаками в самое дальнее зимовье, по делам не ходил, кормил, кобеля особенно, до отвала заранее заготовленным мясом, а утром того дня, когда все должно было свершиться, ласков к собакам был по-матерински; и все происходило на его глазах, с его одобрения и при его поощрении; когда же уставшие и довольные собаки, тяжело дыша, расстилались у его ног, он гладил их, и хвалил, и ласкал, и приговаривал что-то такое, что только очень любящие люди говорят друг другу, и то редко. Ну, а во время родов собачьих все человечество могло встать вокруг тайги, во сколько рядов получится, и уговаривать его в один голос прийти и царствовать на земле — он бы и ухом не повел! Так, по крайней мере, он сам говорил себе вслух, сидя на корточках около рожающей суки.

И хотя человечество не вставало вокруг и ни к чему Селиванова не призывало, тем не менее оно покушалось на таежную тишину, врывалось в нее агонией своей суеты и пустоделицы.

Убили отца. Потом замахнулись на него самого, Андриана Никанорыча Селиванова, но споткнулись. Он постоял за себя. Он выжил, чем не может похвастаться кое-кто другой. И пусть пришлось хитрить, и следы заметать, и прикидываться ихним, и грех свершать тяжкий, а волю он себе все-таки выхитрил и остался как он есть — сам по себе.

Только что говорить: с годами стала нет-нет да заползать в душу тоска. Она-то и свела однажды тропы Селиванова и Рябинина в перехлест и переплет.

Упираясь камусами в снег, тащил он нынче раненого егеря в свой холодный и нежилой дом, и было у него такое чувство, что, как плохо ни получилось, все оно к лучшему, и что тащит он к дому не беду, а удачу, почти добычу, о коей мечтал втайне и домечтался. Рану рябининскую Селиванов всерьез не принимал. Что ему, бугаю такому, какая-то дырка в ноге! Но зато повязаны они будут друг с другом словом и тайной.

— Замерз али нет? — крикнул он егерю, обернувшись, но не останавливаясь.

— Тащи!

— Тащу! — радостно взвизгнул Селиванов.

До дома добраться он рассчитывал потемну, так и получилось. На всякий случай сделал крюк за огородами, чтоб не нарваться на людей. Оставив егеря на волокуше, открыл избу, зашел, зажег лампу, а затем уже вернулся за Рябининым и ахнул, увидев того на ногах.

— Отошло никак,— сказал Рябинин, делая пару шагов к крыльцу. Селиванов подскочил на всякий случай поближе, вытянув руки вперед, готовый подхватить.

— А я чего говорил? Пустяковая дырка! С ей плясать можно. Судорога у тебя была! На крыльце-то осторожней, доска сгнила.

Все-таки изрядно припадая на ногу, Рябинин поднялся на крыльцо, прошел сени ощупью. Перешагивая через высокий порог, егерь покачнулся и заскрипел зубами. Сняв с него заснеженную шубу, Селиванов провел его к кровати, усадил, осторожно стянул с раненой ноги валенок. При этом заглядывал ему в глаза и морщился, будто и сам боль испытывал. На руках его осталась кровь.

— Опять пошла. Сейчас мы ее придавим насовсем. Только теперь уж лежи и не вставай!

Раскрыл громадный, в обручах, сундук, что стоял у печки, достал тряпки, разрезал на бинты. Потом разбинтовал, присыпал рану смоляной пылью, забинтовал и завязал распоротую штанину.

В доме было холодно, как на улице. От дыхания пар стелился по избе и белым туманом тянулся к лампе, которая нещадно коптила

сквозь нечищеное, надтреснувшее стекло. Набросав на егеря всяких одежд, что нашлись в доме, сам, не раздеваясь даже, принялся за печь, что никак не хотела разгораться, дымила и шипела, но сдалась упорству хозяина и защелкала полусырой березой. Самовар разжегся гораздо быстрее и охотнее, хотя дыму напустил еще больше.

Изба казалась нежилой, да такой и была. Состояла всего из одной большой комнаты, с русской печью посередине, а все прочее — громадная кровать с никелированными спинками, фигурными шишечками на них (не иначе как привезенная из самого Иркутска), стол на граненых ногах, сундук, лавка, две табуретки, комод самодельной и грубой работы и даже самовар — все это осталось от прежних хозяев. Ничего за эти годы не привнес в дом Селиванов, а напротив, отсутствием своим лишил его души, и дом стал вроде не домом, а лишь стенами с потолком и полом, да окнами, ставнями закрытыми.

— Как бродяга живешь...— угрюмо сказал Рябинин, осмотревшись вокруг.

— А я и не живу вовсе,— ничуть не обидевшись, ответил Селиванов.— Положено для порядку дом иметь — вот и имею! Говоришь, власть не признаю? Власть не признавать — это что сс... против ветру! Хочет она, чтоб я приписан был, так чего ж, это я могу!

— Тайга тайгой,— с сомнением ответил Рябинин,— а дом домом. Дома не эта власть придумала! В тайге насовсем только зверь жить может.

— А я и есть зверь! — захихикал Селиванов, подбрасывая в печку дрова, щурясь от пламени и греясь в нем.— Ты видел когда-нибудь, чтоб медведь медведя насмерть драл? И я не видел. А вот в Рябиновке болтают, что твой батя против своих сыновей воевал. Может, друг друга и положили в землю... Так чего ж про зверя говорить. У него закон есть, и против этого закону зверь — и захоти — пойти не может, потому как само его нутро по этому закону сотворено, а против нутра не попрешь! А у человека что? Он — сам по себе, закон — сам по себе, каждый норовит свой закон установить. По мне, так пусть бы лучше меня промеж зверей прописали.

Рябинин усмехнулся.

— Ты б тогда царем зверей был!

— И то! — охотно согласился Селиванов.

Ухватившись за ржавое кольцо, он рывком открыл подполье, некоторое время всматривался в его темноту, потом, пружиня локтями, спустился и долго шебаршил там и кряхтел. Над полом появилась его рука с бутылью, потом она же — с банкой, по горлу тряпкой перевязанной, потом возник ломоть сала, не менее восьми фунтов весом, и лишь напоследок обозначилось довольно ухмыляющееся лицо Селиванова.

— Жить не живу, но заначку всегда имею!

Когда в доме стало теплей и уютнее, на расставленных у кровати табуретах они трапезничали, согревшиеся и даже разогревшиеся от перестойного самогона; и никто, взглянув на них в эти минуты, не поверил бы, что всего лишь несколько часов назад были они лютыми врагами, палили друг в друга из ружей и кровь одного из них пролилась на белый таежный снег. Правда, Рябинин был хмур, в голосе держался холод и в глазах, при свете коптившей лампы, нет-нет да вспыхивали гневные огни. Но Селиванов каждый раз беззащитно и простодушно вглядывался в них, и они притухали, уходя вглубь, и холод таял усмешкой. И хоть усмешке и хотелось быть обидной для собеседника, да не получалась таковой, потому что собеседник охотно принимал ее как должное, и даже радовался ей, понимая ее как свою победу, как удачу, ибо разве это не удача, не чудо — получить друга через кровь его! Никакой самый тонкий замысел о дружбе с Иваном Рябининым

не мог бы получить такой оборот. А теперь у Селиванова была радостная убежденность, что все свершилось: егерь никуда от него не денется, весь принадлежит ему, потому что он хитрее этого молчуна-бугая и не выпустит его, не утолив своей тоски по другу.

От этой уверенности переполнялся Селиванов желанием не просто услужить Рябинину чем-либо, но быть ему рабом и лакеем, стирать исподнее или загонять зверя под его стволы вместо собаки; он просто горел страстью выложиться до последнего вздоха в какой-нибудь баламутной прихоти егеря. Скажи тот ему сбегать на участок и принести снегу с крыши зимовья, чтобы лишь раз языком лизнуть,— побежал бы радостно, помчался, это ему по силам, баловство такое! Но знал Селиванов, что всегда будет иметь верх над егерем. Словно сильного и благородного зверя к дружбе приручал, а сам обручился с силой его и благородством. Сознавая корысть свою, совестью не терзался, потому что готов был оплатить ее всем, что выдал ему бог по рождению и что выпало ему по удаче.

— Шибко полезным я могу тебе быть, Иван! — говорил он с откровенной хвастливостью.

— Нужна мне твоя польза, как косому грабли! — отвечал Рябинин тем тоном, который потом уже навсегда установился в его голосе по отношению к Селиванову и который тот принимал и даже поощрял, чтоб сохранить в егере уверенность в независимости и превосходстве.

— Э-э-э! Не торопься! Мужики, к примеру, тебя вокруг носу водят. А как я тебе все их подлости покажу, они козлами завоют!

— Ишь ты! — презрительно ухмыльнулся Иван.— Мужиков не любишь! Чем они тебе помешали, что давить их хочешь?

— Мне, Ваня, никто помешать не может! Только презираю я их. Ни смелости в их нету, ни хитрости — покорство одно да ловчение заячье! Им хомут покажи, а они уж и шеи вытягивают, и морды у них сразу лошадиные становятся! А власть нынешняя — как раз по им. Она, власть-то, знает, какой ей можно быть и при каком мужике, где руки в ладошки, а где и пальцы врастопыры!

— Ты кончай про власть! Не твоего ума дело. А что про мужиков, так ты-то чем лучше? Чем бахвалишься?

Они пили чай смородинный и прикусывали сахар, наколотый селивановским ножом. Селиванов еще косился на недопитый самогон, но егерь интересу более не проявлял, и пришлось себя сдерживать. А способен был Селиванов в тот вечер не у одной бутылки донышко засветить и умом не замешкаться. Накопилось у него в жизни много чего, чем похвалиться можно, да опасная та похвальба была бы, а нетерпение шибче, и вот еще б самогончику для пущего разгону.

— Ты, Ваня, карту смотрел, которая всю нынешнюю власть показывает? Нет? А я видел в сельсовете! Таких, как наша тайга, тыщу раз в ряд уложится! Вò сколько завоевали! Какие армии вдрызь разбились об эту власть, сам знаешь! — Хитро прищурился Селиванов, словно к прыжку отчаянному готовился.— Нда... А вот Чехардак, Ваня, всего промеж трех грив размещается, его-то не смогли завоевать...

Он держал кружку с чаем у губ, но не пил, а хитро и многозначительно смотрел на Рябинина.

— Чего?

— Не смогли, говорю, отступились! А ведь, кажись, базу хотели ставить, мужиков понагнали с пилами и топорами! И что?

— Это ты про банду?

Селиванов просто трясся от нетерпения.

— Не было там банды, Ваня! Банда что есть? Дюжина глупых мужиков-хомутников. Для власти — это орешки! Для власти, Вань, это хлеб с маслом, когда мужики в кучу собираются; кучей-то они еще глупее, власть на кучах собаку съела! Будь она умней, так указ бы издала, чтоб мужики не иначе как по дюжине вместе спали и ели. А вот ежели один, да умишком не худ!.. Это как мелкая рыбешка: в крупный невод как ни заводи — все пусто!

Рябинин в изумлении поднялся на локтях, вся хмурость с лица спала, ногой раненой шевельнул и боли не почувствовал.

— Неужто ты?!

Селиванов сиял.

— Один?!

— Угу,— отвечал Селиванов.

— Ежели не врешь, знаешь, куда тебя надо за такое дело!

В голосе Рябинина было больше изумления и сомнения, чем угрозы, но Селиванов затрепетал, а остановиться уже не мог.

— Ясное дело куда — к стенке! Только загвоздочка имеется: у власти тоже своя гордость есть. Думаешь, легко ей будет поверить, что такой мужичишка, как я, ей поперек тропы стал? Доказательства захочет! А где они? Сколько там, в канцеляриях, поди, бумаг про то исписали: дескать, банда такая-сякая, да вдруг ты меня за воротник притащишь! А ежели примут твой наговор, так одна власть другую не то что на смех подымет, а и к ответу призовет!

— Врешь ты все, Селиванов! Трепло ты, не может того быть, чтоб один...

Иван рассматривал Селиванова в упор, словно примерял к тем делам, что сотворились на таежном участке — Чехардаке — несколько лет назад и столько разного пересуду вызвали в народе.

А Селиванов закатился мелким смешком.

— Ага, вот и ты верить не хочешь. Завидно тебе! Ведь тремя пальцами из кулака покалечить меня можешь, да вдруг такое! А властито, ей, думаешь, легче поверить? Вот если ты еще, кроме меня, полдеревни назовешь, да самого себя туда же, вот тогда она всех в землю положит и совестью спокойная будет!

— Неужто ты? — растерянно пробормотал Рябинин.

— Знаешь, как если перед богом, то, конечно, если ты донос сделаешь, то хоть и не поверят, а изведут меня как бы впрозапас. Только не сделаешь ты доноса, не такой ты человек, а расскажу я тебе все, как на духу, и может, по-другому на это дело посмотришь. Только давай еще хлебанем по маленькой, а?

— После чаю только свинья хлебает! — угрюмо ответил Рябинин.

Селиванов схватил с табурета отгрызенный кусок сала, поднял его перед глазами.

— А чего свинья? Свинья — это сало, по-хохляцки — шпик значит. Так я того, похрюкаю... Хрю... Хрю... Ха... Ха... да хлебану, да свиньей же и закушу!

Пока он хрюкал, наливал, пил, закусывал, кривляясь и гримасничая, Иван глядел на него исподлобья и мучился оттого, что никак не мог свои мысли к порядку призвать, к тому же нога затекла...

— Я тебе чайку еще сделаю,— предложил Селиванов, дожевывая сало.

Иван не возражал.

— Если по совести опять же, не решился б я на такое дело, если б не оказия... В папаню моего все это дело клином упирается.— Почесал в затылке.

— Ты пей, Ваня, чай тебе сейчас как лекарство! Это, значит, как было. Стояли мы с батей тогда, в двадцатом, в этой, в Широкой пади. Под осень уже дело было... Батя-то мой и от красных и от белых отмахался и меня уберег. Пущай, говорил, они бьются промеж собой, а наша правда — третья. Тàк вот и говорил — третья! Ничего был мужик, ага. В тот день, помню, солонцы мы с ним новые мастерили; только к зимовью вернулись, вдруг собаки — в лай. Чихнуть не успели, а нам в рожи со всех сторон винты! Белые, стало быть! «Кто такие?! — орут.— Партизаны? Красные?» Я — в сопли, батя тоже ростом присел.

Требуют, значит, дорогу на Иркут, к монголам уходить... С Широкой, сам знаешь, любой ручей туда выводит... Чужие, значит, тайги не знают... Батя, когда языком справился, говорит им: «Любой тропой идите — на Иркут придете!» Подходит вдруг такой высокий, с усами, самый главный из них, смотрит на моего отца, как подраненная лосиха, и говорит: «Нам надо за большой порог кратчайшим путем и до темноты. Выведешь...— тут он оглянулся, подозвал мальчишку-офицера, приказал чего-то.— Выведешь,— говорит,— вот это будет твое! Не выведешь — расстреляю!» — Селиванов поднялся, подошел к стене, снял ружье.— Вот это самое ружье и показал бате. У того так глаза и забегали. «Через час,— говорит,— за порогом будете, ваше благородие!» Главный в меня пальцем ткнул: «Сын? От мобилизации прятал?» Батя ему то да се. Он махнул рукой. «Сын с тобой пойдет! Обманешь — обоих расстреляю». Вывели мы их на порог Березовой падью. Я от страху чуть не помер. Шлепнут, думал, чего им, дело привычное! Ан нет! Пришли. Главный ружье бате в лапы. «Пошел,— говорит,— назад!». Назад шли — пулю в спину ждали... Обошлось! К зимовью пришли потемну. Батя полночи с ружьем этим обнимался.— Селиванов погладил ложе, провел ладонью по стволам.— Барское ружье! Ишь чего, серебро раскидали, баловство! А батя того и обнимался с ним, что знал будто, что попользоваться не придется... Утром только проснулись, за окнами — собаки... И снова нам винты в рожи. Красные, значит. За теми, белыми... Опять же главный батю за грудки, пистолет в зубы. «Где белые?» Батя трясется. «Не знаю»,— говорит по глупости мужицкой. А следов-то вокруг! Папироски офицерские... Выволокли нас на свет божий... Звездачей вдвое больше, чем белых. Главный в кожанке, глаза опухшие, губы синие — как упырь. Батю трясет, ругается... А мне бугай (вроде тебя) руку вывернул наизнанку и тоже чего-то требует. И повели мы их, значит, за белыми той же самой тропой. А белые за порогом заночевать собирались. Я при случае шепнул бате, дескать, постреляют нас первыми, что те, что другие. Батя молчит, а потом шепнул мне тоже кое-что...— Селиванов отнес ружье на место и, уже не спрашивая Ивана, плеснул в кружку самогон. Глаза его блестели, руки тряслись.— На Березовой, знаешь, когда к последнему повороту выходишь, обрыв по леву руку... черемушник там...

Иван кивнул.

— С этого места весь порог просматривается. Они-то ничего не увидели, красные, а мы с батей видим, там они еще. Батя тут меня под локоть, и мы с ним с обрыва и сиганули. Ей-богу, Ваня, сегодня, когда мой камус за ветку зацепился и я мордой в снег ткнулся, а ты по следу... Два раза в жизни я такой страх имел... До самого низу батя молча бежал, а когда уже ушли, почитай, батя вдруг как заорет: «Попали, ой, попали!» Я к нему. А он стоит на коленях и орет, и ружье дареное обнимает. Потом упал. Промеж лопаток ему пуля вошла. Вот и пер я тогда его по гривам в обход Березовой пади. Мертвого пер. Нет чтоб остановиться да дых послушать... Дурной был. Аж до Листвяной пади пер, чуешь, сколько! Там у нас с им тоже зимовьюха хреновенькая стояла. Там и похоронил...— Селиванов призумолк, грустноватыми глазами покосился на лампу.— Ни хрена не светит! Все стекло закоптилось. Ну вот. Продал я дом батин... Ну, это не к делу и тебе без интересу. Потом кооператив стали сгонять. А потом решили, значит, базу делать. И нашелся же такой сукин сын, что Чехардак посоветовал! Я бы...

— Сам ты сукин сын! — огрызнулся Рябинин.— Я это дело подсказал. Самое удобное место для базы...

Селиванов выпучил глаза.

— Ты!

— Ну я! Если дело делать, то Чехардак самое место! И не жалею, что сказал!

— Ты! — снова ахнул Селиванов.— Дело? Да какое, Ваня, дело? Тайгу поганить — это дело?

— Чего обязательно поганить! Нужен в тайге продовольственный запас, чтоб не бегать по сезону за жратвой.

— Эх, Ваня! — покачал головой Селиванов.— На три года ты всего меня моложе, а мозгой — на десять лет...

— Ты зато больно умный!

— А ты глядел, как эта база строилась?

— Не мое дело — глядеть. Ну, был я поначалу, когда место искали...

— Ты вот, Ваня, в бога-то, поди, не веришь? А я хоть тоже не шибко, но иногда думаю: впрямь он есть. Если б тогда я знал, что это ты... И перекреститься не грех! — Закатив глаза, Селиванов перекрестился и покачал удрученно головой.— Погнали мужиков-хомутников. Какие безобразия они учинять принялись — я тебе все рассказывать не буду, чтоб совесть твою не тормошить, потому что я ее, эту совесть, своим грехом погасил с избытком...

— Ты мою совесть не трожь, лучше свою поковыряй, там, поди, черноты, что на головешке!

Рябинин захотел переменить позу, заворочался. Селиванов подскочил к нему, начал подсоблять осторожно и толково.

— Затекла нога?

— Есть малость.

Селиванов взбил повыше и положил подушку, стянул с гвоздя свой полушубок, ощупал, не мокрый ли, и тоже сунул Ивану под голову. Иван откинулся на спину и жестом остановил все еще суетившегося Селиванова. Тот лег на скамью, под голову руки подложил.

— Так вот. Где ты им место указал, там поблизости были у меня самые лучшие козьи загоны... А в версте от того места — зимовье, да такое, что справнее иной избы! Ну, пришли мужики! Был там среди них один губастый с зубами стальными, от ж... до шеи всякой дрянью расписанный... А я, значит, от кооператива будто на ту базу сторожем определился. Я ж на Чехардак с другого конца заходил, со своей деревни Атаманихи. А как дом продал, вообще без дома жил, зимой и летом в тайге. К одной бабке забегал два-три раза в сезон. А когда в Лучихе кооператив согнали и тайгу за ним закрепили, я туда подался, будто вообще человек новый, на Чехардак будто случайно напросился. А на базу, значит, сторожем.

Так вот этот, который расписанный и с железом во рту, он меня им жратву варить заставил... Чуть чего — сапогом под зад. Да не в том дело! Вечером костер разжигали, галдели песнями похабными, а потом всех вокруг костра расставлял и велел сс...ть в костер, чтоб погасить, значит! Вань, ты такое безобразие вытерпел бы?! А потом еще чего... Находил дерево, чтоб под ним муравейник был, то дерево велел свалить, залазил на пень и гадил в муравейник и ржал, как муравьи от его дерьма подыхали! А потом решил он, Ваня, учинить надо мной такое, о чем я тебе и рассказывать не могу! Если б это случилось, утром повесился бы! Сбегал я вечером в Березовую падь, поймал там гадюку (они только там и водятся) и подкинул ему, когда он на мху дрых. Она ему в руку, выше локтя, стукнула. К утру подох. Мужики перепугались и вон из тайги. Я было обрадовался, да через два дня все они вернулись, а с ними новый их начальник... И кто, ты думаешь? А вот тот самый, что за главного у красных был, когда мы с батей им тропу показывали. Я, конечно, тогда совсем мальчишкой был, да глаз у него острый. Стал он на меня коситься... И понял я, что уходить надо. А куда ж уходить из своих мест?

После к нему приехали еще какие-то, не мужики уже, а из новой власти, как я понял. С ружьями. Пальба началась вокруг. Били, что на глаз попадает, и все в сторону зимовья моего шастали. Вот тогда, Ваня, и объявил я им войну не на жизнь, а на смерть.— Последнюю

фразу Селиванов произнес торжественно, но тут же ехидно ухмыльнулся.— На ихнюю смерть, потому что до моей смерти у них была кишка тонка! И вот теперь, Ваня, я открою тебе свой великий секрет.— Тут Селиванов поднялся со скамьи, подсел ближе к Рябинину, наклонился к нему и заговорил почти полушепотом: — Если стать спиной к тому бараку, что строить начали, то что впереди глаз будет, помнишь?

— Гора вроде...

— Во! А если пойти по тропе от той базы на выход, тропа куда сворачивает? Это помнишь?

— Направо, кажись...

Селиванов довольно хихикнул. Рябинина это рассердило, но он не подал виду, интересен был рассказ.

— А если, Ваня, верст пять топать от базы, что по леву руку будет?

Тут Рябинин ответил быстро:

— Ну скала.

— Память у тебя, Ваня, как золото червонное! Точно, скала! А какая?

— Ну чего пристал! Обыкновенная скала, говори дело!

— Да это же и есть самое дело! Это, Ваня, та самая скала, что против базы гора!

— Чего мелешь-то! — зарычал Рябинин.

Селиванов сиял, как тот бок самовара, что отсвечивал лампой.

— В том-то и хитрость, что тропа от базы направо сворачивает круто, потому как там завал каменный в двух местах, а влево забирает чуть-чуть, то на шаг, а то и менее, зато все пять верст! И получается, что тропа та дает круг и за гору заходит, где она скалой смотрится! Эту тайну мне батя открыл. Когда выйти из тайги надо было налегке, прямым ходом вчетверо короче. Круто шибко, особенно когда на тропу спускаешься с той стороны, зато быстро! Дырка твоя заживет, я тебе этот фокус в натуре покажу! — Селиванов довольно хлопнул по коленкам.— И что же я сделал, Ваня! Батя мой запасливый был, приберег на Гологоре винтовочку с гражданской да пару леит, что вояки крестом по пузу носили. Гологор далековато, но ничего, я сбегал, принес винтовочку, запрятал на вершинке. Около базы себе балаган построил стенкой к горе, чтоб сквозь стенку пролезть можно было тайно. И чего? Ждал! Герои настрелялись, мяса загрузили на лошадей, сам навьючивать помогал. А перед тем как отбыть им, водой решил я напоить их, дружков милых, чтоб жаждой не мучились! Да вот оступился...— Селиванов подмигнул.— Да и угодил в ручей со всей одежкой! Стреляки посмеялись надо мной и в путь тронулись, а наш главный их провожать поехал. Когда ушли, я при всем народе одежу снял свою, по кустам развесил и в одном исподнем в балаган залез, дескать, подремать. Сам через стенку, чащей да на горку. Как на крылышках взлетел, еще и ждать пришлось! Озяб. Гляжу — едут, руки в боки, языками чешут. Приложился я — не близко это было, напрямую шагов сотни полторы,— и как этот герой в кожанке мне грудью показался, я его и шлепнул. Он, Ваня, как мешок с дерьмом с седла вылетел! Я винтовочку в потайное место да вниз! Поцарапался, правда, страх как! Вылез из балагана, поеживаюсь, одежу сырую одеваю, давай мужикам в деле помогать... Через час они вертаются с трупом! Ну и началось. Один начальник страшнее другого приезжает, нюхает, по тайге с помощниками шарятся, а как домой вертаться, я на горку и — шлеп! Да самого главного! Потом, помнишь сам, целый отряд заявился, всю тайгу перековыряли, а уходили, я опять главного — шлеп!

Селиванов закатился смехом. Рябинин смотрел на него, как на сумасшедшего, широко раскрытыми глазами.

— Вот только этого последнего я мазанул, руку ему левую оттяпал, он теперь в Слюдянке судьей служит... И чего? Закрыли базу, Ваня! Я будто тоже испугался, перешел будто на Ледянку, а это же рукой подать до Чехардака! А туда носа никто не кажет. Потом, правда, еще ходили отряды, и слышал, поди, слух пустили, будто поймали кого-то... Я их не трогал... Вот она, какая, моя история, Ваня, вся как есть! Будешь доносить али как?

Не без волнения задал этот вопрос Селиванов, хотя все еще сиял от радости исповеди.

— Темный ты человек! — угрюмо проговорил Рябинин, но было в его голосе что-то очень похожее на уважение, или, может быть, страх почувствовал он перед мужичишкой, которого час назад сморчком почитал.— По закону надо тебя, конечно, за глотку брать, потому что ты власти враг...

— Нет, Ваня,— заспешил Селиванов.— Это — моя тайга, и твоя, и других, наша правда — третья промеж их правд. Я к им со своей правдой не лез, против их закону не шел! По их закону что сказано? Все для мужика! А что с того закона мужик имеет?

— Чего это ты за мужиков болеть начал? Сам мечтаешь им на горло наступить,— съязвил Рябинин.

— Ты все мои слова на веру не бери! Зол я на мужиков, за хомутность ихнюю! Будь они рылом позлее, так ведь любую власть в свою пользу поправить можно! Разве не так?

— Если всякий будет власть поправлять...

— Не! — замахал руками Селиванов.— Я по тайге иду, по сосняку, положим, гляжу, под сосной березка растет, а через лето от ее только прутик сухой. Чего это? А не положено березке в сосняке расти! И нигде это не записано, а само по себе! И ежели живут мужики, так закон меж их сам установляется! Я на твои солонцы идти не моги, и все! Это закон! А кто его писал? Никто! А когда он стал? Того и дед мой, поди, не помнил! Ежели ты дом ставишь, то у моего дома дерево валить не будешь, и мысли такой не придет. Это закон! И чтоб его блюсти, звездача с револьвером на брюхе не требуется! А коли закон такой, что ему соблюдаться нет мочи без револьвера, так он всем, кроме револьвера, поперек! Ты, Ваня, думаешь, что я звездачей со скалы шлепал из озорства или по лютости? А коли хошь знать, я каждый раз мозгу до ломоты доводил, чтобы свою правду понять в ясности.

— Убиец ты, вот и вся твоя правда!

На Селиванова, казалось, нападало отчаяние. Он уже не говорил, а кричал. По избе начал бегать. Лавка стояла поперек, и он каждый раз перешагивал через нее, кидаясь от одного угла к другому. Рябинин хмуро уставился в спинку кровати, но при всей нахмуренности на его лице были растерянность и тревога.

— Почему это я убиец? — кричал Селиванов.— А на войне все...— он махнул рукой,— они кого, зайцев убивали? И никто их убийцами не называет! А кто больше всех убил, им власть и почет!

— Дурак! — взревел Иван.— Это ж война!

— Я дурак? — досадно замотал головой Селиванов, словно жалуясь кому-то, кто мог быть за печкой.— А война-то отчего бывает?! Один царь другого в карты надул, а другой ему в отместку соплями камзол измазал! Потом взяли и напустили своих солдат друг на дружку. Солдаты друг другу кишки выпустили! Который царь без солдат остался, тот повинился! И вся война!

— Дурак ты и есть! — подтвердил Рябинин.— В эту войну народ с царем дрался за правду, а ты в тайге прятался!

— Сам ты дурак! — подскочил к нему Селиванов.— Твой отец с твоими братьями воевал! Где написана такая правда, чтоб отцу с сыновьями воевать?!

— Не тронь моих, гад, зашибу!

Рябинин приподнялся, сжав кулаки, готовый вскочить с кровати.

— Зашиби! — кричал, почти визжал Селиванов. Ногой лягнул скамью, чтоб не мешала. Скамья опрокинулась, опрокинула за собой оба табурета. Вдребезги разлетелась бутыль с остатками самогона. Кружки, звеня, покатились по полу.— А за что меня зашибешь-то? За правду? — Селиванов был похож на маленькую собачонку, что нацелилась на быка острыми, мелкими зубками.— Пусть моя правда нечистая! А твоя-то где? В чем твоя правда? Я звездачей со скалы шлепал, так это я им войну объявил за то, что они мою правду обгадили! Я тоже имею право войну объявлять! И каждый имеет право, если жизни нету! Убиец тот, кто жизни лишает, чтоб чужое иметь! А я за свое! А мужики? Что им с той правды, за какую друг другу мозги вышибали?

— Одно знаю,— отступая, сказал Рябинин,— для власти ты враг, и дел с тобой никаких иметь не хочу!

— Во заладил! — в отчаянии развел руками Селиванов.— Не враг я власти! О н а мне враг!

Рябинин молча повернулся спиной и больше не сказал ни слова. Селиванов пометался еще по избе и улегся спать, кряхтя и вздыхая.

Утром проснулся засветло. Затопил печь, принес свежей воды из колодца, поставил самовар, прибрал в избе. Все это делал, поглядывая в сторону спящего егеря. Когда тот проснулся и зашевелился, спросил его о ноге. Перевязал, похвалил кровь, что хорошо скрутилась на ранах, напоил Ивана чаем.

Тот долго молчал. Потом его взгляд будто случайно упал на ружье Селиванова, что висело на гвозде у двери.

— Добрая штука! — сказал Рябинин и, кашлянув, громко добавил:
— В общем, я ничего про твои дела не слышал!

— Правильно! — радостно подхватил Селиванов.— Мы вчера с тобой самогону перебрали, а с его, дурного, чего язык не намелет! И вся история! Лежи. Пойду собак посмотрю, не брал их нынче, у соседей в стайке уже неделю живут. Отощали небось!

Вот так это было. Только история была не вся, история еще только начиналась...

3

Сидя на березовой колоде вблизи старого рябининского дома, старик Селиванов, если бы он вспоминал о прошлом действительно в той подробности и последовательности, как это было только что рассказано, мог бы так и сказать: «История только начиналась».

Но он не вспоминал ни о чем в этот поздний час, хотя, несомненно, думы его были о прошлом, и это прошлое в каком-то смысле было воспоминанием. Какие-то сцены, возможно, зримо возникали в сознании, звучали голоса, и свой голос, который всю жизнь не любил он из-за неуправляемой склонности к визгу. Но, может быть, он вовсе и не видел и не слышал ничего, а просто не решался приблизиться к порогу рябининского дома. И, оттягивая решение, думал о постороннем, или совсем ни о чем, как это умеют делать только старики...

Это было в... ну, в каком это было году, не важно. Была середина лета, самое доброе время года, самое пустое время для охотника. Селиванов целыми днями изнывал от тоски и лишь забавы ради мотался по тайге с Иваном Рябининым, пугая браконьеров и всяких случайных людишек с ружьем, способных ухлопать копылуху, прячущую своих глухарят в черничнике, или перешлепать цыплят рябчика, когда они морковками рассаживаются на березах. Таскал он и соль на солонцы егеревы, и сено косил для изюбрей, и зимовье чинил.

Вот однажды, проторчав несколько дней на Чехардаке, дотянул до того, что и сам, и собаки животы подтянули к позвоночнику. К середине дня, по самой жаре, доплелся до Рябиновки и прямым ходом завалился в сельпо.

Еще когда подходил к магазину, увидел в стороне у забора незнакомого человека. Еще тогда усек его глазом, и если не было предчувствия, то ведь зацепился же глаз, не просто скользнул...

В магазине покалякал с продавщицей, еды набрал в мешок, перекусил малость и собакам, что ворвались в магазин, тоже по горбухе подкинул. Потом еще собаками хвалился перед мужиками, что тоже торчали там от безделья. Час прошел, не меньше. Забыл ли о том человеке? Забыл, пожалуй. Но зато когда выходил, сразу стрельнул в сторону забора, и теперь уже екнуло сердчишко. Там было двое: тот же, и с ним высокий, молодой, угрюмый... Смотрели они на Селиванова прямо, взглядов своих не тая, хотя про что взгляды были, не поймешь. Шел до рябининского дома и не меньше десяти раз оглянулся. Никого. За ним не пошли... Но смотрели же! Теперь Селиванову казалось, что знакомо ему лицо одного из них, а может и обоих...

Страх бил куда-то под коленки, ноги подгибались и подволакивались. Он молил бога, чтоб Иван оказался дома, с Иваном ему сам черт не страшен...

Еще от калитки увидел, что дом на замке, и снова оглянулся. Не открывая дверей, он бегом прошарил сарай, нашел цепь и веревку, привязал собак у крыльца. Да что собаки! Не сторожевую цену они имели. Разве только робкого удержат, а понимающий по холкам потреплет и далее пойдет. Охотничьи собаки. Зимовье сторожить могут, а дому они цену не знают, это все равно что к любому забору привязать...

С крыльца, подтягиваясь на носках, высматривал через плетень дорогу от деревни и лишь после того отпер замок, а войдя заложил сенную дверь на запор. Другая запора не имела, но он вдруг сообразил, что, ежели захотят посчитаться с ним мужики за какие-нибудь егеревские дела, в дом не пойдут, а будут потемну караулить или по дороге в тайгу высмотрят. Тогда не беда! Он дождется Ивана, а до его прихода носу не высунет.

Ставни были закрыты, но щели пропускали свет и даже солнце с южной стороны, так что, немного присмотревшись, он прошел в горницу, зажег лампу и перезарядил ружье картечью в оба ствола. Сел, наконец, на табурет, смахнул фуражку с головы в угол.

Что-то еще тревожило Селиванова, будто не усек чего-то важного, тревожного... А что, если чека! Вдруг разузнали о его делишках на Чехардаке! И верно, те двое на мужиков не очень-то походили, больше на военных... И сапоги на них, вспомнил вдруг, вроде бы и обычные, да голяшки уж больно прямо... больно в обтяжку... А из-под фуфайки у одного-то уж не френч ли проглядывал?..

Такой оборот дела был пострашней мужицкой мести. И тогда Иван — не заступник, а ежели на него нажмут, так как бы и не проговорился! Тогда, значит, что? Тогда надо в тайгу бежать, да тотчас же, да не тропой!

Он заметался по дому, охая и ахая, даже икать вдруг начал. Искал фуражку — нашел ее, наконец. Разрядил и снова зарядил ружье. Потом скинул с места крышку подполья, схватил сала кусок на полпуда, пару банок и выпрыгнул наверх зайцем. Сунулся в буфет, выгреб оттуда все, что было, в мешок, затянул его и закинул за плечи.

В сени вышел, не скрипнув дверью, долго пялился глазом в сквозное отверстие в сенной двери и, никого не увидев, выглянул наружу. Собаки заметались у крыльца, запрыгали, заскулили. Когда закрывал дверь, ключ прятал, собак отвязывал, все время зыркал вокруг, и немного успокоился. Значит, правильно решил — надо уходить сразу, а там уж разыскать Ивана и через него узнать, что к чему.

Собаки радостно вылетели за калитку. И когда Селиванов закрывал ее, одновременно за спиной услышал шаги и голос:

— Андрей Никанорыч, если не ошибаюсь...

Это был один из тех двоих.

«Шлепнуть и бежать!» — была первая мысль у Селиванова, но другая пришла трезвее: не успеть ружья с плеча сдернуть! Мысленно простонав: «Ой, пропал!», Селиванов притворно закашлялся, чтобы перевести дух для разговору.

Собаки, сделав круг по ближайшему рябиннику, вернулись и закрутились у ног. Человек боязливо покосился на них и спросил:

— Не кусаются?

«Не чекист!» — облегченно вздохнул Селиванов.— Тот, если б испугался, спрашивать не стал — пристрелил бы. И не мужик! Самый глупый мужик в собаках толк имеет».

— На то им и пасти дадены, чтоб кусаться! — ответил он незнакомцу, уже спокойнее приглядываясь к нему; и высмотрел одно движение руки, такое ни с чем не спутаешь: наган за пазухой! А все равно не чекист! Это точно! К тому же молодой совсем! Это по хмурости на морде сразу-то не приметил! Совсем парень еще!

— Дело у меня к вам, Андрей Никанорыч...

Селиванов кашлянул и не без важности ответил:

— Я прозываюсь не Андреем, потому как в день моего на свет появления в святцах святого такого не имелось, а прозываюсь я Андрияном. Хоть глупое имя, да мое. А дело-то про что у тебя?

Ох, как осмелел он, даже на «ты» перешел, и нутро все смеялось над недавними страхами. А что у этого в грудях револьвер, так эдаких Селиванов сколько за все годы перевидал!

— С вами хочет поговорить один человек... Мы сейчас к нему пойдем...

— Если кому я нужен, пусть сам приходит...— начал было Селиванов, но вдруг все изменилось. Пока человек стоял от него в трех-четырех шагах, даже в полутора, был он просто человек и все. Но вдруг подступил к нему и оказался на голову, а то и более выше. И лицо его сменилось, будто маску скинул. Как всегда бывало в таких случаях, Селиванов сразу почувствовал себя маленьким и жалким; и спасовал, как всегда пасовал перед сильными и наглыми.

— Мне плевать, как тебя зовут, понял! — раздельно и внятно процедил сквозь зубы незнакомец.— Мне сказано привести тебя, и я приведу, а если надо будет, то и дробовик твой об тебя обломаю!

Селиванов съежился, подумал с тоской об Иване, со злобой — о собаках, что путались без толку под ногами, и спросил покорно:

— Куды идти-то?

И хотя незнакомец сделал очень неопределенный жест рукой, Селиванов догадался, что пойдут они низовым рябинником, в обход деревни, куда-то к другому ее концу. «Эх, был бы Иван, по-другому поговорили бы! — шел и думал он.— Или собаки: сказать бы им «фас», чтоб одна за глотку, а вторая за ж...! Покрутился бы герой! А может, изловчиться и хлопнуть?»

Но сам знал — пустое дело, не получится... Да была еще надежда, что ничего страшного не случится! Кому-то нужен он. Кому — уже догадывался. Значит, не всех еще звездачи извели. Но мысль эта радости большой не доставила. Пустое все это дело... Пуля против нынешней власти слаба, а власть ею крепка! И загадка эта таким вот молодцам не под силу, погуляют и слягут где-нибудь без славы и пользы, только людям хлопоты. Да и какое ему дело до всего этого? Он живет по себе, по своему интересу. Такое уж место ему в жизни выпало, что на него лапу наложить непросто, да и сам он не промах, постоять за себя может!

Ну тут вот, на этом месте, схватил Селиванов за хвостик маленького червячка, что похабным рылом своим пробуравил его самоуверенность.

А ведь мог бы этот, за спиной, оказаться чекистом? Мог! Ведь подумал же сначала. Значит, и ранее такую мысль имел в душе, да только в слова ее не допускал. Стало быть, и он, Селиванов, под богом ходит! Ходит себе и ходит, а где-то, может быть, вылупляется из протухшего яйца беда про него. По крайней мере, кто поручится, что не поджидает его на какой-нибудь тропе колодина, об которую переломать ему ноги...

Между тем шли они действительно нижним рябинником в обход деревни, и тот, сзади, ни разу не поправил Селиванова, дескать, вправо или влево идти. Так куда ж его ведут? Он припомнил по каждому дому весь тот конец деревни и решил, что идут они не иначе как в дом к тетке Светличной, что стоял в глубине рябинника, чуть в стороне от самой улицы. «Ишь ты, кликуша конопатая!» — подумал не без уважения об этой женщине Селиванов. И, странное дело, подумал как о союзнике, которого ранее не разглядел.

Когда он уверенно свернул налево и прошел шагов полста в том направлении, вдруг был схвачен за воротник, да так крепко, что рубаха горло перехватила.

— Откуда знаешь, как идти надо?

Селиванов захрипел (притворно, конечно), а когда был отпущен, упал на землю, схватившись за горло и закатив глаза.

— Ты чего? — испуганно спросил парень, наклонившись к нему.

— Горло ты поломал мне, бугай мордастый! — прохрипел Селиванов, выкатывая глаза на лоб.— Воды дай, скорее, а то помру щас!

— Воды? — растерянно завертел тот головой.

Ох, как знал в себе Селиванов эту неудержимую удаль, что порождалась неизвестно от чего в его хлипком теле! Уж как она тогда сотрясала его изнутри лихорадкой риска. И ничего с собой поделать не мог, когда накатывало такое, потому что было оно сильнее всякого хмеля, что вливает в себя иной, чтобы дерзость в душе познать.

— Воды! — хрипел он.— Вон за тем кустом родничок...

Длинный парень заметался.

— Руки вверх! — завизжал Селиванов через минуту: уже на ногах, и с бойком на взводе.— Вверх руки, г...о коровье, не то разнесу по перышку!

Ну зачем ему это надо было? Ведь пять шагов назад и не помышлял ни о чем таком. Само пришло! В ногах — страх козлиный, душа рвется почудачить...

Парню перекосило рот, но руки поднял, хоть и не высоко, а длиннее стал будто вдвое. Зубы оскалены, в глазах — не приведи господь!

«Может, шлепнуть и дело с концом?» — была мыслишка. Но здесь найдут его, дело заведется — не обойдется! Да и любопытство разъедало Селиванова насчет всего этого. Кому он нужен и зачем?

— Тебе чего приказано было? Чтоб меня привести! А за глотку хватать было велено али нет?

Парень стоял и зло сопел — явно искал выход. И такая решимость была в его, как ночь, черных зенках, что Селиванов понял — либо шлепнуть надо, либо сворачивать дело.

— Мы тоже не пальцами деланы! — сказал он хвастливо и почувствовал себя удовлетворенным.— Я и сам понимаю, что, ежели кому во мне нужда есть, стало быть, идти надо! А куда идти, это, браток, сообразить не хитро! Тетка Светличная единственно одна живет в том конце, да подход к ей с этого рябинника самый скрытный.

Дальше хоть и говорил тем же голосом, но в коленках маету чувствовал изрядную.

— Ты того, рога-то из глаз убери! Пошутковал я! Да за пушку не хватайся, не понадобится!

Он опустил ружье, парень опустил руки.

— Пошли, что ли...

И снова Селиванов превратился в жалкого мужичишку, да и почувствовал себя таким. Это преображение потушило, или почти потушило ярость длинного. Он, видимо, еще не совсем пришел в себя, но прошипел:

— Я б тебе пошутковал...

— А кому приятно, если его за глотку хватают! — совсем жалостливо простонал Селиванов, закидывая ружье за плечо.

— Ладно, иди!

Селиванов вытер пот со лба. Машинально то же сделал его противник.

— Ишь ты какой! — зло и удивленно сказал парень.— Смотреть не на что, а подловил меня!

Рыжий кобель тетки Светличной начал заливаться, когда они еще и до огорода не дошли. Селивановские собаки заметались вокруг изгороди. Когда же они подошли к крыльцу, конура оказалась пуста. Тетка перевязала кобеля за сарай. Больно лютый у нее пес был, испугалась, что гостей покусать может. Сама встретила их в прихожей и, увидав Селиванова, всплеснула руками в притворном удивлении:

— Андриян Никанорыч никак!

— Ага. Свататься пришел,— ехидно ответил Селиванов, снимая фуражку и вытирая ноги.

— Да я б с радостью! — запричитала Светличная.— Кто за вас не пошел бы! Охотник вы отменный! Уж как бы я вас обхаживала да голубила! Да куда уж мне, горемычной!

И так она все это пропела, что у Селиванова вдруг мысль промеж бровей проскочила: а может, и взаправду посвататься! Но легкий толчок в плечо быстро привел его в себя и, еще раз шаркнув ногами, он прошел в комнату.

На кровати, закрытый по горло стеганым одеялом, лежал тот, второй. В ногах у него сидела девушка лет девятнадцати, вся такая беленькая, светленькая, с косой до пояса. Запнулся на ней взглядом Селиванов, потому что не ожидал увидеть такое диво недеревенское, а приглядевшись, догадался, что дочка она того, что лежал в кровати и был больной, потому как жаром горели его щеки и лоб, а глаза нездорово блестели...

— Садитесь, Андрей Никанорович, стул возьмите и садитесь ближе!

Больной проговорил это тихим голосом с хрипотцой. По манере Селиванов с ходу определил, что перед ним «бывший». И уж офицер — точно! Он взял от окна стул, сел, ружье меж колен поставил, фуражку на ствол накинул.

Тот, что привел его, стоял в проходе, облокотившись на косяк, и голосу не подавал. Подчиненный, стало быть. Тетка осталась в прихожей.

— Николаем Александровичем меня зовут...

Селиванов культурно привстал.

— А это — дочка моя Люда... Людмила...

Девушка смотрела на Селиванова спокойно и серьезно, и по ее взгляду он понял, что очень нужен им обоим.

— Не узнаешь меня? — вдруг спросил больной, глядя не на Селиванова, а на ружье.

Селиванов замялся.

— Еще у магазина... это... знакомым показались...

— Заметил, значит. Между прочим, твой отец... мне рассказывали тут... умер он?

Селиванов решил не трогать эту тему и дипломатично пробормотал:

— Царствие ему...

— А ружье это отец твой получил из моих рук!

Селиванов сначала прищурился, потом трусливо опустил глаза.

— Чего молчишь?

— Того, от кого мой папаня это ружье получил, я хорошо помню, хоть и молодой был, так что, извиняюсь, неувязочка...

Больной чуть приподнялся, дочь тотчас поправила ему одеяло, переложила подушку повыше.

— Подарил ружье твоему отцу полковник Бахметьев, а подал я... Подпоручик тогда я был...

Да, верно, вертелся около полковника офицерик, Селиванов припомнил. Значит, и вправду лицо знакомое...

— Тогда, значит, не ушли... — осторожно спросил он. Хотя откуда было знать офицерику, что Селиванов знал про красных, что они с отцом и навели красных на них!

— Ушли. С боем, но ушли. Дочь...

Он посмотрел на девушку, она ответила ему, и в этом обмене взглядами было «что-то» про любовь отца и дочери. Селиванову же про то оставалось только догадываться, потому что некому было на всей земле подарить ему такой взгляд... И опять промелькнула беспутная мысль: не посвататься ли к Светличной? Что с того, что она старше, а дите еще может быть... и, бог даст, тоже девка, и может статься, доживет он до той поры, что и на него взглянет так же... Господи! И помереть можно!

— Дочка осталась у меня в Иркутске, год ей был всего...

И снова они смотрели друг на друга, и чуть-чуть повлажнели у обоих глаза.

— Вот и вернулся я... Чтобы на дочь свою поглядеть.

«То есть как это вернулся! — подумал Селиванов и оторопел даже. — Откуда вернулся?! Оттуда, чтобы на дочь поглядеть? Тут надо ухо держать востро! Тут кое-чем попахивает, от чего ноздри могут наизнанку вывернуться!»

— Значит... на дочку посмотреть... — тоном дурачка переспросил Селиванов.

— Семен, Людочка, посидите на крылечке, а мы поговорим...

Просящая интонация относилась скорее к тому, долговязому. Девушка, еще раз поправив подушки, послушно поднялась, и тот охотно (эту охотность для себя подметил Селиванов) шагнул ей навстречу, и руку предложил по-барски, и похабной улыбкой расплавился весь. Но руку его она не приняла, прошла мимо, и это тоже подметил Селиванов, хотя вроде бы и не смотрел в их сторону. В прихожей, когда уже за ними хлопнула дверь, прикашлянула, напоминая о себе, Светличная, но офицер никак не обратил на то внимания, и это означало, что тетка была у него на полном доверии. Цена Светличной в глазах Селиванова подскочила втрое.

Офицер глядел ему в глаза. Не было в них настороженности или подозрительности, просто пытался рассмотреть человека, насколько вообще можно рассмотреть человека по его виду. Селиванов терпеть не мог, чтоб ему в глаза смотрели, потому что никогда ничьего взгляда не выдерживал, и знал, что не в его пользу такая слабость, но разве себя переделаешь!

— Что ты за человек, Селиванов? Совсем ведь тебя не знаю... Вот только Ульяна Федоровна хорошо говорила о тебе... Потому и рискую.

«Женюсь!» — твердо решил Селиванов.

— Власть-то новую признал? Я имею в виду — сердцем?

— Другой власти нету, — осторожно ответил Селиванов.

Офицер устало вздохнул.

— Вижу, хитер... Но выхода другого у меня нет, и буду я с тобой

откровенным. Если выдашь меня, бог тебе судья! Но если дочке скажешь о нашем разговоре...

По взгляду, вспыхнувшему на миг, понял Селиванов, что верно, из-за нее было все, что хочет он о себе рассказать.

— Болен я. Чахотка. Знаешь, что это такое?

— Неужто?! — ахнул Селиванов, по-новому всматриваясь в его лицо.

— До осени не дотянуть...

Селиванов хотел что-то возразить, потому что невозможно не возразить, слыша такое, но тот махнул рукой. Не хотел соболезнований и утешений.

— Когда узнал, страшно стало подохнуть на чужбине... Нашел людей, русских же, у которых в России дела. Уговорил послать. Не надеялся, что пройду. Мало кто проходил... Но вот, как видишь. В Сибирь поехал дочь искать, а сроки укоротились. Не до дела уже. Хочу последние дни провести с дочкой. А где? Вспомнил твоего отца. Вдруг, думаю, жив? Помог же нам однажды! Теперь вот ты... Можешь спрятать нас в лесу? Это не долго. Слово офицера. Дочь знает, что я оттуда, но не знает про болезнь, думает, простудился. — Помолчал. — Вот я, офицер бывший, дворянин, к тебе с просьбой обращаюсь, к мужику русскому, если ты еще русский... Дай мне умереть на воле. Отплатить тебе не смогу ничем, кроме хлопот лишних да риска...

Умел офицер говорить с мужиком. Растрогался Селиванов до нервности, даже сказать сразу ничего не смог, хотя непременно нужно было ответить. Но он лишь беспокойно заерзал на стуле, жесты непонятные руками изобразил, сам же преисполнился весь радостной готовностью услужить этому человеку, и даже думка не мелькнула более про то, что опасное это дело, если посмотреть по-всякому.

— Да чего ж... — обрел он наконец дар речи. — Тайга — это так сказать, наше хозяйство! А чего помирать! Я вас в недельку на ноги поставлю! Корешок имею!

Больной грустно улыбнулся.

— На мою болезнь корешка природа не придумала, или люди еще не нашли... Так спрячешь?

— Понятное дело! Только как вы туда дойдете? Чтоб надежно, подальше нужно...

— Лошадь бы...

Селиванов с досады хлопнул себя по колену.

— Во дурак! Ну конечно! Будет лошадка и седельце...

— Ты уж извини, — перебил его офицер, — а две не сможешь достать?

— Да он же здоровый, бугай этот! На своих дойдет!

— Я о дочери...

Селиванов снова досадливо скривился и обозлился на себя за непонятливость.

— Понял. Две — это труднее... Но сделаем. А сможет она в седле-то?

— Не галопом же пойдем.

— И то верно, — согласился Селиванов и наконец позволил себе вопрос, что уже крутился на языке.

— А этот, длинный, который, он кто будет, ежели не секрет, конечно?.. Я это к тому, чтобы, как его... ну... это...

Тот помрачнел заметно, кинув взгляд к выходу, ответ обдумывал, а может, надеялся, что Селиванов от вопроса откажется. Но Селиванов делал вид, будто не понимает замешательства и молчания, и дурачком, как это умел, смотрел на офицера.

— Он будет со мной, а потом... уйдет. Если надумаешь выдать его, вспомни, что я тебе этого очень не советовал делать...

«...Так, так, — соображал Селиванов. — Не просто тут понять, кто из них главнее! Ухо надо держать востро!»

— Тогда, значит, что. — Он поднялся, кинул ружье за плечи. — Пошел я насчет лошадок. Как договорюсь, так объявлюсь. А вы будьте готовы, значит. Думаю, завтра поутру двинемся...

И тут офицер закашлялся, да так, что Селиванов каким-то тайным чутьем, ранее не слыхав такого кашля, понял — взаправду, перед ним конченый человек, не жилец. Тихо, вполоборота, вышел.

Людмила и Длинный сидели на верхней ступеньке крыльца. Оба встали, как только увидели Селиванова. Людмила тут же скользнула в дверь, а Длинный оказался напротив. И Селиванов вынужден был задрать голову, потому что понял — мимо пройти не удастся.

— Ну, до чего договорились? — спросил Длинный, не очень-то дружелюбно на него глядя.

— Что надо, то и сделаю! Извини, милок, время мало, а делу еще много...

С этими словами он хотел прошмыгнуть с крыльца, но цепко был схвачен за плечо.

— Смотри, без шуток!

Язык затрепыхался во рту от желания сказать молодцу что-нибудь остренькое, но на то мозги и даны, чтоб язык обуздывать!

Изобразив на лице беспредельное послушание и бескорыстие, став еще ниже ростом и выставив напоказ всю щуплость и неказистость свою, Селиванов прохныкал:

— Да чего ж, не понимаю я, что к чему, что ли! Не сумлевайся, мил человек!

Это «не сумлевайся», которое он никогда не употреблял всерьез, подпустил с умыслом, зная силу холопских интонаций. Сильного и глупого ничем лучше не проймешь. Да не забыл, видно, Длинный его «шутку» в лесу, потому тряхнул за плечо и почти скинул Селиванова с крыльца, — лишь ног шустрость помогла не скопытиться на ступеньках. Не уверенный в том, что сможет сохранить на лице что положено, Селиванов, не оборачиваясь, просеменил за дом и шмыгнул в калитку огорода. Пройдя достаточно, чтоб наверняка не быть увиденным, он обернулся и угрожающе пробормотал:

— Еще потолкуем, оглобля двуногая, пошуткуем еще...

С одной лошадью было просто. Егерева кобыла, когда по ненадобности, содержалась в конюшне промхоза или на общем выпасе. Ее и седло Селиванов получил без помех, на то было давнишнее распоряжение егеря. А вот вторую пришлось выклянчивать у конюха. Тот был мужиком своенравным и в зависимости от расположения духа мог оказать услугу, а мог и заупрямиться. И тогда важность свою почитал пуще всяких благ и подарков: чем больше суешь под нос, тем упрямее он становился. И хотя именно на такое настроение нарвался Селиванов, но своего-таки добился и вторую лошаденку получил, правда, без седла за неимением такого в наличности.

Намахав литовкой пару охапок травы за егерским домом, он покормил лошадей, поставил им воды и, не раздеваясь, завалился на печь, где обычно спал, когда бывал у Ивана. Сон долго не шел. Селиванов предполагал, что Иван вернуться может ночью. Тогда надо будет врать про лошадей, потому что правды говорить не хотел, и не столько оттого, что не доверял егерю, сколько очень уж захотелось иметь свою тайну, свое дело, о котором всерьез болела голова. Неясные планы и предчувствия ворочались в душе. Азарт разгорался и кидал Селиванова на печи с боку на бок, и он играл в жмурки со страхом, что тоже шебаршился где-то за душой и нет-нет да наказывал сердчишко маетой сомнений. «И что я за рисковый человек такой! — хвастливо думал о себе Селиванов. — И чего прусь на всякие рога! Везенье — оно ведь тоже до поры до времени! По-другому опять же, кому суждено, того комолая корова забодать может! От судьбы не убережешься! Еще бы вот же-

ниться! Тогда вся жизнь в полноте была б». А дальше фантазия так взыграла, что увидел он себя в тайге с сыном: как учит его читать следы, как подзатыльники за глупость дает и по плечу за удачу хлопает... С этой фантазией и заснул.

Пробудился точно: чтоб из деревни выйти потемну, а в лес войти с рассветом. Седло накинул быстро. На вторую лошадь положил фуфайку и одеяло старое и веревку петлей перекинул по крупу — заместо стремян будет, в езде облегчение. Собакам кинул червячка заморить, себе — хлеб с водой холодной и сахаром вприкуску, закрыл избу и тронулся в путь по зарослям рябинника, на ощупь и по догадке выбирая путь.

Когда теткин пес залился лаем, Селиванов обматюгал его, как мог. Привязав лошадей к забору огорода, сам пошел к дому и на повороте к крыльцу столкнулся с Длинным.

— Готовы?

— Пошли в избу!

В прихожей заохала Светличная: дескать, куда же такого больного человека увозить, как он там без всякого присмотру будет и чем тут плохо...

Людмила посмотрела на Селиванова встревоженно и тоже, кажется, была против, а уж при виде самого больного и в Селиванову душу сомнение закралось. Щеки и лоб его горели, глаза лихорадочно блестели, а на платке, который он, скрывая, комкал, повсюду виднелась кровь.

Сначала навьючили на одну лошадь небольшие мешки с провизией, так, чтобы не мешали сидеть в седле, а на ту, что была без седла, — тюки со всякими тряпками, необходимыми для зимовья. На дорогу выпили все по чарке, кроме офицера. Людмила, загадав, видимо, под чарку то, что и у всех на уме было, выпила на равных и постаралась не закашляться. Зато все время кашлял ее отец...

Он, прощаясь со Светличной, поцеловать на прощание ее не рискнул, но долго держал за плечи, смотрел в налитые слезами глаза и лишь напоследок сказал:

— Когда направлялся в Россию, боялся уже не встретить в ней людей.

— Куда ж они денутся, люди-то? — чуть улыбнулась Светличная.

— Дай-то бог! А тебе — спасибо...

В седло устроили Людмилу. Офицер, на мгновение будто забыв о болезни своей, резво вскочил на кобыленку и приосанился, удаль былую вспомнив, да не тот был под ним конь, и все было не то, и сник он сразу, помрачнел и сказал нетерпеливо:

— Двинемся, что ли!

Селиванов, забрав у него поводок, повел за собой лошадь, выбирая в утренних сумерках проходы по рябиннику.

Он хотел бы тумана, но ясное утро обещало солнечный и жаркий день. Нужно было до полудня прибыть на место, а у таежной лошади, если идет шагом, шаг один — неторопливый, три версты в час, и ускорить его невозможно.

Селиванов долго мотался по рябиннику вдоль ручья (или это ручей петлял?), несколько раз переходили через него, и всякий раз лошади намеревались пить: но лишь шеи успевали вытянуть, как он тянул их и шел далее, зло покрикивая: «Но! Но! Доходяги!» Лошади не обижались, сознавая свою справедность и выносливость, встряхивали гривами, косясь на мечущихся вокруг них селивановских собак, и шли дальше.

Наконец вышли на тропу, и Селиванов отдал узду офицеру. По тропе лошади пойдут сами, работа привычная.

Шли на Чехардак, на ту самую недостроенную базу, где когда-то

разбойничал Селиванов. Барак он давно уже разобрал, точнее, перебрал и превратил в просторную избушку. В ней он обделывал свои делишки: панты варил, шкурки обрабатывал, зверя разделывал, когда мясом запасался; там же хранил капканы, петли, ловушки да стволы кое-какие... Тропа, по которой шли, была неходовая, по ней и ходил разве что только один Селиванов. Шла тропа глубоким черным руслом вдоль мхов, а поперек — на каждом шагу корни, как ступеньки. По обочинам тропы, а то и прямо на ней — маслята таежные целыми гнездами. Скоро птица начала взлетать всякая: то рябчик, то копылуха, то голубь лесной. Собаки уносились далеко вперед, вспугивая все вокруг, радуясь власти своей и свободе.

Офицер стал дремать в седле. Маленький караван шел молча, лишь лошади фыркали да звякали иногда подковами, натыкаясь на выход камня на тропе.

Всю жизнь свою только тем и занимался Селиванов, что входил в тайгу и выходил из нее; и если не было в его мыслях по этому поводу высоких слов, то чувства испытывал он вполне высокие: чем далее шли годы, тем больше смысла чуял он в таком, казалось бы, естественном союзе: он и тайга. Когда выходил на люди и тайга оставалась за спиной, Селиванов думал о ней как о чем-то целом, едином и живом, но от него отделенном, и это отделение воспринимал как вынужденное неудобство, нарушение естественности. Когда же возвращался, тайга переставала быть чем-то вторым по отношению к нему, он снова ощущал себя ее мозгом, и уже не было двоих, но одно — он и тайга; более того, только с его присутствием обретала тайга полноту лица и цельность сути.

Было время, ревновал он тайгу к Ивану Рябинину, но сообразил вскоре, что тот всего лишь «мужик в тайге» — знал много, а понимал мало. Часто испытывал горькую досаду, что не жив отец, потому что именно перед ним хотелось блеснуть своим умением и знанием; понимал он еще, что далеко перехлестнул отца в таежном деле, а все обиды, что от него выносить приходилось, были бы отомщены, взгляни он одним глазом из этого, из того ли мира хотя бы на походку, с какой сын шагает по отцовским тропам! Но так уж устроена жизнь: доказать себя удается только самому себе, а от того радость хоть и есть, да неполная.

Нынче же, ведя чужих людей в тайгу, испытывал он смешение чувств, потому что больно по-разному относился к ним: к офицеру с дочкой и Длинному. И хотя понимал, что никому до него дела нет — один помирать едет, другая — хоронить, третий вообще — темнота да нечисть, — все-таки хотелось их чем-то удивить, проявить свою удаль.

В том месте, где тропа петлями пошла на подъем, приотстал он будто по нужде, а затем, как мальчишка хихикая, кинулся вверх по кустам, напрямую, по немыслимой крутизне, и выскочил на тропу, когда те еще и не показались с поворота петли: когда же выехали, дурацкая шалость оказалась напрасной и вогнала его в стыд, потому что никто ничего не заметил и ничему не удивился — все трое были погружены в свои думы...

И Селиванову стало вдруг страшно тоскливо, и тоскливость эта была вообще: про всю жизнь, про ту его жизнь, что уже прошла и осталась в памяти, и про ту, что проходила сейчас, без всякой видимой связи с будущей, которая еще впереди...

Тоски Селиванов боялся. Он, человек тайги, которому слишком часто приходилось смотреть под ноги и редко когда удавалось взглянуть в небо, равнодушный к вопросам веры (просто некогда было думать об этом), он, однако, состояние тоски почитал грехом в самом прямом смысле. Тоска была для него врагом жизни, и чувствовал он по себе: единственное, что может сломать его жизнь, — это если он уйдет в тоску, как в запой. Тоска — это голос из ниоткуда; тоска, которая есть

пустота, в каждом человеке пребывает, как непроросшее семя. Не дай бог пустить ему ростки. А когда тоска в полной явности проявляется — это и есть смерть. Ее Селиванов видел не раз в глазах умирающего зверя, утратившего уже чувство жизни; тогда, в то короткое мгновение, тоска вырывает душу из тела и уносит ее в никуда, и это ее черное дело есть последнее живое трепетание в уже мертвых глазах. Селиванов всегда старался не смотреть в такие глаза, потому что чутье подсказывало ему, какой опасно заразной может оказаться чужая тоска. В ней все теряет связь, и ни в чем не остается смысла: дерево само по себе, а небо само по себе; зверь под небом и деревом ни с тем, ни с другим душой не соприкасается; а человек оглядывается вокруг — и все против него и он против всех; и тогда начинаешь соображать, что все в мире — от травинки до солнца — совсем другим порядком существует, чем ты думал, и порядок этот к тебе — никаким боком, и выть хочется...

Когда находило такое на Селиванова, давал он волю злу и спасался тем от тоски, потому как никакого другого средства не было от нее, гадины! Хмель (пытался запойствовать) размягчал его до такой отвратности, что он всего себя чувствовал одной большой задницей, и от хмельной сопливости спастись бывало еще трудней. А сорвешь на комнибудь злобу — совестно станет, побранишь себя, покаешься — и снова человек! Иногда немного надо: подцепишь собаку сапогом под брюхо, взвизгнет она собачьей болью, посмотрит на тебя божьим укором, и застыдишься, и жалостью всю черноту души отмоешь. Или хватишь топором по кедру еще несмолевому, и он затрепещет, затрясется и на топоровой зарубке капельки выступят. Тогда ножом смолы соскребешь со старого кедра да замажешь рану, хоть это и дурость ненужная — дерево само себя лечит.

Когда же на человеке срывал злость, излечивался страхом, потому что задирался с тоски обычно на крепкого мужика, и как только до сознания доходил страх побоев, тут же душа очищалась и причащалась к нормальности...

После подъема долго шли по равнине. У ручья сделали привал. Случилось так, что мужики пошли в кусты. Селиванов остался один на один с Людмилой. Она спросила его вдруг:

— Вы человек бывалый, можете сказать, сколько ему осталось жить?

Селиванов захлопал глазами, вспомнив предупреждение офицера. Пытался дурачка разыграть. Она с досадой сдвинула брови.

— Только не притворяйтесь, что ничего не знаете! Я вам доверяю и прошу вас, не хитрите со мной!

От грусти в ее голосе и ему стало грустно.

— А сама-то откуда знаешь? Он же не велел говорить...

— Этот... — она кивнула туда, куда ушел Длинный. — Да и сама догадалась бы...

— А какой же резон ему был говорить вам?

— Господи! — она прислонилась головой к стволу кедра, на корнях которого они сидели, и Селиванов не рискнул предупредить ее, что смола попадет в волосы. — Господи! Какое это имеет значение, кто что сказал? Сколько он еще проживет?

А разве Селиванов знал про то?

— Есть у меня корень целебный, будем поить, авось вытянет!

Нет, надежду в ее глазах он не зародил. Они остались грустно спокойными.

— Зачем этот идет? Чего ему надо! — допытывался Селиванов.

— Папин злой гений...

— Чего?

— Борец за идею. Впрочем, не знаю. Может быть, и борец... Но он злой. Вы его не задевайте. Я... — тут она вся съежилась, быстро оглянулась, — я боюсь его!

— Не боись! — затрепетал от радости Селиванов. — Не таких видывали!

Она с сомнением посмотрела на него, он это сомнение понял. Чего там, мужик он не внушительный. Иван бы — другое дело! А вот еще неизвестно, кто из них для девки надежней оказался бы.

— Не боись! — подмигнул он ей. И сам в этот момент ничего не боялся.

Потом что было?.. Устроились в зимовье. Отец с дочкой на нарах, Селиванов с Длинным на чердаке. Бегал Селиванов за корнем, варил отвар, поил больного. Тот пил, морщился и кашлял. Длинный днями шатался по лесу, палил из пистолета в дятлов, спать заваливался рано. А Селиванов часто допоздна просиживал на чурке в углу, слушая разговоры офицера с дочкой, иногда и сам встревал, если уместность была.

Через неделю (долее тянуть уже было нельзя) погнал лошадей в деревню. Конюх крыл его матом и махал кулаками. Иван же, когда Селиванов к нему пришел, за грудки схватил, чуть в воздух не поднял.

— Куда лошадей гонял?

Селиванов долго и убедительно врал чего-то, рвал на себе рубаху, крест на живот клал, что не на черное дело и что отродясь более к его кобыле не подойдет, потому что жрет она без меры, а потом такие звуки издает и вонь, что зверье с тех мест опрометью уходит...

Иван не поверил ничему, но против селивановской брехни долго устоять не смог: ворчал, сверкал глазами и остывал.

На Чехардак Селиванов вернулся утром следующего дня. Не доходя сотню шагов до зимовья, на тропе встретил офицера, встревожился.

— Гуляю! — успокоил тот.

— А где... все?

— Спят. А утро какое чудесное! Устал? Мешок-то какой!

Селиванов и верно, нагрузился плотно: хлеб, мука, сало, овощи... Светличная позаботилась.

— Посиди, отдохни! — предложил офицер, и Селиванов понял, что поговорить хочет. Скинул лямки, мешок прислонил к пню, выбрал место посуше. Сели. Перед глазами — вершина той самой горы, с которой когда-то так ловко постреливал Селиванов начальников со звездами. Страсть как захотелось похвастаться (другого случая не представится), чтоб оценили его ловкость по достоинству. Но придержал язык, не до него теперь... А тот между тем молчал. Солнце, отчаявшись вдохнуть в него жизненную силу, будто отражалось от бледности его лица или вовсе обтекало сторонами. В самом лице произошли неуловимые изменения.

— В Бога веришь? — спросил офицер.

Селиванов такого вопроса не ожидал, замешкался, соображая, как сказать лучше.

— Не верить грех, а верить мудрено...— пробормотал он и побоялся, что будет уличен в лукавстве, но тот будто не слышал ответа. Он смотрел на вершину селивановской горы, или даже поверх ее, и чуть покачивался.

— Сколько здоровых, сильных пытались проникнуть в Россию и гибли! А я прошел... И если это — Бог, то в чем его воля, а в чем попущение?

Замолчал. Селиванов попытался развить тему.

— Когда солнце в глаза, тогда про Бога думать несподручно, вот ежели ночью...

— Ты прав,— серьезно согласился с ним офицер.— Солнце делает

мир плоским, а ночь дает перспективу... Ночью познаешь суть величин. Свет сквозь тьму... Свет во тьме... Но мне этого уже не успеть понять, хотя жизнь этим начиналась. И была Истина, а потом будто дымкой подернулась, превратилась в привычку. А жизнь пошла сама собой.

Селиванов чувствовал себя собакой, когда она вслушивается в речь человека в надежде услышать знакомое слово. Но был он не собакой, а человеком, и потому думал про себя о том, что за всякой мудреностью кроется нечто очень простое и ему давно известное; и что если иной говорит сложно, так то ли потому, что говорить просто не умеет, то ли чтоб цену себе повысить.

— Красивая у меня дочь? — спросил офицер без всякого перехода.

Селиванов изобразил восхищение.

— А ты заметил, как она произносит слово «папа»? Словно учится его произносить, сама его слушает! Так же, как и я... Мы с ней учимся быть отцом и дочерью... Ты заметил, она произносит слово «папа» иногда только для того, чтобы услышать его, ведь раньше, если произносила, так только в мыслях или шепотом... Но ведь, наверное, совсем другое дело, когда на это слово кто-то откликается. Только тогда оно и звучит по-настоящему...

За спиной — шаги.

— Господи! Папа! Я уже не знала, что и думать! Ну зачем ты один уходишь!

На глазах слезы. Причесаться после сна не успела, в платьице, босиком... Опустилась около отца на колени, с осторожной, робкой лаской коснулась его руки. Было в этом прикосновении столько сокровенного, что Селиванов отвел глаза, сотрясаясь от зависти и от досады на самого себя. «Неужели он и вправду помрет?!» — впервые всерьез подумал он, и незнакомое ощущение крадущегося, шуршащего ужаса обнаружил где-то под сердцем, почти в животе. Он, видевший смерть и творивший ее сам, видно, самую жуть смерти не ухватывал, потому что не знал жалости.

— Пойду, однако...— растерянно пробормотал он, надевая лямки мешка на плечи.

— И ты иди! — сказал офицер дочери. — А я еще посижу. Поди! Поди! Помоги Андриану Никанорычу с продуктами разобраться, да чайком напои, с дороги он...

Несогласная, но послушная, она поднялась и, не говоря ни слова, пошла по тропе впереди Селиванова. Через несколько шагов он заметил, как в беззвучных слезах дрогнули ее плечи.

— Сердце себе не рви, и ему боль не усугубляй! — прошептал Селиванов ей в спину.— Отвлекать его надо от черной думы! Черная дума человека подталкивает, куда ей надо! Понимаешь?

Она кивнула.

— Забытие про болезнь да корень целебный — одна надежда!

— Мама, когда была жива, рассказывала о нем как о неживом. Я привыкла, что он просто был когда-то... И вдруг — он. Словно воскрес ненадолго, чтобы снова уйти... Я не могу!

Она опустилась на мох и заплакала в голос. Селиванову присесть рядом мешал мешок за спиной, он нагнулся, сколько позволяла тяжесть, зашептал горячо:

— Перестань, говорю! Слышь! Щас же перестань! Тебе бог, считай, с того света послал дочерность познать! А сколько после той резни сиротами вечными остались!

Она не принимала его слов, потому что не было в них справедливости для нее, а лишь правда, которую она и так знала, и неизвестно, может, лучше б и не знала...

— Как я жить теперь буду! — крикнула она. И Селиванов не нашелся, что ответить, лишь взял ее крепко за плечи и поднял на ноги.

— Услышать может! — шепотом сказал он.

Это подействовало. Она заспешила по тропе, тревожно оглядываясь и вздрагивая от слез.

Опухший от сна Длинный встретил их у зимовья, подозрительно оглядывая.

— Где Николай Александрович?

— Гуляет,— небрежно ответил Селиванов, задевая его мешком в дверях зимовья.

Что еще было тогда? Была еще летняя ночь, когда Николай Александрович рассказывал о себе дочери и Селиванову. Луна успела перекочевать из одного окна в противоположное, фитиль лампы подрезался трижды, и трижды кипятился чай. В эту ночь кашель отпустил больного на отдых, а думалось — на выздоровление.

Рассказывал он о том, как бедствовал в Китае после перехода границы, как странно погиб полковник Бахметьев, как перебрался в Европу и обучился шоферскому делу, как обретал надежду в среде белого воинства, верного своему знамени, как нашел женщину... И об этом рассказал, хотя и не сказал, как потерял ее.

Чувствовал Селиванов, что разговор этот вроде как исповедь, но не совсем, потому что не живет человек без порчи и греха; об том же больной умалчивал и жизнь свою рассказывал, как сам видеть ее хотел и дочке это видение передать. Интересен был Селиванову его рассказ, да непонятен. Хотел он услышать, что есть «белая» правда, рассказ же офицера был про благородство, а про правду все так, будто она — сама собой; и была для Селиванова она — эта из рассказа лишь проглядывающая «белая» правда — предпочтительней правды «красной» лишь тем, что никак не касалась его самого, на жизнь не замахивалась, пролетала гордым словом где-то много выше его головы, оставляя Селиванову право на его правду «третью». И той недоброй жалостью, какой жалел всех, в землю полегших за правду «красную», той самой пожалел он за «белую» правду полегших мужиков; и папаню своего вспомнил благодарно за то, что сберег сына от чужих страстей; и о себе подумал с достоинством, что не положил себя угольком в чужой костер. Еще подумал о том, что если бы весь российский мужик сообразил так же, как он, кто бы тогда с кем дрался? Ведь красные и белые молотили друг друга мужиком, а если бы он своей правде верен остался, что тогда было бы?

И, улучив момент, спросил осторожно:

— Вот когда б мужики не пошли ни за красных, ни за белых, чем бы тогда все дело кончилось?

Офицер посмотрел удивленно, лицо помрачнело. Не сразу ответил:

— Пустое спрашиваешь. Те, кого ты называешь мужиками, народ то есть, он не сам по себе...

Селиванов торопливо перебил:

— А я вот сам по себе, и папаня мой был...

Тот с досадой махнул рукой.

— Случайность. Глушь. Если белым не помогал, значит, помогал красным. Невмешательство — тоже помощь!

Селиванов хотел возразить, но опередила Людмила.

— Но, папа, они тоже говорят — «кто не с нами, тот против нас!»

— И они правы! Кто не с ними, тот против них!

Она с сомнением покачала головой.

— Меня как дочь офицера (мы с мамой не скрывали) в институт не приняли. Работу нашла по знакомству только... Но разве я против них?

Будто сама себе вопрос задавала. Селиванов радостно встрепенулся!

— Я ж то самое говорю! Это о н и против! А мы сами по себе!

Отец отвечал дочери, на реплику Селиванова не обратив внимания:
— Ты комсомолка? Нет! Ты веришь в их собачий коммунизм? Нет! Не веришь ведь?
— Не верю! Они злые! Они друг другу не верят! Но...
— Вот и все! И больше ничего не нужно говорить! Главное, чтоб им не верили! Хотя...
Луна в этот момент появилась в другом оконце, и желтый свет упал на его лицо, загороженное от лампы подушкой.
— Хотя неверием долго жить нельзя. Совсем нельзя! Но люди хотят жить и потому способны поверить в нелепое. Я проехал всю Россию... Это страшно и безысходно...
— А я все равно сам по себе! — упрямо вставил Селиванов.
— Если бы так, мне помогать не стал бы!
Селиванов ткнул пальцем туда, где спал Длинный.
— Ему не стал бы! Я хорошему человеку помогаю.
— Нет хороших людей! — резко возразил офицер.— Есть правые и неправые!
— А он какой? — Селиванов снова ткнул пальцем туда же.
Офицер явно смутился.
— Борьба ожесточает... Идеалисты погибают первыми...
Это был не ответ, и Селиванов самодовольно хмыкнул. Но весь этот разговор был ему нужен, он укрепил его в своей вере и правде. Не только отдельных людей, но и все в жизни привык он представлять для собственной ясности в образах тайги, как бы переводя жизненную многоголосицу на язык ему понятный и доступный. Власть, что царила там, везде за пределами тайги, он представлял себе в образе разъяренного кабана, не только четырьмя свинячьими копытами приросшего к земле, но и всей своей неуклюжей плотью. Опасный зверь, нет слов! Но разве нет на него сноровки да смекалки!
А вот «белую» правду, как она рисовалась со слов офицера, Селиванов видел этаким козлом таежным, с мощными рогами на голове, парящим в вычурном, затяжном прыжке, или склонившим голову в боевой готовности всеми выкрутасами рогов навстречу противнику. Но в высоком прыжке наиболее уязвим он для пули, а рога больно хитро закручены, чтобы быть надежным оружием. Кабан порвал козла! А в кабаньем царстве кем нужно быть, чтоб выжить? Понятное дело, росомахой! Пакостный зверек, не без подлости. Но Селиванов себя со зверем не путал...
Полная, как диск, луна выставилась в оконце зимовья, и от ее навязчивого присутствия всем стало не по себе. Но никто не решился завесить окно или хоть вслух заметить это, будто боялись признать дурной знак. А так и было...
С той ночи, назавтра и после, все стало быстро и неуклонно свертываться к концу. Селиванов еще раз бегал в деревню за продуктами. Светличная ревела, упаковывая мешок. Собаки на базе вели себя беспокойно. Селиванов держал их на привязи, чтоб не путались под ногами.
Людмила, глядя на тающего отца, сама таяла: осунулась, поблекла, глаза сухо блестели. Угрюмее с каждым днем становился Длинный. А дни стояли солнечные, тихие, ночи теплые; больному же было зябко и днем, и ночью. Его озноб передавался всем, и Селиванов часто ловил на себе такой взгляд девушки, будто и она, и все вокруг тоже должны скоро умереть. Хуже того, Селиванов сам стал покашливать; прикрывал рот рукой, потом внимательно смотрел на ладонь, не появилась ли кровь, хотя ни в какую свою болезнь не верил.
Больше не было долгих разговоров по вечерам, но успел офицер сказать ту фразу, которую ждал Селиванов: «Дочку не оставь!». Сказал ему один на один, и хотя Селиванов лишь мотнул головой, тот мог умирать спокойно, насколько может человек спокойно умирать.
Когда, наконец, это случилось в середине ночи, собаки вовсе не

завыли, как то должно быть по народному наблюдению. Людмила окаменела около нар, Длинный сутуло стоял у двери. Селиванов все еще не верил, все еще гоношился вокруг и никак не мог найти явное отличие мертвого от живого. Когда и живому подтверждения не нашел, растерялся, беспомощно развел руками и вроде не в силах сообразить был, какое слово требуется сказать в таком случае. Еще что-то совсем незнакомое творилось с его душой, чего вовсе не было, когда умер отец. Если бы кто сказал ему, что это — жалость, он возмутился бы. Но душа его исходила томлением, было ей так нехорошо, почти тошно; и ничего не оставалось Селиванову, как удивляться самому себе.
По рассвету он начал делать гроб из старого запаса досок. Шуметь старался как можно меньше, чуть ли не после каждого удара молотком пугливо оглядываясь в сторону зимовья, словно кто-то мог появиться и устыдить его.
Самым страшным было то, что вокруг будто все смолкло; наступило молчание, хотя из тайги ушел всего один голос, меньше даже — кашель... И это было еще одним нарушением прежних представлений Селиванова, главным образом — о самом себе. Что ему эти люди, случайно оказавшиеся на его тропе? Он жил до них и после них будет жить! Разве не так?
А тайга онемела...

Хоронили к вечеру. Неживая бледность появилась на лице Людмилы. Она делала все молча, не глядя ни на кого и, казалось, никого не замечая. Над могилой, которую Селиванов аккуратно обложил зеленым дерном, Длинный произнес речь, не нужную никому, кроме него самого. В тех словах было о борьбе и о чести. Пальнули из пистолета и ружья. Потом уже больше нечего было делать. Людмила сказала, что хочет побыть одна. Селиванов думал схорониться на всякий случай в кустах, мало ли что от отчаяния девке могло в ум прийти, но Длинный повел его к зимовью для разговора.
— Будешь работать со мной.
— Чего работать? — не понял Селиванов.
— Не прикидывайся и про шуточки свои забудь! — угрожающе ответил тот.— Придет от меня человек если, сделаешь, как скажет!
— Какой человек? — передергиваясь ознобом, снова спросил Селиванов.
— Ты дурака не валяй! — еще злее ответил Длинный.— Я тебя из-под земли достану, если что!
Селиванов понял, что самое лучшее — соглашаться. Но не тот он человек, кого повязать можно, кого холуем сделать! Зелен парень! Был бы умен, попросил помощи али совета; может, и не отказал бы. Селиванов прятал глаза, чтобы мысли не выдать, испуг изобразил, как умел, весь искривился в притворном холопстве.
— Ее,— Длинный кивнул в сторону могилы,— определю в новое место. Через нее будем связь держать. Племянницей твоей будет.
Селиванов напрягся, как перед очень нужным выстрелом. «И девку с собой повязать хочет... Он дурак! Скоро влипнет и девку погубит!»
Еще за минуту до того Селиванов чувствовал себя наследником. Ему, именно ему, поручил отец свою дочь, как бы передал на усыновление. «А теперь эта оглобля отнять хочет ее на прихоть глупости своей... Не бывать!» Решил сперва попробовать по-хорошему:
— Послушай, давай я тебе буду чего хошь делать, а девку-то, может... Ну ее!.. Пущай живет себе...
Тот презрительно взглянул на него.
— Жить! Ее жизнь — месть за отца, продолжение его дела! Для нее другой жизни нет!
— А ты спрашивал?..
— Заткнись! — оборвал его Длинный.

«Погубит! Шлепнуть? — Но понял: не сможет «шлепнуть», что-то действительно повязало его с Длинным, и эту повязку он чувствовал капканом на ногах.— Думать надо! Думать! Девку не отдавать!»

— Сегодня уйду. Подыщу ей место. Жди меня здесь. Смотри!

— А как же! Конечно! Тут будем,— радостно залепетал Селиванов. «Отсрочка! Глуп! Совсем глуп! Ничего в людях не кумекает!»

Когда говорили втроем о том же, Людмила слушала равнодушно, то ли не понимая, о чем говорят, либо ей действительно была безразлична ее дальнейшая судьба. Селиванов будто нечаянными репликами пытался объяснить ей, чего хочет Длинный, но безуспешно. Она была согласна на все. Длинный ее молчание принял как должное. Он вошел в роль главного, а может быть, он таковым и был. Но только не для Селиванова.

Ушел вечером. Но разговор, на который Селиванов надеялся, оставшись наедине с Людмилой, не получился. Она была как во сне, ничего не слышала, не понимала, сидела неподвижно на нарах, отказывалась от еды. В конце концов Селиванов насильно заставил ее поесть и уложил. Сам лечь на место умершего не решился, устроился на чурке у столика, голову положив на руки, но тоже не мог уснуть, как бывало с ним всегда, когда предстояло наутро действовать рискованно и ответственно.

Утром объявил без всяких разъяснений:

— Уходим сегодня! Собираться надо.

Она сначала никак не приняла это, но, кинув взгляд на пустые, аккуратно накрытые одеялом нары, где всего сутки назад лежал ее отец, встрепенулась испуганно и выскочила из зимовья. Селиванов нагнал ее уже около могилы. Она упала на нее и впервые, наконец, дала волю слезам. И Селиванов облегченно вздохнул. Он отступил за деревья, сел на мох и приготовился ждать.

Спустя час обессиленную, с перепачканным землей и слезами лицом, поднял ее решительно и привел к зимовью. Заставил умыться, собраться и поесть перед дорогой.

Собаки подняли скандал. Оставаться без хозяина, но с людьми — такое они еще могли принять. Когда же выяснилось, что хозяин уходит и оставляет их одних, они, взметнувшись на задние лапы и задыхаясь в ошейниках, завыли на всю тайгу жалобно и пронзительно. Селиванов, замахнувшись, цыкнул:

— Сидеть, стервы! Сегодня приду! Сказал, приду!

Вой перешел в скулеж, который и сопровождал их по тропе до первого крупного поворота.

С главной тропы, однако, Селиванов скоро свернул; пройдя с километр по камням и завалам, он вывел Людмилу на маленькую, еле заметную — скорее звериную, чем человечью,— тропу, что на камнях вовсе терялась, а в высокой траве была почти не видна. Он не хотел рисковать. Вдруг Длинный вздумает сразу вернуться... Людмила выдохлась на третьей версте, потом было еще три или четыре привала. Селиванов не торопил. Почти к вечеру вышли они на Рябиновку, но и тут некоторое время пробирались по зарослям, чтобы подойти к дому егеря, как объяснил Селиванов, с подветренной стороны, чтоб ни одна живая душа не увидела их.

Оставив девушку в кустах, озираясь по сторонам и согнувшись, Селиванов шмыгнул в калитку и досадливо поморщился: Иван был дома.

— Явился, бродяга! — встретил его хозяин.

Селиванов, даже не здороваясь, без всякой подготовки выпалил:

— Дело есть, Ваня!

Тревожно было оставлять Людмилу одну.

— Натворил чего-нибудь? — подозрительно покосился егерь.

— С человеком беда, Ваня, с хорошим человеком! Помочь надо!

Рябинин смотрел на него еще подозрительнее.

— Можно, приведу?.. Потом все растолкую... Помочь надо! Я щас!

Вдруг ему представилось, что Людмила не останется на месте, уйдет куда-нибудь... Бегом вылетел он за калитку, кинулся в кусты и, обнаружив ее, вздохнул облегченно.

— Ну, все в порядке! Идем!

Рябинин настороженно стоял посередине прихожей. С удовольствием наблюдал Селиванов, как расширялись глаза егеря, как забегали руки по рубахе, выпущенной поверх брюк, как давился Иван языком, пытаясь ответить что-то на тихое Людмилино «Здравствуйте!». Он суетился по дому, растерянный, беспомощный, безъязычный, пока не взмолился наконец взглядом к Селиванову: чего с ней делать-то, мол?!

— Ну, ты чо, Ваня, мечешься? — снисходительно, с отеческим укором сказал Селиванов.— Человека покормить надо, пятнадцать верст отмахали!

Хотя и не в себе была Людмила, и устала с дороги, но жалко ей стало этого вдруг ссутулившегося длиннорукого верзилу. И когда в очередной раз загремела у него под рукой посуда, она встала и предложила свою помощь. Он молча уступил место у плиты и жалобно взирал на Селиванова. Еще в тот момент, когда секундой оказались они рядом: она — ниточка серебряная и он — моток пряжи грубой, у Селиванова мелькнула мысль, что, дескать, интересный получиться бы мог узор, если серебряной ниточкой да по сукну... Но это была не мысль, а так, баловство... Длинный рядом с ней куда лучше смотрится!

Вспомнил про Длинного, и засосало под ложечкой. «А может, плюнуть на все, смотаться на Гологор или еще куда, пусть Длинный с егерем стакнутся!». Но знал — не выдюжит Иван против того, уступит, да и прав не уступать не имеет. И от сознания, что он, Селиванов Андриан Никанорыч, единственно может развязать этот колючий узелок, такой к себе почтительностью преисполнился, что даже прикрикивать стал на егеря: не гоношись, мол, попусту, если в своем доме — не хозяин, отыдь в сторонку, а мы уж сами...

Иван взглянул на него недобро и стал листвяком согбенным посередине избы. Селиванов подмигнул ему, и они вышли. На ступеньке крыльца Иван по-песьи взглянул другу в лицо. Очень хотелось покуражиться Селиванову, да времени не было — предстояло еще возвращаться на Чехардак, сегодня же.

— Значит, чего — сирота она. Отца ее я схоронил на Чехардаке вчера. Деваться ей некуда. У меня, сам знаешь, каков дом. Так что, Ваня, пущай у тебя побудет малость, а там придумаем...

Сказанного, конечно, мало было для ясности, и Иван попытался расспросить, как, дескать, на Чехардак попали и прочее, но Селиванову и некогда было, и лень. Да и лучше, если сама скажет, что нужным найдет...

— А мне, Вань, седни назад переть на Чехардак, дельце одно еще не покончил! Так что ты уж девку не обидь!

Рябинин посмотрел на него, как на идиота, поднялся, и они вошли в дом.

— Дверь не закрывайте, пожалуйста! — попросила Людмила, раскрасневшись у плиты. Иван раскрыл все окна, но и на улице еще не спала жара, в доме прохладнее не стало, хотя и зашевелился приятный сквознячок. Селиванов не заметил, когда Иван переодел рубаху и причесался. Побриться не успел, и теперь то и дело досадливо потирал подбородок. Он уже приходил в себя, хотя прямого взгляда на Людмилу избегал.

«А чего? — подумал Селиванов.— Старше он ее всего годов на двенадцать! Не будь она краля, а он — мужик, глядишь, и сварили бы кашу!». Но как подумал об том, так и смешно стало. «Эвон, как она ручкой поводит, и на цыпочки вздымается, и взгляд у нее совсем не

тот, что мужиковскому глазу доступен. Зато об этот взгляд крепко пораниться Иван может».

Вспомнил Селиванов про отцовскую сестру, что жила в Иркутске замужем за мастеровым. Сто лет от нее вестей не было, но где жила, он помнил. Решил поначалу к ней пристроить, а там видно будет. И чем больше глядел он на егеря, тем крепче уверялся, что скорей надо избавлять его от возможной пагубы.

Иван за стол не сел, хотя Людмила просила настойчиво. «И правильно! — подумал Селиванов. — А то бы начал швыркать из ложек!». Сам же вовсю швыркал. Ему чего! Он мужик есть и будет! А девка-то ишь как суп с края ложки пьет, не толкает в пасть по саму рукоять. Если он так сосать будет, к утру не нажрется! Ох, и хлеба кусочек под ложечкой держит, а он уже и скатерть заляпал, и штаны!

Обтер Селиванов рукавом рубахи рот, брюки, крякнул и поднялся.

— Хорошо, однако! Шибко нельзя! Тяжело идти...

— Может быть, не нужно идти?.. сегодня?..— робко спросила Людмила и с тревогой, понятной только им, взглянула ему в глаза. Своей же тревоге Селиванов волю не давал и ответил так, будто не понял взгляда.

— Собаки у меня ж там! Их на привязи в тайге долго держать нельзя, сбеситься могут!

Иван отвел его в сторону и спросил шепотом:

— Если она здесь... то мне куда уйти?.. Или как?

— Куда уйти! — возмутился Селиванов.— А она одна в доме будет, что ли? Ты чо, Ваня?

Иван замялся.

— Не по-людски как-то... Одна с мужиком в доме...

— Вот то-то, что с мужиком. Это можно. Был бы офицер, тогда другое дело!

Иван понял, обиделся, но не подал виду. Селиванов обиделся тоже. Ведь егерь его на много ль моложе, а ему, Селиванову, и в голову не пришло б увидеть в себе неудобство для молодой девки, да еще из барышень. Медведь же этот вообразил, что она его за что-то другое принять может...

Прощаясь с Людмилой, шепнул ей:

— Ты, того, растолкуй ему... Ну, чего захочешь...

— Когда вернетесь?

Он развел руками.

— Пожалуйста, не ссорьтесь там... Мне ведь все равно куда... Может быть, он прав, мне надо с ним...

Вот этого ее равнодушия Селиванов боялся больше всего.

— Тебе жить надо!

— Для чего?

— Детей чтоб рожать! — зло сказал он. Людмила не смутилась и не возразила. Только чуть коснулась его руки:

— Я вам благодарна за все! Пожалуйста, постарайтесь по-хорошему...

Ночь прихватила Селиванова версты за три до зимовья, и хоть был он чужд всякой мистики, ночная тайга была для него явлением таинственным. Не то чтобы верил он, а скорее воображал, что ночь есть освобождение всего живого и неживого от бытия, которое по сути — вынуждение и обязанность. Деревья, камни, трава, звери и даже люди — пока живут, все время чего-то им надобно и что-то сами они должны. И если б не было ночи, разве хватило бы сил человеку идти, дереву стоять, камню лежать?! Но она приходит, и, становясь невидимым, все живое и неживое растворяется в спокойное, темное марево, где нет напряженности в различиях и соперничестве. Это состояние есть тайна для глаз. Потому, если идет человек ночью по тропе и глаза его что-то различают, вынуждены деревья, камни и сама тропа приходить в свое дневное обличье, чтоб не столкнулось отдыхающее с бодрствующим.

Когда приходилось идти ночью, Селиванов завидовал и злорадствовал зараз. Завидовал всему, что по сторонам от него пребывало во мраке, а значит, в свободе от своей формы. Зато все, что было доступно его глазу, вынуждено было срочно возвращаться в свое обличье. И Селиванов ехидно шептал в темноту: «Ну, давай, давай, ишь разнежился, а ну кажись!». И впереди смутными очертаниями, как бы нехотя, неторопливо, вырастал пень или камень. Проходя рядом, Селиванов торжествующе говорил: «То-то!». Но было ясно — не успеет он и пяти шагов ступить, пень или камень снова сонно расползутся в черноту и покой. Знал он и другое: нельзя чиркать спичкой, когда идешь ночью по тропе: все спящие, растворившиеся могут не успеть обратиться в себя и спросонок перепутать свои обличья; тогда ветка кедра обернется лапой с когтями, пень — медведем, а тропа свернется в клубок.

Или у костра ночью: кинь в него сухую хвою невзначай — взорвется костер пламенем, и какие только чудовища не замечутся вокруг, как застонет тайга, как вскрикнет все ушедшее из себя, застигнутое врасплох в неприличной бесформенности!

А еще бывает! Когда новолунье: тоненький серп висит над гривой — не навязывается на глаза, не затемняет звезды. И в другой половине неба они так ярки, что получается: будто человек и звезды только в своем образе среди мрака и теней. И не то чтобы звезды ближе были, но небо само и есть то место, где живет человек вместе с землей и со всем, что на ней и вокруг нее. И букашка вроде бы, и сын неба!

Сын неба и земли, шел Селиванов ночной тропой к зимовью на таежном участке, прозванном Чехардаком за то, что, если с главной гривы смотреть на таежные сопки внизу, похожи они на пьяных мужиков, прыгающих друг через друга в дурацкой забаве — чехарде.

Селиванов шел и вслушивался в ночь и скоро услышал, чего ждал: на базе осатанело выли привязанные собаки. Выли как по покойнику, но на самом деле от страха перед ночной жутью и от обиды на хозяина. А когда тот ворчливо отвязывал их, зашлись в таком скулеже восторга, что даже по пинку получили. Радость их, однако, не убавилась. И не прибавилась, когда хозяин кормил их, потому что не хлебом единым живы собаки...

Сам заварил чайку в котелке, попил без ничего, посидел у печурки и лег на нары не раздеваясь, ружье к стенке положив, под рукой чтобы...

Расслабился Селиванов. Следовало бы ему встать пораньше. Но получилось так, что, услышав лай, вскакивать с нар не решился: сонная рожа могла сойти за испуганную, а в сумерках зимовья и настоящий испуг скрыть можно. Про себя же успел подумать, что деловой этот Длинный, за сутки обернулся. Спешил парень, да опоздал!

Расперев руками, ногами и головой дверной проем, Длинный гаркнул с баловством в голосе:

— Подъем!

Селиванов неторопливо поднял голову, приподнялся, сел, притворно протирая глаза. С порога Длинный шагнул прямо к нарам Людмилы, присмотрелся, потом спросил:

— Где она?

— Как где,— ахнул Селиванов удивленно.— Она ж с тобой ушла!

— Что?! — прохрипел тот.

— Да сразу же, как ты пошел, она сказала, что с тобой пойдет, и побежала вдогонку! Разве не догнала?

Голос Селиванова дрожал искренним недоумением.

— Этого только не хватало! — Длинный опустился на нары.— А ты чего?! Почему не остановил?
— Да как же! Говорил! Не стала слушать!
— С ней надо было идти, дурак!
— Так ты ж велел тут ждать!
И здесь Селиванов промахнулся: почувствовал себя победителем и в голосе того не скрыл. Длинный поднялся, подошел к нему, заграбастал в кулак рубаху так, что у того горло перехватило, подтянул с нар к себе.
— Врешь!!
— Да что ты! — прохрипел Селиванов.
Тот хотел видеть его глаза, но в зимовье было сумеречно. Рывком сдернул Селиванова с нар и поволок к выходу. Селиванов зашелся в визге, пытался рукой нащупать ружье, но не дотянулся. Пинком под зад Длинный швырнул его через порог, не выпуская рубахи, тряхнул, поставил на ноги, удавьим взглядом впился в Селивановы глаза.
— Врешь, скотина! По роже твоей вижу — врешь! Шуточками занялся? — Он все еще надеялся, что Людмила где-то здесь.
— Да говорю ж, за тобой убежала! — уже совсем фальшиво пропищал Селиванов, фальшь свою услышал и затрепетал от страха, но не расслабился. И тот удар, что должен был выбить ему челюсть, пришелся по черепу. Почти потеряв сознание, Селиванов шлепнулся на землю. Даже не боль, а страх и ужас сохранили ему память. Полуслепой от хлынувшей на глаза крови, он вскочил на ноги и со щенячьим визгом кинулся прочь. Но сзади цыганским бичом щелкнул выстрел. Селиванов упал, не понимая, жив он или мертв.
— Встать! — ударил по ушам окрик. Он поднялся на четвереньки. Ему в глаза уставился махонький зрачок револьвера.
— Сюда, скотина!
Селиванов сначала пополз, стряхивая с бровей кровь, потом поднялся и, будто ощупывая руками впереди себя воздух, вздрагивающим шагом стал приближаться к Длинному. Он что-то пришептывал заплетающимся языком. Вблизи зрачок револьвера был таким же крошечным, и в этой крошечности сидело полдюжины смертей. И не только для слабых, но и для самых удачливых, ловких, храбрых. Всех сильнее была эта черная дырочка в железке. Из нее выглядывала преисподняя.
— Сейчас ты мне все расскажешь! — яростно процедил Длинный.
— Расскажу! Расскажу...— залепетал Селиванов, торопливо мотая головой. И вдруг осознал, что действительно сейчас все расскажет и поведет и потеряет... Он не мог вспомнить, что нашел он такого ценного, чего не смел потерять, но было оно едва ли не ценнее самой жизни.
— Расскажу... Расскажу...— еще лепетал он.
Длинный сунул пистолет в карман и шагнул. Не страх перед побоями, не страх перед смертью и даже не страх утраты чего-то, а скорее неспособность выбрать между этими страхами наименьший и отчаяние от своего бессилия швырнули Селиванова под руку Длинному. Тот от неожиданности только дернулся. Но Селиванов уже прошмыгнул у него под рукой и влетел в раскрытую дверь зимовья.
— Ах, сволочь! — взревел Длинный и бросился за ним. У самого порога острый таран чудовищной силы ударил его, и взорванной грудью он рухнул на траву.
Не только жизнь, но и кровь давно покинула тело, а Селиванов все еще стоял за порогом, держа ружье наизготовку. Лежа Длинный казался еще длиннее. Лежал он так, будто вот-вот вскочит. И Селиванов никак не мог решиться перешагнуть порог. Его колотил озноб, он даже руку не мог оторвать от ружья, чтоб смахнуть кровь, залепившую ему правый глаз, и обтереть губы.
На выстрелы примчались собаки. Не подходя близко, они взволнованно топтались в нескольких шагах от Длинного, втягивая в себя запах крови, который, казалось, заполнил всю тайгу.

— Ой-ёй! — простонал Селиванов. Выставив ружье, он одной ногой переступил порог.— Господи!
Приблизясь к лежащему, он стволом пошевелил ногу Длинного. С ружьем наизготовку, обошел его со всех сторон. Он не мог принять случившегося. Ему казалось, что он не хотел, даже не предполагал такого. Сидя на корточках перед мертвым, положив ружье на колени, он покачивал головой. Страх прошел, сменившись апатией. Селиванов бы сел или лег на траву, но ему казалось, что кровь Длинного пропитала всю землю вокруг.
«Правду сказал Иван... Убиец я»,— подумал он.
Наконец отложил в сторону ружье, подполз к Длинному и не без робости, коснувшись его плеча, перевернул на спину.
— Надо ж! — воскликнул он. Лицо Длинного было точно таким, как полчаса назад, когда тот был еще жив.
«Что же это происходит с человеком? — думал Селиванов. — Все остается тем же — лицо, руки, ноги, а человека уже нет, только гильза стреляная. Неживой человек — уже не человек, ежели в нем жизни нету! Тогда это что ж получается? Человек и есть жизнь? А жизнь — что она такое, если может быть и не быть? Начаться и кончиться? И куда девается, когда кончается? Ведь — шлеп, и нет жизни! А через день — от человека одна трухлятина! Куда ж уходит все это?»
Он поднял было глаза к небу, но ощутил досаду, такое оно было синее, яркое и само по себе.
«Может, в землю уходит и там накапливается? Может, когда земля трясется, это значит — там много собирается отлетевшего духа человеческого?».
Тут вдруг заныл, засвербил больно рассеченный лоб, и Селиванов вспомнил и о своей ране, и о своей крови, что залила ему все лицо.
— Ну, ты полежи малость,— сказал он Длинному,— опосля что-нибудь сообразим.
И тут же подумал, что могилу придется копать здоровенную, вон какой дылдой вырос! А что толку? В землю, как и всем! Селиванов спустился к ручью, присел на камень и стал мыться. Ручеек был хилый, кровь с лица и рук окрасила воду. Подбежала собака и начала лакать из ручья.
— Кровь мою пьешь, сука! — Селиванов потянулся было за камнем, но передумал.— Пей, хрен с тобой! Чего ей пропадать!
От холодной воды заломило голову.
«Когда болит что,— думал он, шагая к зимовью,— это, надо понимать, жизнь о себе кричит, уходить из человека не хочет. А кому кричит? Себе самой, что ли? Значит, сама о себе беспокоится. Вот беру нож и смолу с дерева сажу на рану, потому что жизнь моя мне так делать велит! Но жизнь — разве не я сам? А шлепнет меня кто-нибудь, я останусь, а жизни во мне не будет. То есть для того, кто меня шлепнет, я еще буду, а для себя — нет! Был бы Бог, тогда всему объяснение простое: отлетела душа к Богу, а гильза ей уж без надобности! А там или ад, или рай, по грехам судя! Не! Ежели б Бог был и рай тоже, зачем тогда людям тут худо жить; все в рай торопились бы! А коли не торопятся, которые попы даже — они ведь тоже не торопятся и живут не без греха,— значит, и для них этот вопросик неясный!»
Селиванов усмехнулся.
«Если б рай был, так как только человек об том узнавал, тут же и пускал бы себе пулю в лоб, чтоб поскорее туда попасть, пока грехов не насовал во все карманы! И жить тогда зачем?..»
Смола раскаленным железом закипела на ране, Селиванов сморщился, задрал голову, зажмурил глаза. Когда открыл, снова взглянул на небо. Оно было все таким же синим и ярким.
«Оно, конечно, какая-то тайна в небе есть! Так в чем ее нет? Все кругом тайна и хитрость, и плутовство; и промеж людей, и промеж

зверей, и промеж камней! Смолу на лоб кладу для чего? Потому что под ей кровь сохнет и дырку закупоривает! А почему? И ежели на этот вопрос какой-нибудь ученый лекарь даст ответ, то на тот ответ все равно вопрос найдется, чтоб ему руками развести! А коли самого последнего ответа все равно никто не знает, так что проку вопросы задавать?! Один пусть на десять вопросов ответ знает, а другой — на сто, но если еще можно сто первый задать и он заткнется, так нешто он мудрец? Вот Бог бы был...»

И тут Селиванов очень тихой мыслью спросил себя, хотел бы он, чтобы Бог был? Почувствовав кощунство в самом вопросе, он даже вслух сказал: «Понятное дело!» Но про себя, однако, и почти без страха, подумал, что не хотел бы он, чтобы Бог был, потому что, если Бога нету, он, Селиванов — какой есть — на жизнь свою не жалуется, удовольствие в ней имеет, а после, когда умрет, не будет у него ничего — ни хорошего, ни плохого. А если, не дай бог, Бог есть, тогда совсем другой меркой обмерится его жизнь. А мерка эта может быть такая, что сидеть ему на том свете вечно по уши в кипящей смоле. А там от мук и подохнуть нельзя, чтобы избавиться!

В поисках смолевого кедра он оказался рядом с могилой офицера. Взглянув на нее, удивился, почему смерть хорошего человека, которому он всей душой хотел жизни, не взбаламутила его так, как та, которую сам сотворил, хоть и против своей воли.

«Поди, совесть растормошилась, ведь как-никак,— а убивать грех!». Селиванову приятно было так подумать, и хотелось еще думать о себе как-нибудь особенно, чтоб было и совестно и гордо. Но деловитость — главная черта его характера — начала выявлять себя. И он уже ничего не мог сказать о себе такого, чтоб со смыслом было. Потому, наконец, он подумал вслух то, что было уже без всякой мудрости, но очевидно вполне:

— Жарко, однако! Скоро вонять начнет! Копать надо...

В рубахе, лишь спереди заправленной под ремень, с засученными рукавами Иван колол дрова. Селиванов, бесшумно подойдя к калитке, некоторое время наблюдал за ним, не решаясь окликнуть. А как Иван колол дрова — Селиванову не понравилось. Уж больно лихо взмахивал он колуном. У Селиванова всегда вызывало неприятное ощущение всякое проявление физической силы, но сейчас дело было не в том. Иван играл полупудовым колуном будто напоказ. И чурки разваливались на все стороны от его рук с какой-то угодливой похотью, как кабацкая шлюха перед купчишкой. Селиванов и сам бы справился с любой из них, но делал бы это хитро, разгадывая тайну дерева, присматриваясь и примеряясь, преодолевая их сопротивление и упрямство. Иван же словно плевать хотел на хитрость; и казалось: он лишь замахивался, а чурка уже ахала и трескалась ради него в самом невозможном сечении...

Селиванов еще бы стоял у калитки, но собаки, отставшие от него в километре от деревни (кота гоняли), ворвались в чуть приоткрытую калитку, промчались у Ивановых ног и унеслись за дом. Селиванов притворился, будто только что подошел, махнул Ивану рукой и, не распахивая калитки, протиснулся во двор.

— Чего это ты? — спросил Иван, увидев его лоб.

— Об сучок, мать его...— отмахнулся Селиванов.— Ну, как вы тут? Она как?

Иван мялся.

— Сегодня лучше. Вчера плохая была...

— Про отца сказала?

Иван кивнул и покосился на дверь.

— Не понял я, кто он был-то?

— Из тех, стало быть,— с намеком ответил Селиванов,— кто нынешней власти в ножки не кланяется!

Иван нахмурился.

— Не наше это дело,— сказал он угрюмо.

— Понятно, что не наше! Завтра увезу ее в Иркутск.

— Слаба она еще...— неуверенно возразил Иван, и опять не понравился Селиванову.

— Посмотрим!

Людмила сидела у окна, что выходило на рябинник. Увидев Селиванова, вся подалась к нему.

— Ну слава богу! Что с вами, вы ранены?!

— С чего ранен-то! По темноте шел, на сучок напоролся!

— А он?..

Селиванов повесил ружье, скинул куртку, вернулся к порогу, протер сапоги и подошел к ней.

— Ты обо всем этом не думай! Вон как тростинка стала. А с ним все в порядке! Договорились! Он сам по себе, мы сами по себе! Уехал в Иркутск. Вместе из тайги выходили.

— Почему же проститься не зашел? — спросила она, вся настораживаясь и бледнея.

— Говорит, дела... Кланяться велел...

Она посмотрела ему в глаза, и Селиванов съежился.

— Вы говорите неправду... Что-то случилось? Да?

Селиванов по-бабьи всплеснул руками.

— Ну чего мне, крест целовать, что ли! Говорю, все в порядке! В Иркутске, сказал, зайдет навестить!

Эта фраза была удачной, она изменила выражение ее лица, и только разбитый селивановский лоб да его глаза, не выдерживающие ее взгляда, мешали ей справиться с тревогой. Молчавший до того Иван вдруг сказал грубо:

— Ну-ка, иди привяжи собак, а то мне весь огород вытопчут!

Селиванов благодарно взглянул на него и поспешно вышел, Иван — за ним.

— О чем речь? — спросил Иван.

Селиванов замялся.

— Да был там еще один...

— Ну?..

— Чего ну? Был да сплыл... Больше нетути! — зло ответил Селиванов.

— Говори толком!

Селиванов потрогал рукой лоб, взглянул на Ивана.

— А может, тебе не все знать надо, Ваня?

— Все равно узнаю!

«Сходит на Чехардак и догадается! Дождем не пахнет... Кровь на траве... Могилы...»

Он вздохнул и сказал виновато:

— Шлепнул я его!

Иван резко схватил его за грудки.

— Ты еще не нацлепался? Да?

— Не хватай! — обозлился Селиванов.— Я тоже жить хочу! Если б не я его, то он меня... Девку он хотел в свое дело взять, а я не дал! Понял?!

— Какую девку?

— Отпусти, говорю! Какую! У тебя что, двадцать девок в доме?

Иван отпустил, недоуменно уставившись под ноги. Селиванов поправил рубаху, высморкался.

— Это мне он вскользь врезал, и то чуть башку не расколотил. Тебе револьвер к морде не подставляли? А? Ну так нечего за грудки хватать! А то ишь какой справедливый! Тот тоже меня хватал, да отхватался!

Селиванов пошел в дом. Иван за ним. Их долгое отсутствие и нахмуренные лица снова насторожили Людмилу. И пока Селиванов умывался, ел, пил чай, она смотрела на него молча и выжидающе.

— Завтра в Иркутск поедем,— сказал Селиванов. Она не ответила. Ей было все равно, где быть и куда ехать.

— Нешто в городе поправишься! — пробурчал Иван.

Потом они с Иваном перекинулись фразами о том о сем, и когда уже Селиванов совсем было успокоился, Людмила подошла к нему вплотную, так что он вынужден был подняться с табуретки, и потребовала тихо, но решительно:

— Расскажите мне все!

— Ну вот! — ахнул Селиванов.— По новой бабка пошла курей считать. Я ж говорил...

Но под ее взглядом голос его перешел на невнятное мычание, он замолчал, облизывая губы, умоляюще глядя на Ивана. Тот сидел в стороне, не подымая глаз. Селиванов беспомощно плюхнулся на табуретку.

— Он жив? — спросила Людмила.

Тут бы и подхватить, раз она еще надеется, да сочинить чего-нибудь, но в мозгах — студень бараний.

— Да говорите же!

— Не рви душу человеку, коли врать не умеешь,— угрюмо сказал Иван. Людмила быстро обернулась к нему, испугом зашлось ее лицо.

— Шлепнул он его! — ответил Иван на ее молящий взгляд.

— Как... шлепнул?!

— У тебя что, язык отняло?! — взревел Иван.— Я за тебя говорить не обязан!

— Ну, это...— виновато заспешил Селиванов.— Бить он меня начал, с револьвера стрелял... он в меня, а я в его... ну и... того...

Она как-то странно кивнула головой и отошла к окну.

Он подбежал к ней.

— Погибла б ты с ним! Ни за что ни про что! А какое его дело и правда его какая, про то ни ты, ни я не соображаем! А тебе жить надо!

— Вы тоже недобрый...— проговорила она так тихо, что Иван не услышал.

— О том после судить будем! — Селиванов отошел, надел куртку, кинул на голову картуз.

— Дела у меня... к вечеру приду...

Хлопнув обеими дверьми, плюнув на заскуливших собак и пнув ногой калитку, направился он куда глаза глядят, поперек чащи рябиновой. Но скоро понял куда: к тетке Светличной.

— Андриян Никанорыч! — всплеснула руками Светличная.— Господи! Ну как там?

— Самогон у тя есть?

— Скончa-а-ался! — простонала она.

— Глотка горит! Есть али нет, говори! А то в магазин пойду!

Всхлипнув, она провела его в горницу. Селиванов протопал через кухню и сел за стол, покрытый вышитой скатертью.

— Отмучился, значит! — вздохнула Светличная.

— Кто отмучился, а кто нет!

— Крест-то хоть поставили на могилке?

Селиванов махнул рукой. Отстань, дескать! Она фартуком вытерла глаза, подошла к массивному буфету и вытащила двухлитровую бутыль. Принесла картошки вареной, огурцов соленых, луку. Поставила хлеб, стаканы.

— Помянем!

— Царствие ему то самое! — буркнул Селиванов и выпил не поморщась. Она тоже выпила четверть стакана. Потом они молча жевали огурцы.

— Лоб-то чем?..

Он отмахнулся.

— Сиротку куды девал?

— Пристроил...

Он налил себе еще, выпил и понял, что бесполезно: сколько ни пей, душе легче не станет...

— А что если девку за Ивана Рябинина отдать? А?

Пришла же в голову глупость! Он ожидал, что Светличная замашет руками, возмутится,— он даже хотел этого. Но она сказала по-другому.

— Ежели полюбятся, так чего ж! Он мужик надежный!

— Да нешто она за мужика пойдет! Благородиева дочка! Ты — того...

Обидно стало до слез. Он резко отставил бутылку.

— Хреновый у тебя самогон!

— Давешний,— охотно согласилась Светличная.

— Муж-то у тебя хохол был, что ли?

— Хохол,— вздохнула она.

— Не люблю хохлов! — задирался Селиванов.

— Всякие бывают...

— За меня пойдешь? — спросил, будто между прочим.

Она покачала головой.

— А чего? Еще и детей будем иметь!

Она потупилась.

— Бесплодная я... Оттого и муженек ушел...

— Пошто ж так! — сочувственно сказал Селиванов, не скрывая разочарования.

— Бог знает...

Он схватил бутыль, налил по стаканам. Выпили и снова молча жевали картошку с огурцами.

— Вот ты мне скажи: человеку добро делаешь, а он тебя недобрым обзывает, почему так? А?

Она склонила голову набок и, покачиваясь, тоненьким голоском тихо затянула песню:

Не пойду сегодня в церковь,
Будут милого венчать...
Я не выдержу, заплачу,
Будут люди замечать...

— Нет, вот ты скажи: человеку добро сделал, смерти в рыло глядел, а он тебе говорит: недобрый, дескать...

Зазвенели колоколы,
Мил с другой венчается!
Ой, подружки вы, подружки!
Жизнь моя кончается!

— А другой и ухом не повел, а в добрые попал! Это как, а?

— Обидел тебя кто?

— Кто меня обидел, тот... увидел! Чего с тобой толковать!

Он навалился грудью на стол и то ли песню замычал какую-то, то ли просто заскулил по-пьяному. Так и заснул за столом. И когда Светличная волокла его на кровать, сапоги стаскивала и на бок заваливала, даже голосу не подал. Сама она залезла на печь, задернула занавеску и долго в темноте плакала...

(Окончание следует)



НИКОЛАЙ ОБОЛОНСКИЙ

ОКЛИКАЮ ЗАРЕЙ

Формовщица

Затеряться с тобою бы в поле,
Где закатное солнце горит...
Но играешь ведущие роли
На формовке строительных плит.

И высоких сапог голенища
Отражают раздробленный свет,
Крановщик по-разбойному свищет,
Что-то стропальщик вторит в ответ.

Наблюдаю я с зыбкой вершины,
Как, со сползшим на плечи платком,
Полировочной водишь машиной,
Будто борешься с диким быком.

Серебрясь мелким бисером, с шеи
Пот стекает в ложбинку грудей.
Распрямляешься, вмиг хорошея
На виду огрубевших людей.

Я певец обмелевших селений,
Очутившийся в новом строю,
Словно крошево белой сирени —
Шланг с водою тебе подаю.

Напугаю струей понарошке.
Я с тобою почти незнаком.
Подставляй, нагибаясь, ладоши
С подступившим у горла комком.

Истопник

Среди запахов старых и стойких,
Где не встретишь такой уголок,
Еще дышит у ног новостройки
Похилившийся набок домок.
Дождь струится по крыше пологой.
Сад купается в сизом дыму.
И КамАЗы, испортив дорогу,
Жутко жмутся вплотную к нему.
...В котловане огромном и мутном
Ветер битумом жарко дохнул.
Вышел дед, точно лунь, и как будто
В преисподнюю бог заглянул.

Что мне кущи стерильного рая
По ту сторону жизненных сил?
И в огонь рубероид бросая,
Еще пуще я небо коптил.
Скоро мне, разрываясь на части,
Разливать маслянистую грязь.
А о чем ты печалишься, старче,
Над землею вот-вот вознесясь?
Я от копоти черен, как ворон.
Борода — как мазутный настил.
И на всякий пожарный проворно
Меня знаменьем дед осенил.

Наездник

Родина детства... Я бос и храбрец,
И подо мной, словно бес, жеребец.
Издалека, размывая века,
Катится жизни суровой река.
И уговоры на строгость сменя,
Прямо в нее направляю коня.
Вырвана с корнем копытом трава.

Мать на крыльце ни жива
ни мертва.
Что закололо под левым соском?
Разве я ахнусь о камень виском?
Это позднее,
как соколом стать,
Палки мне будут в колеса совать.

Возвращение

Ехал, познав жизнь с изнанки,
Сунув под лавку мешок.
Я на степном полустанке
С поезда робко сошел.

Словно повтор сновидений.
Видеть живьем довелось
Красные крыши селений,
Райское пастбище коз.

И заскулил по-щенячьи,
Шапку содрал с головы.
Гладит рукою незрячей
Темную зелень травы.

Низко опущены плечи.
И телогрейка мала.
Трудной, видать, человече,
К дому дорога была.

3 октября

К Есенину иду. Курится дым.
Протяжный лет гусей коснулся
слуха.
Еще торгует именем твоим,
Вся высохнув, московская старуха.
Покроя старомодного жакет.
Сплошная цепь житейской невезухи.
И торопливо, будто в рай билет,
Хрустящий рубль сую
в карман старухи.

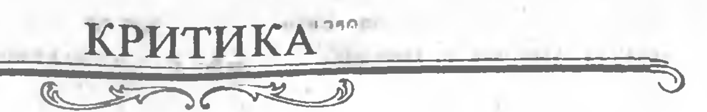
Конечно, мало: не миллионер
И не служитель городского морга.
Зато от всей души. Толпе — пример,
Оберегаемой порядком зорко.
Как по реке весной плывущий стог,
Поэт, пришедший мир пытать
любовью...
Лежит в земле ногами на восток,
Кленовый лист струится
к изголовью.

Табунщик

Киму Гунажокову

Как пускал ты в ночное колхозных коней!
Мне казалось, дул ветер в три раза сильней.
Ты коня посылал в сумасшедший галоп,
Открывался загаром не тронутый лоб.
Перехваченный в талии узким ремнем,
Пролетал мимо девок, сливаясь с конем.
Ну а если бывал оглушительно пьян,
Просыпался в тебе безоглядный буян.
И где старший бухгалтер отгрохал дворец,
Матюжину вгонял ты под каждый венец.
Чтоб тебя не увечить: «Чай, свой, не с руки».
Пеленали веревкой тебя мужики...
Возвращаясь с базара домой в темноте,
В кепку сыпал гостинцы ты мне, сироте.
Словно русскую песню про удаль, про степь,
Потерял я тебя на железной версте.
«Где ты ныне, казак?» — окликаю зарей,
Только облачко пыли стоит над землей.
Где водою плескал на лошажьи бока —
Высох пруд и под землю ушли облака...
Но горячую память о прошлом храня,
Завербуюсь на Север — собрать на коня.
И однажды, не выказав на сердце грусть,
Здесь, мерцая металлом во рту, объявлюсь.
Самым смелым при полной, как тыква, луне
Дам не раз прокатиться на белом коне.
Будет сердце мое биться глуше, ровней,
Как во чреве горы умирающий змей.
А когда грянет оземь скакун за бугром,
Я хочу, чтоб убил меня во поле гром.





СЛОВО О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Редакция начинает публиковать прозу Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА, способствуя тем самым духовному возвращению писателя на родину. Почитатели его таланта, а их, несмотря на запреты и гонения, немало, давно готовили общественное мнение к неизбежному воссоединению художника и его народа, восстанавливая таким образом и справедливость, и истинный облик человека, долгие годы извращаемый официальной идеологией. И справедливость, можно сказать, восторжествовала. Теперь нам предстоит внимательно вглядеться в творчество писателя, вдуматься в его понимание нашей недавней истории, оценить многолетние исследования трагедии народа. Все это лучше каких-либо комментариев объяснит нам истинный духовный мир писателя-подвижника. К этому стремится и редакция.

Мы решили опубликовать выдержки из стенограммы вечера, посвященного 70-летию А. И. Солженицына, проведенного в Москве в декабре 1988 г. в клубе фабрики им. Баумана.

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

Надо сказать, что в России к моменту ее сокрушения, к тому моменту, когда началось подрубание ее корней, кромсание ствола и обламывание кроны, к этому моменту верхний слой российского крестьянства начал активно и плодотворно прорастать побегами в вышенаходящийся слой российской культуры, российской интеллигенции. Есенин, Клюев, Шаляпин, Корин, Соколов-Микитов — не единственные примеры. В сущности, крестьянами, земледельцами, но уже и интеллигентами были и родители Александра Исаевича Солженицына. И он, родившись в 1918 году, отнюдь не благодаря советской власти, а скорее, вопреки ей, стал тем, кто он есть. Да, гены верхнего крестьянского слоя пришли в движение и начали прорастать в культурный слой народа. О возможных результатах этого процесса сейчас остается только гадать. Как известно, весь этот верхний слой крестьянства в количестве 15 миллионов человек и был сознательно срезан в 1929 году и выброшен в безлюдные тундры на мученье и гибель. Да и то, кого ни возьми теперь из наиболее одаренных, возьми да, как говорится, поскреби — сразу и увидишь, что все они из случайно уцелевших: Павел Васильев, Борис Корнилов, Андрей Платонов, Твардовский, Фатьянов, Луконин, Федор Абрамов, Астафьев, Алексеев, Распутин, Яшин, Белов, Крупин... Если же всерьез заняться изысканиями и статистикой, то набрали бы десятки имен не только в литературе, но и в смежных искусствах и в науке. Но, конечно, тех, кто случайно уцелел, а не тех, кто сознательно и злоумышленно был погублен. Тех имен мы не узнаем уже никогда. Может быть, и можно потом восстановить храмы и дворцы, вырастить леса, очистить реки, можно не пожалеть даже об опустошенных, выеденных недрах, но невозможно восстановить разрушенный генетический фонд народа, который только еще приходил в движение, только еще начинал раскрывать свои резервы, только еще расцветал. Никто и никогда не вернет народу его уничтоженного генетического фонда, ушедшего с хлюпающей грязью в поспешно вырытые рвы, куда положили десятки миллионов лучших, по выбору, по генетическому именно отбору, россиян. Чем больше будет проходить времени, тем больше будут сказываться на отечественной культуре зияющие бреши, эти перерубленные национальные корни, тем сильнее будет зарастать и захламляться отечественная нива чуждыми растениями, мелкотравчатой шушерой, вместо поднебесных гигантов, о возможном росте и характере которых мы теперь не можем и гадать, потому что они не прорастут и не вырастут никогда. Они погублены даже не в зародышах, а в поколениях, которые бы еще только предшествовали, но вот — не будут предшествовать, ибо убиты, расстреляны, уморены голодом, холодом, закопаны в землю. Гены уходят в землю и через два-три десятилетия не рождаются новые Толстые, Мусоргские, Пушкины, Гоголи, Тургеневы, Аксаковы, Крыловы, Тютчевы, Феты, Пироговы, Некрасовы, Бородины, Римские-Корсаковы, Гумилевы, Цветаевы, Рахманиновы, Неждановы, Вернадские, Суриковы, Третьяковы, Нахимовы, Яблочкины, Тимирязевы, Докучаевы, Поленовы, Лобачевские, Станиславские, Блоки, Есенины, Шаляпины и десятки и сотни подобных. Списки можете продолжать сами. Простое порабощение лишает народ цветения, полнокровного роста и духовной жизни в настоящее время. Геноцид, особенно

такой тотальный, который проводили в течение целых десятилетий в России, лишает народ цветения, полнокровной жизни и духовного роста в будущем, а особенно в отдаленном будущем. Генетический урон невосполним, и это есть самое печальное последствие предыдущих десятилетий. Тем большим и удивительным чудом явился миру сын российской культуры, сын отечества и народа, Александр Солженицын, 70-летие которого мы собрались здесь отметить. Однажды в Париже я случайно оказался на лекции русского профессора, эмигранта, литературоведа. Он говорил не самые, так сказать, просоветские вещи, даже наоборот. Можно было его и не слушать, но кое в чем сермяга, как говорится, там была. Он говорил, что сами руководители государства писать поэм, художественных полотен, романов и симфоний не умеют, да им и некогда. Поэтому государство вынуждено выращивать целую армию поэтов, писателей, художников. Просчет состоит в том, что, когда среди выращиваемых попадаются люди с настоящим талантом, они начинают служить не государству, а русской литературе и отечеству. Тогда государство должно время от времени производить прополку своего огорода. Разница в том,— это он так говорит, я цитирую,— разница в том, что в настоящем огороде настоящий хозяин-огородник выдергивает и выбрасывает сорные, негодные растения, пустоцвет, а у нас на протяжении предыдущих поколений — разных, там деспотических, волюнтаристских, застойных периодов — выдергивались из огорода самые ценные, самые яркие, самые плодоносные растения.

Так-то был выдернут из родной почвы и выброшен за пределы нашего российского огорода Александр Исаевич Солженицын. Но что можно сделать с явлением культуры истинным и громадным? Ничего. Пытались затравить и затоптать — и затравили Сергея Есенина. Но где теперь его травители? Где все эти Жаровы, Безыменские, Лелевичи, Авербахи и Бухарины? Есенин пребывает в сердце народа как великий русский поэт. Пытались затоптать Михаила Афанасьевича Булгакова. У Маяковского читаем в стенограмме в собрании сочинений: «Мы не можем (я цитирую) запретить МХАТу ставить «Дни Турбиных», но мы можем посылать на спектакль каждый день двести комсомольцев, чтобы они освистывали этот спектакль». И есть у него в пьесе «Клоп» знаменательный эпизод. Там, как известно, в 25-м году ученые-химики усыпили Присыпкина, чтобы разбудить через 50 лет, в светлом будущем. Разбудили его, по пьесе, в 1975 году (в светлом будущем) — он произносит непонятные слова, и профессор, разбудивший его, то и дело бегает, заглядывает в словарь, потому что произносимых Присыпкиным слов нет в лексиконе 75-го года. Какие же это слова? Бюрократ, бублик — ну, бубликов сейчас, правда, маловато — и Булгаков. Маяковский считал, что к 75-му году надо будет заглядывать в словарь, чтобы вспомнить, кто такой Булгаков. У меня нет статистических данных, но я думаю, что в библиотеках, в магазинах потребность на Булгакова сейчас больше, чем на Маяковского. Вот такой просчет получился...

Пытались затоптать и Александра Исаевича. Но недаром же — может, и факт, и на анекдот смахивает, будто в какой-то западной энциклопедии, там, в Англии, издающейся, написано на букву «Б» — «Брежнев — мелкий политический деятель в эпоху Солженицына».

Александр Исаевич — не только писатель, не только бескомпромиссный патриот, не только боец и рыцарь без страха и упрека, но еще и просто достойнейший человек. Разве он не продемонстрировал своего достоинства в известном эпизоде с президентом Соединенных Штатов Америки? Могу напомнить: Рейган пригласил его, чтобы позавтракать в Белом Доме. Солженицын согласился. Но в это время лоббисты, бегающие вокруг президента Соединенных Штатов, диссиденты внушили президенту, что нельзя, не надо вдвоем обедать с Солженицыным. Солженицын — шовинист, он — русский Хомейни, он монархист, нельзя с ним обедать вдвоем президенту Соединенных Штатов. А президенту нельзя уж было отменить завтрак, и он решил найти компромисс. Он пригласил человек тридцать диссидентов, и в том числе, значит, Солженицына. Александр Исаевич в ответ письмом через американскую прессу ответил: «Вы отказали мне в завтраке один на один, потому что я — русский патриот. Каково было бы Вам, если бы Вам отказали где-нибудь в приеме только за то, что Вы любите Америку и что Вы — американский патриот? Я к Вам завтракать не пойду. Вот когда Вы уже не будете президентом, приезжайте ко мне в Вермонт, мы с Вами за самоваром вдвоем позавтракаем чинно и благородно». Я считаю, что это достойнейший ответ.

Александру Исаевичу исполняется 70 лет. Он встречает свое 70-летие в изгнании. Да, он не эмигрант, не диссидент — он изгнанник. Его мечта — возвратиться на родную землю. Я, наверное, в этом зале человек, который по сравнению с вами всеми сравнительно недавно виделся с Александром Исаевичем. Лет пять назад я видел Солженицына, пробрался к нему в Вермонт. Он хочет вернуться на родную землю. Но он хочет возвратиться с присущим и с подобающим ему достоинством. Давайте пожелаем и Александру Исаевичу, и нам здесь всем, сидящим в зале, дожить до этого поистине знаменательного и великого часа. Рядом со мной сидит давний друг Солженицына. Он все время очень тепло говорил о Вас, Игорь Ростиславович. И говорил: «Ну как же так, вы оба меня любите, а между собой в Москве не встречаетесь, не общаетесь. Ну как же так может быть?» Ну, вот мы с вами наконец встретились. Слово о Солженицыне произнесет Игорь Ростиславович Шафаревич.

ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

Я хочу сообщить несколько замечаний и мыслей относительно места, которое Солженицын занимает в традиции русской литературы. Я очень хорошо помню свое первое впечатление, когда появился «Один день Ивана Денисовича». Как меня поразило то, насколько это традиционно русское произведение. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного — появился прекрасный русский писатель, он пишет в духе русской традиции. Но тогда это далеко не казалось так само собой очевидным. Произошло то, что называлось Великим переломом. И это был перелом всей жизни и культуры, в частности литературы. И казалось, мне по крайней мере, тогда, что та литература, которая была,— она ушла в прошлое, так, как ушла в прошлое монархия и крестные ходы на улицах — безвозвратно, а появилась новая литература — Эренбурга или Алексея Толстого, та, про которую Солженицын говорил потом, что она основана на клятве воздержания от главной правды. Об этой эпохе Солженицын сам позже сказал: «Ни на миг не прерывалась русская литература, а со стороны казалась пустыней. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева». Вот тут возникает какая-то грандиозная загадка. Когда дети родятся похожими на родителей, биологи объясняют, или по крайней мере уверяют, что понимают: это связано с генами, с хромосомами, сложными биохимическими процессами. А какие же не известные никому гены делают то, что так точно передается традиция через эту мертвую полосу, в которой не только невозможны никакие прямые контакты с предшественниками, но, казалось, весь воздух страны изменился?

Для того чтобы высказать мою точку зрения на это явление, я должен на него взглянуть в более дальней перспективе и сделать небольшое отступление. Этот перелом — это был не первый перелом в нашей истории, первый-то произошел при Петре, когда юродивых сажали по монастырским тюрьмам, а скоморохов ссылали в Сибирь. Это был перелом почти до забвения, настолько та, предшествующая культура была забыта. И литературой стали считать только ту литературу, которая после этого перелома возникла. Еще недавно, в современной нам книге, академик Лихачев пишет как о чем-то, что нужно читателю доказывать и объяснять: «...русская литература существует не с XVIII века, она родилась не в петербургском периоде, не в Петербурге, не в петербургском периоде русской истории». Именно благодаря его работам и его школе представление о единстве русской литературы на всем тысячелетнем интервале ее существования стало уже глубоко осознанным. И для того чтобы дать представление о необыкновенной внутренней однородности, которая сплачивает всю литературу, я приведу два маленьких примера.

Первый взят из старой работы Лихачева. Он говорит, что образ Наполеона в «Войне и мире» был бы лучше понят книжником Древней Руси, чем нашими современниками. Этот книжник не обвинил бы Толстого в шарже. С точки зрения его эстетических концепций — человек, герой произведения, должен отражать не свои личные качества, а сущность своего дела, в данном случае дела захватчика. Он горд, то есть грешен первым из семи смертных грехов, он одурманен самоуверенностью, он фразер, краснобай, как Батый, Биргер, Мамай. Наоборот, его противник, защитник Руси, смиренен, молится перед битвой, уповает на Бога.

Второй пример из произведения другого замечательно интересного исследователя А. Панченко. Он приводит такой пример: ночь перед битвой, судьбоносной битвой, в которой должна решиться судьба отечества. И он цитирует так называемое «испытание примет» в «Сказании о Мамаевом побоище»: «И обратився на полък татарскый, слышить стук велик и кличъ и вопль, оки тръги снимаются, аки град зиждуще и аки гром великий гремитъ (...) и обратився на полък русскый,— и бысть тихоть велика». И всякий вспоминает Лермонтова:

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый...

Вот в таком единстве русская литература представляется как будто написанной одним автором, с определенным своим мировоззрением, со своими собственными излюбленными художественными приемами, а как будто писателям он поручает только помогать ему в той или иной части работы. В этом ряду — тут я уже возвращаюсь назад к Солженицыну,— мне кажется, что гораздо яснее место Солженицына, и очень часто оказывается, что он в этом ряду стоит ближе к его древнему концу.

Ну, например, какая основная тема всей русской литературы? Смысл жизни: смысл жизни человека и смысл жизни народа. Она рассматривается во всех возможных масштабах — от летописи, которая начинается от сотворения мира, до масштаба Отечественной войны 12 года или в трактире города Скотопригоньевска. Но всегда присутствует и центром является она. Тот же Лихачев пишет: «Чувство значительности происходящего, значительности всего временного, значительности истории человеческого бытия не покидало древнерусского человека ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе». «Человек, живя в мире, помнил о мире в целом, как об огромном единстве, ощущал свое место в этом мире». Поэтому и летописи, рассказывавшие обычно о сравнительно недавней истории, начинались или с сотворения мира, или от Адама, или от потопа. И у Солженицына человек вечно стоит между жизнью и смертью, в лагере, в тюрьме, в камере смертников, в раковом отделении больницы. Какие там обсуждаются проблемы? Чем жив человек, сколько стоит жизнь, то есть что не жалко за нее отдать. И вот такая деталь — у Лихачева: «В этом мире все значительно» — это концепция, конечно, древнерусской литературы,— «полно сокровенного смысла. Задача человеческого познания состоит в том, чтобы разгадать смысл вещей (...) Вселенная — книга, написанная перстом божьим, письменность расшифровывает эту книгу знаков». У Солженицына: «Я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обратно истинному и далеко рассчитанному смыслу. Но позже непременно разъяснился мне истинный разум происходящего.. и я немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути,— и всегда меня направляло Нечто. Это стало для меня так привычно, что только и оставалась у меня задача: правильней и быстрей понять каждое крупное событие моей жизни». Он в трудный момент читает русские пословицы, старается понять по ним смысл того, что с ним происходит. В древности это называлось бы гаданьем. «Получалось, что беду свою надо использовать как благо и даже, может быть, на торжество. Но как? Но — как? Шифр неба оставался неразгаданным». Я читал перед тем цитату из Лихачева, что письменность должна р а с ш и ф р о в ы в а т ь этот мир знаков. Даже и тот образ-шифр сохраняется на расстоянии многих веков. Я этим увлекся, и чем больше я читал, тем больше для меня понятен становился Солженицын как писатель, мыслитель, человек, который ближе к Илариону Киевскому, Нестору или Аввакуму, чем к каким-нибудь поздним стилистам — Чехову, Бунину или, упаси Бог, к Набокову. Я много набрал таких сопоставлений, но хочу все же одну маленькую деталь вам сообщить.

В «Поэтике древнерусской литературы» у Лихачева большой раздел посвящен миниатюре. Более сорока тысяч миниатюр на полях русских летописей он рассматривает как часть литературы. По ним читали и рассказывали историю. Какова же главная задача художника? С ж а т ь свой рассказ, сделать его более лаконичным и плотным. Это и есть любимый прием Солженицына. В самом первом интервью, которое он дал, в 66-м году, он говорит: «Я стремлюсь всегда писать плотно, то есть вместить густо в малый объем». Как он вошел в литературу? В первом опубликованном произведении действие происходило в один день. В «Круге первом» действие сплотнено в три дня. В «Красном колесе» каждый его узел содержит два-три дня. Конечно, это тот же эстетический прием.

Главные, основные черты русской литературы две, мне кажется. Первая — это типичная для нее стыдливость, чопорность или целомудрие (все какие-то слова несовременные, которые как будто неприлично даже и выговаривать). Отсутствие эротизма и всего того, что называется сейчас сексом. Даже в средние века у нас не было куртуазной поэзии трубадуров. Но и больше, гораздо шире. Это стыдливость сдержанности, опасение за чрезмерность выражения своих чувств, страх ходульности, или — как религиозной категории — гордыни. В книжке Лихачева «Смех Древней Руси» есть очаровательный отрывок, называется «Юмор Аввакума». Он разъясняет, что вечная проблема Аввакума в том, чтобы бороться с гордыней, бороться с соблазном считать себя праведником. Как же он с ним боролся? С помощью юмора, юмористического отношения, улыбки по отношению к своим страданиям и к своим гонителям. Он пишет: «Смех Аввакума — это своеобразный религиозный смех, столь характерный для Древней Руси в целом. Это щит от соблазна гордыни, житейский выход из греха и одновременно проявления доброты к своим мучителям, терпения и смирения», и приводит знаменитый отрывок: «...отстать от лошадей не смеем, а за лошадми итти не поспеем — голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет да и повалится, колско гораздо. В ыную пору бредучи, повалилась, а иной томный же на нее набрел, тут же и повалился. Оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «Матушка-государыня, прости!» А протопопица кричит: «Что ты, батко, меня задавил?» Я пришел — на меня бедная пеняет, говоря: «Долго ли муки сия, протопоп, будет?» Я говорю: «Марковна, до самыя до смерти!» Она же, вздохня, отвечает: «Добро же, Петрович, ино еще побредем..»

И перед той же проблемой стоял Солженицын. Представьте себе, что он публикует главное свое произведение — «Архипелаг ГУЛАГ», которое он воспринимает как исполнение долга, завещанного ему от мертвых, от тех, что не дожили, чтобы обо всем об этом сказать. Как же ему бороться с этой же опасностью — ходульностью, похвальбой своими страданиями, бряцением кандалами? Как начать? Он начинает так: «Году в 1949 напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии наук. Писалось маленькими буквами, что на Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда, замерзший древний поток и в нем замерзшие же представители ископаемой, несколько десятков тысячелетий назад, фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, что присутствовавшие, обколов лед, тут же охотно съели их. Многочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному, богатырскому смыслу неосторожной заметки. Мы сразу поняли... Мы поняли, потому что сами были из того единственного на Земле, могучего племени зеков, которое только и могло «охотно» съесть «тритона». Дальше он опять возвращается к этому образу, который поворачивает по-другому: «Идут десятилетия и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова Архипелага за это время дрогнули, рассыпались, полярное море Забве-

ния переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмерзший в линзу льда, станет допотопным тритоном. Свои 11 лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, а почти полюбив тот уродливый мир, а потом еще по счастливому обороту став доверенным многих рассказов и писем, может, сумею и донести что-нибудь из косточек и мяса? — еще, впрочем, живого мяса, и еще, впрочем, сегодня живого тритона». Разве это не то же, что у Аввакума, балансирование на грани улыбки и трагедии? Не тот же «своеобразный религиозный смех, столь характерный для Древней Руси»?

И, наконец, главный родовой признак литературы — это ее светлость, разлитая в ней ее теплота. Трагедия присутствует в ней часто, и очень даже часто, но она не принижает, а возвышает душу. Как говорили в древней литературе, «героизм выше одоления», «самоотречение выше силы». И это всегда чувствуется, мне кажется, в типичном произведении русской литературы, и всегда чувствуется противоположное течение — безблагодатность, ну вроде как, например, у Кафки. И тут, пожалуй, Солженицын вне всякого сравнения, потому что у него такие сюжеты и такие темы светятся, которые обычно связаны только с мраком, причем с беспросветным мраком. Кто другой мог бы назвать главу так: «Первая камера — первая любовь»? Или такой пассаж: «Невесомые лубянские вечера...», но в скобках — (впрочем, тогда только невесомые, когда не ждешь допроса). «Невесомое тело, ровно настолько удовлетворенное кашицей, чтобы душа не чувствовала его гнета. Какие легкие, свободные мысли! Мы как будто вознесены на Синайские высоты и тут из пламени является нам истина. Да не об этом ли и Пушкин мечтал: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого блага достичь».

В этой тональности большинство в «Архипелаге ГУЛАГ». И в «Круге первом» описывается прекрасная мужская дружба на шарашке, почти как пушкинская лицейская. В «ГУЛАГе» через всю страницу крупными буквами:

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТЕБЕ, ТЮРЬМА

«Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни». Правда, в скобках дальше: «(А из могил мне отвечают — хорошо тебе говорить, когда ты жив остался.)».

Но более всего, конечно, это в «Иване Денисовиче». Какими средствами он достигает этого чувства — света сквозь мрак, — это, конечно, тайна, которую никакими словами разобрать невозможно. Но кое-что лежит на поверхности. Например, Иван Денисович все время радуется своим удачам: «Житуха, умирать не надо»... (Это ему дали валенки.) «А и без печки — все равно хорошо!» (Приткнулся, где немного потеплее.) «Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь от пуза!» (Говорить что хочешь.) И кончается: «Засыпал Шухов почти удоволенный... Прошел день ничем не омраченный, почти счастливый». В его отношении к жизни нет зависти. Он находит оправдания тем положениям, которые могли бы вызвать осуждение. Цезарь Маркович получает посылки, пристроился придурком, но ведь и его тоже пожалеть надо: сколько каждому надо на лапу дать. Гопчик прячет посылки, ест по ночам один: «...и то правда, всех не накормишь». Но главное — любовное, теплое отношение ко всем. «Гопчика-плута любил Иван Денисович». (Свой-то сын помер.) Про Алешку-баптиста: «Щеки ввалились — на пайке сидит, чему рад? По воскресеньям с другими баптистами шепчется. С них лагеря как с гуся вода». Про эстонцев: «Эстонцев, сколь Шухов ни видел, плохих людей не попадалось». И так далее, так далее. Автор как будто немного хитрит с читателем — все время отводит его от опасной мысли, которая могла бы покоробить, что пишет о праведнике. Он даже строит свое алиби. Иван Денисович говорит Алешке, что от молитвы горы не стронутся, что его, Ивана Денисовича, молитвы остаются без ответа. И читатель уже сам даже не понимает, а чувствует, что соприсутствует житию праведника, то есть имеет дело с единственным литературным жанром, где тьма действительно светится.

Но Солженицын тем не менее не добр! Его в этом много раз упрекали: «Он сыплет соль на раны». И это верно! — он сыплет, да еще смеется! Например: «Ну зачем это все вспоминать, зачем бередить раны тех, кто жил в это время в Москве и на даче, писал в газетах, выступал с трибун, ездил на курорты и за границу?» И ведь действительно обидно. Я помню очень хорошо, как мне обидным показался такой пассаж об ученых: «Непробудная, уютная дрема советских ученых — делать свое научное дело, а за это — жить в избытке, а за это — не мыслить выше пробирки». Даже в главе «Придурки» он берет и шире: «Весь образованный наш слой — техники, гуманитарии все эти десятилетия разве не были такими же звеньями кащеевой цепи, такими же обобщенными придурками?» И мечтает он, что когда-нибудь будет издан альбом фотографий: надутые, отечные лица, они открывают дверцы машины, вылезая; они пьют воду на трибунах; они сидят в президиумах — и никакого текста, только одна подпись: «Диктатура пролетариата».

Тут опять возникает параллель с Аввакумом, который также все это хорошо умел. Вот, например, в поучение царю он пишет о некоем Максимияне-мучителе, который «ревет в купеле огня. На-вось тебе столовые, долгие и бесконечные пироги, и меды сладкие, и водка процеженная, с зеленым вином! А есть ли под тобою, Максимиян, перина пуховая и возглавие? И евнухи опахивают твое здоровье, чтобы мухи не кусали великого государя? А как там с тово ходишь, спальники-робята подтирают ли гузно-то у тебя в жупеле том огненном? ...Бедной, бедной, безумной царишко? Что ты над собою зделал?»

Тут мы подходим еще к одному аспекту Солженицына — к его публицистике. То, что писал Аввакум, тоже ведь в значительной мере можно назвать публицистикой. И цель у них была одна и та же — это была битва за Россию, битва за ее национальные истоки и корни, за то, чтобы ее культура сохранилась в сознании народа и не была от него отрезана, замарана и вытеснена как нечто грязное, как «мужицкая правда» — как говорили поборники реформ в эпоху Аввакума, как «проклятое прошлое» — как говорили в эпоху Солженицына. Тут Солженицын проявил совершенно новые свои черты. Была, я помню — кто помоложе, тот не помнит, — такая полемика между Солженицыным и Сахаровым. Сахаров написал возражение против «Письма вождям Советского Союза» Солженицына, и западная пресса, всегда падкая на какой-нибудь штамп, страшно обрадовалась: «Вот мы здесь видим картину: ученый, который мыслит логически, и поэт, который оперирует чувствами». На самом деле все было совсем не так, по крайней мере в том, что касается Солженицына. Он проявил здесь емкий, сильный и четкий ум — он совершенно не зря окончил физмат и из математики извлек то, что многие не извлекают, занимаясь ею всю жизнь.

Это замечательная тема, которой, наверное, должно быть целое исследование посвящено, — его публицистика. Началась она отсюда, но более ярко расцвела на Западе. Свежим умом оценив то, что вокруг него происходит, он увидел, что его оппонентами оказались выходцы отсюда же, деятели правозащитного движения, почти без исключения. И он увидел удивительную картину, сумел ее парадоксальность оценить и представить своим читателям. В России, в СССР, существовало правозащитное движение, провозглашавшее очень четкие лозунги, небольшое количество требований и положений. Одно из самых главных было — это свобода слова. И вот как будто какой-то экспериментатор решил произвести эксперимент. Когда спрашивали этих деятелей здесь: «Для чего свобода слова?» — то ответ их заключался в том, что этот вопрос не корректен, на него отвечать не нужно, но кто-то решил экспериментально это исследовать, и деятели эти оказались в большом количестве на Западе, «избрав свободу». И там в их произведениях уже невозможно было не показать, зачем же им нужна была свобода слова, которую они так темпераментно анонсировали. Ответ оказался парадоксальным: для того, чтобы чернить Россию, для того, чтобы пророчить ее скорую гибель и в меру силенок туда ее подталкивать. Например, возникла концепция о том, что у России не было истории, а было только бытие вне истории. Такова точка зрения философа. А литературовед, например, открывает, что Пушкин — это была кудрявая болонка при дамах как при деле, это был Хлестаков, самозванец, упырь. А Толстой — это артист (в смысле теперешнего сленга). И Солженицын замечает, что выстраивается новая концепция: «У России не только не было истории, у России не было и литературы». И вообще русский человек вечный раб. Обращаясь на Запад, видный борец за свободу анонсирует: «Альтернатива: либо миру быть живу, либо России», и Запад должен выбирать.

Какой же после этого открытия, однако, водопад хулы на Солженицына обрушился! Здесь были все образцы этого искусства, из которых я хочу привести, может быть, наиболее филигранный. 24 ноября 1977 года радио «Немецкая волна» передавало тезисы заседания в институте славистики в Кельне. Я лихорадочно записывал за радио. Доклад под названием «Советская литература». Читал покойный ныне Виктор Платонович Некрасов. Собственно, доклад был посвящен «Новому миру».

Он говорил о редакторах, которые там были. «Замечательный редактор Анна Самойловна Берзер». И Солженицын тоже о ней очень тепло отзывается. Но как же это имя было использовано. Докладчик говорит: «В ее руки попала рукопись «Одного дня Ивана Денисовича», и вот появился великий русский писатель Солженицын. Это было большим несчастьем для Солженицына, что рядом с ним не было Анны Самойловны, когда он писал «ГУЛАГ». Я ручаюсь, что тогда он был бы в два раза меньше (меньше, вероятно, не Солженицын, а «ГУЛАГ».— И. Ш.) и ничего не потерял бы из своего содержания — так она умела отжимать воду».

Это все началось здесь, когда мазали его в сто кистей и его собратья — писатели, и мои собратья — ученые, и кому только не лень, шло за границу, а потом, как мистический змей, который кусает себя за хвост, вернулось сюда, и уже сейчас здесь опять в бой вступает Рой Медведев, а в книге «Иного не дано», недавно вышедшей, в которой собраны, казалось бы, самые свежие мысли перестройки, вдруг оказывается и такое открытие, что Солженицын, не понимая Сталина, ненавидя его, делал то же самое дело. И один писатель предупреждает, что будет с Солженицыным бороться, но оговаривается, что только пером (хотя хорош тот писатель, которому такие оговорки нужны). Действительно проглядывается какая-то аналогия между Солженицыным и Аввакумом — и тюрьма, и лагеря, и ссылка, и это вечное гонение. В одном только до сих пор аналогия не выдержана — Солженицына все же не сожгли, по крайней мере до сих пор.

Не сожгли, но отрезали его от читателей. Выросло новое поколение, которое Солженицына не читало практически ничего. Сам он говорил о такой ситуации: «Если такие мастера, как Ахматова и Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, то это не их личная беда, но горе всей нации, но опасность всей нации».

В той мере, как это касается Солженицына, мне представляется положение таким образом. Русский народ и все человечество находятся сейчас в страшном кризисе, не имевшем, возможно, прецедентов в истории. Под угрозой все — леса и реки, почва и вода, нравственные ценности и физические силы народа — буквально земля и небо. Землю смывают,

превращают в солончаки, ее бурят на десятки километров, а в небе пробивают какие-то озонные дыры. Видно, что так ни человечество, ни Земля долго не продержатся. Вопрос стоит так: быть или не быть? Закрутились в каком-то водовороте, из которого не могут выплыть. И что поразительно: ни у кого нет никаких мыслей о том, никаких идей, как оттуда выпрыгнуть можно было бы.

Но не хочется верить, что выхода и не существует. Можно даже было бы, исходя из некоторых общих мировоззренческих установок, привести аргументы в пользу того, что выход *должен* быть. Но если он есть, а никто его сформулировать не может, это означает, что выхода нужно искать в надындивидуальном уровне, то есть он должен быть дан мудростью народа, воспитанной в его истории, или мудростью живой природы, или, в каком-то смысле, мудростью всего Космоса. И наше дело только узнать его, узнать и признать, когда он промелькнет, не пройти мимо него. И тогда спасение зависит от близости к традиции, от умения чувствовать мудрость народа, чувствовать его историю. Литература здесь играет роль питающих сосудов, по которым мы соединяемся со своими корнями. Солженицын, как я пытался показать, играет в этом какую-то особую роль, потому что он к этим корням особенно близок, особенно чувствителен. И поэтому вопрос о возвращении Солженицына в нашу современную литературу — это вопрос не о соблюдении правовых норм, оттачивания правовых основ нашего государства — эту-то задачу можно было решить и на ком-нибудь помельче. Это не вопрос даже гуманности по отношению к Солженицыну, это даже не вопрос высокохудожественной, нравственной прозы, которой лишены читатели. А это вопрос, который стоит в таком же плане: поворачивать или не поворачивать реки, воспитывать ли детей на порнографии и музыке тамтамов и строить ли атомные электростанции? То есть это один из факторов нашего *народного выживания*. Вот эту простую мысль я только и хотел сформулировать, но потребовался для нее длинный доклад.

ВЛАДИМИР КРУПИН

Все-таки и мы дожили до того, что можем говорить спокойно о национальной гордости великороссов, без крика, без истерики, не бросаясь на амбразуры, не боясь ночного стука кованых сапог. Все это, конечно, уже огромная радость. Я, как писатель, обязан очень многим, если не всем, Александру Исаевичу. Я был совсем-совсем молодым пишущим, был в армии и там прочел эту повесть. Ее ГПУ успело запретить, но знакомая библиотекарша дала мне ее на ночь. Я читал ее в каптерке и отлично помню — это было такое чтение, что позднее, когда перечитал ее спокойно, то она вспомнилась вся до последней строчки. Было мне двадцать лет. За мной стояли образы Павла Власова, Корчагина, идеал Павлика Морозова, за мной стояли «десять сталинских ударов», комсомольская юность, впереди было светлое будущее, близкий коммунизм — все что угодно. И все перевернулось. Все перевернулось, потому что открылась другая Россия, измученная, изможденная и от этого ставшая тем более родной. Этот гром, грянувший надо мной в юности, сопровождал меня потом всю жизнь.

В книге публицистики Солженицына часто встречаются места, в которых он говорит о возвращении в Россию. Он не говорит о любви к России — это данность для него. Тех, кто начинает бесконечные объяснения в любви, уж как-то начинаешь подозревать. Он говорит: «Что угодно, у меня ощущение, что я умру в России. Пусть в ней худо-бедно, а я вернусь, вернусь вначале книгами, а потом уже и сам». Все время говорит о том, что коренная русская культура рождается только на Родине. Это к вопросу о его спорах с эмигрантами, которые все-таки уезжали не как он, а в поисках лучшей доли и даже договаривались до выражений — я недавно слышал на тургеневском вечере, — что нобелевский лауреат, поэт, сказал, что он выбирает ту страну, где ему экономически выгоднее жить. Выжили Солженицына из нашей страны все-таки не Лубянка, не Верховный Совет, но прежде всего «зависть ли тайная, злоба ль открытая?» — как говорили раньше — братья-писатели его выживали. Сейчас читаешь протоколы секретариата, посвященные исключению Солженицына из членов Союза — учитель, из какой-то Рязани, написал какую-то повесть, а мы тут с вами сидим... Потом уже было следствие этой злобы, была кампания, как у нас умеют делать. Сегодняшнее наше собрание — в какой-то мере извинение и, к великой радости, не запоздалое.

Еще успел я прочесть хорошую статью, которая была написана лет девять-десять назад, «Наши плюралисты». Писатель предупреждал именно о том, что теперь мы видим: этот оголтелый крик, какое-то бесконечное растаскивание проблем. Ну, скажем, десятки, сотни нерешенных проблем, к ним добавляются тысячи и истина, правда — все тонет. Все время кричат: это

надо и другое надо, тут требуют ставить памятники жертвам (оказывается, не жертвы, а палачи), еще что-то давай в одну кучу валить, давай обвинять только одну личность во всех грехах, это выгодно, потому что другие в это время в тени побудут и отчистятся. И опять же вырываются из-под ног понятия Родины, памяти, Отечества, обращения к истокам и твердой уверенности в том, что будущее России принадлежит России, что Россия — не полигон для испытания идеологических идей, что Россия — не сырьевая база для сильноразвитых стран. Все это как-то исчезает в этом крике и надрыве, который все-таки должен выдыхаться, потому что люди уже — теперь это другие люди, и именно их, других людей, воспитывал Солженицын своими книгами. А ведь как мы их читали — то на ночь дадут, то слепой экземпляр, а то еще эта проклятая наша трясучка, мало ли что там, засекут или еще что. А все равно ведь читали. Хоть и тряслись, а читали. И трястись перестали.

Такая сила пера Александра Исаевича, — и вот читаешь и думаешь: как бы хорошо, если бы хватило у него сил, возраста коснуться еще и этой темы. Думаешь: у нас ведь совершенно искажена история, история крестьянских восстаний, совершенно не прочитана тема страданий православной церкви, совершенно не выяснены отношения системы в обществе, ну, и десятки других тем. Но уже видишь — становится бессовестно надеяться на одного человека. Нужно все-таки потихоньку и самим брать на себя ответственность, и к этому тоже он призывает.

В Солженицыне мы видим истинно русское понимание креста, который несет писатель в сегодняшнее особенное время. Это, конечно, страдание, и я вспоминаю, как Достоевский говорил совершенно искренне Победоносцеву: «Голубчик, какой вы хороший человек, но все же как жаль, что вы не посидели на каторге! Вы бы еще лучше, так сказать, стали, то есть вы бы отмякли через эти страдания!» Страдания, которые перенес Александр Исаевич, возвышают его над всеми нами. Я был недавно в Рязани — там люди бережно хранят память о писателе, уже не боятся говорить: «Вот школа, где он преподавал, вот дом, где он жил». Тут в свое время будут мемориальные доски. Но, видимо, сейчас нужно говорить не о каких-то физических знаках памяти, а о живом человеке. Жаль, что он не с нами, но будем надеяться, что мы еще будем лицезреть его воочию.

ЛЕОНИД БОРОДИН

Двадцать лет назад несколько часов сидел я над маленькой открыткой, чтобы поздравить Солженицына с пятидесятилетием. Это было в лагере. Написать открытку нужно было так, чтобы она прошла. Всего две-три строчки. Как раз в это время до нас дошло, что на Солженицына готовятся гонения, возможны репрессии, арест.

Чего я боялся более всего? Уже был опыт, когда в результате политических преследований человек, еще недавно говоривший русским языком, начинал разговаривать каким-то другим языком, его злость перебрасывалась на народ, на Россию. И этот человек исчезал, уходил, становился русофобом.

Конечно, за Солженицына бояться не приходилось. И все-таки эта боязнь (мы же были изолированы, мы не имели информации), этот страх потерять человека, который от природы русский писатель, страх продиктовал мне строчки, за которые нынче почти стыдно... Я писал, что время и власть могут быть не правы, но Россия не может... Собственно, желание непременно упомянуть слово «Россия» продиктовало мне такой текст...

Когда меня следующий раз судили, в деле был этот текст.

Вспоминаю один процесс 70-х годов. Была приглашена свидетельница, и ей задан вопрос: «Давал ли подсудимый ей какие-нибудь антисоветские книги?» — «Да, давал, «Архипелаг ГУЛАГ». Судья спрашивает: «Вы прочитали его?» — «Да, прочитала». — «Что вы можете сказать об этой книге?» Женщина задумывается, потом говорит: «Я думаю, это все неправда». Судья обрадованно: «А почему вы так думаете?» Женщина еще немного думает, потом говорит: «Потому что если все это правда, то жить тогда нельзя!»

Но жить, оказалось, можно. Так что это чисто женский эмоциональный подход. Жить, оказалось, можно. Достаточно было сказать: «Да, Солженицын прав. Но он здорово сгустил краски». И уже можно жить. Достаточно было сказать: «Ну, что копать старое? Надо дела делать!» И можно жить...

Я хочу сказать об одном моменте в явлении Солженицына, который очень положительно и добро пересекся с моей собственной судьбой.

Люди моего поколения помнят полемику физиков и лириков 60-х годов, когда лирики призывали к поиску идеалов, а физики — к конкретным делам по строительству коммунизма. Они говорили: нужно сеять хлеб, возводить плотины — это априорно хорошо, и тогда воссоздадутся идеалы.

Позднее, когда в стране снова слегка запахло жареным, лирики срочно стали превращаться в физиков. Они не умели делать плотины, но хорошо научились их воспевать.

«Мерчук играет на гитаре, а море Бретское поет». Трогательный дуэт.

И тогда сложились два новых типа сознания, очень не равных: подавляющее большинство и подавленное меньшинство. Это были физики и шизики. Шизики — это были мы.

Сейчас уже в официальной прессе говорят о злоупотреблениях в психиатрии, что психиатры — преступники, что их надо судить. Это несправедливо. Очень несправедливо. Потому что 99 процентов населения и мыслящих людей нашей страны считали именно так: тот, кто бьется головой о стену, тот псих. И психиатры только выполняли заказ общественного мнения, отражали его.

Мне тайна ГУЛАГа открылась раньше, чем я прочитал «ГУЛАГ». В конце 50-х я попал в Норильск, когда там только что были распущены лагеря, но люди оставлены, их освободили, но они продолжали работать на своих местах вместе со вчерашним госнадзором. Я застал весь спектр выживших к тому времени обитателей «ГУЛАГа».

Позже было страшно возвращаться на «большую землю»...

Боль, которая в силу каких-то индивидуальных качеств запала однажды в сознание (расстрелы, пытки, мучения...) — вот эта боль была мной самим на фоне всеобщего молчания тех лет, была воспринята как признак болезни. Был период, когда я готов был пойти к психиатру. И если бы он сказал мне, что я просто болен, я бы ужасно обрадовался. Потому что с этой болью невозможно было жить.

Жил я тогда в Сибири, моя родина—Иркутск. Сейчас там жизнь, как и везде, а тогда...

Одиночество до боли порождало ощущение болезни, ненормальности. Многие знали то же, что и я, многие — больше, но жили, как в театре: герой падает, пронзенный мечом, — мы понимаем, никто в действительности не умер, можно идти домой и жить... Появилась масса оправдательных теорий.

Припоминаю, в Иркутске, Валентин Григорьевич тоже, наверное, помнит, шел спектакль в областном театре. Назывался «Дмитрий Стоянов». Герой, освободившийся зек, делает вид, будто ничего не было ни с ним, ни с другими, дабы не опорочить строй, он молчит о прошлом и иступленно строит коммунизм. Подан он морально, красиво, на подражание.

А мне думалось, может быть, он просто до того напуган, что испуг стал его пожизненным состоянием? А может быть, он всего лишь хочет наверстать...

У Бориса Слуцкого есть удивительные строчки об одном таком, готовом забыть: И снова сановное барство его не пускает в п е р е д!

Эта строчка открыла мне, почему даже те, кто все перенес и выжил, молчат. О себе молчать можно, но о других, кто не выжил!.. О миллионах...

Я говорю о себе, потому что так сложилось, что со временем я сам попал в лагерь. Нас тогда было несколько тысяч. Это немного, но и немало. Это уже не один. Я успокоился. Так тоже можно жить, то есть биться головой об стену.

И все же только после прочтения «ГУЛАГа» пришла ко мне уверенность в полной правоте моего образа жизни. По фактам «ГУЛАГ» не дал мне ничего нового. Дело не в количестве фактов. Но появление книги писателя, которого я уже знал, за которым следил, в котором чувствовал родственность ощущений и переживаний,— это была действительная реабилитация моей жизни.

Убеждения, за которые мы шли в лагеря, не всегда были политически квалифицированными. Но мы противопоставляли системе не столько убеждения, сколько иной человеческий материал, чтобы они знали, что не все гнется... В том не было подвига. У кого-то жизнь сложилась так, у кого-то иначе, и Солженицын явился той опорой, которая была нам так нужна в нашем противостоянии равнодушию...

Еще хочу сказать... У нас, как мне кажется, существует три типа писателей: писатели более или менее советские, писатели более или менее несоветские и р у с с к и е. Конечно, всякая градация относительна. Но Солженицын продолжил русскую традицию тогда, когда она подверглась атакам, когда русофобство стало стихией. Мы получали в лагеря образцы такого творчества. «Русского народа нет, есть слесарно-бухгалтерская масса» и т. п.

Сейчас чествуют популярного и смелого певца, умершего в эмиграции. Кое-где уже прошли вечера его памяти. Я только четыре строчки прочитаю, с вашего позволения.

«Уродилась проказница все громить да крушить. Согрешивши, покаяться и опять согрешить. Барам в ноженьки кланяться, бить челом палачу. Не хочу с тобой каяться и грешить не хочу!» Стихотворение «Русь». Александр Галич. Вот видите, какое может быть отношение к Родине.

Еще хотелось сказать... Я боялся, что мое выступление здесь прозвучит некоторым диссонансом. Но я чувствую себя представителем тех, кто не мог сюда прийти, кто не дожил до того времени, когда можно открыто говорить о Солженицыне, — мы и не верили в такое, и в этом смысле мы все потерпели политическое фиаско, потому что не допускали возможности положительных перемен без серьезных потрясений. К счастью, без потрясений обошлось.

Здесь с трибуны несколько раз прозвучало слово «диссиденты» в каком-то недобром смысле.

В 60-х годах в политических лагерях были тысячи, за границу уехало несколько десятков. Где остальные? Они здесь. Одни сломались, смирились, другие погибли, кто-то сейчас инвалид или болен, а кто-то включился в работу, в черновую работу, в нужную работу... Их много.

И еще о наших лагерях. Это были не бериевские лагеря. Это были наши с вами лагеря. Наше молчание санкционировало их существование. И там, в этих лагерях, мы считали Солженицына нашим представителем на воле. Часто он и был таковым. И от своего имени и от имени тех, кого здесь нет, я желаю ему здравствовать и возвратиться.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Возвращение Солженицына, вернее, пока книг Солженицына, которое началось в прошлом году и продолжится в нынешнем, а затем и в будущем, подобно чуду, когда гора, беспощадно взрываемая и сверху и снизу, перемалывается в песок и перевезенная, взяла и как ни в чем не бывало вновь возросла на прежнем месте. Да так, возросла, что соседние высоты, казавшиеся в отсутствие горы величественными, сразу осели, кто с ропотом, кто с недоумением, а кто и с радостью принимая законный порядок расположения.

А. И. Солженицын прошел свой крестный путь сполна. По мере страданий и мера таланта, мужества, мудрости, а по их мерам — мера сделанного. Давно один человек не брал на себя столь огромного и тяжкого труда. И не вынести бы ему взятого, будь он хоть семи пядей во лбу, надорваться бы ему и за половиной ноши, если бы не осознал он себя как избранника российского неба и российской земли и не поступал как избранник. Русская литература никогда не бедствовала большими писателями, но в преддверии решительных моментов истории, когда чаша весов судьбы народной может склониться в ту или другую сторону, она выдвигает пророков, которые говорят не только от себя. Голос Солженицына раздался для многих, особенно для молодых читателей, как гром среди ясного неба; жаждущие правды, они ищут сокрытого, привыкшие в последнее время к разоблачениям, к сенсациям, они и у «великого изгнанника» рассчитывают встретить стрельбу из всех орудий по целям, среди которых мы живем. Нет, не мщение и не ненависть, как у иных-других, не испытавших и сотой доли испытанного Солженицыным, водит его пером, а глубинная правда, очищенная от скверны не с одной лишь стороны, чтобы скрыть другую, а выявленная полностью и издалека.

Многим, вероятно, трудно будет сразу принять Солженицына после тех потоков лжи, что выливались на него в течение более чем двадцати лет, в том числе об его отношении к России. Что делать! — как грязный воздух входит в наши легкие и засоряет их, так и пропаганда, с одной стороны официальная, с другой — групповая, и подпольная сильней, чем открытая, невольно подтачивает сознание. Солженицын теперь не нуждается в защите, он скажет сам за себя, но понаблюдайте внимательней, что станут говорить о нем те, кто еще недавно представлял его ненавистником нашей страны, как перевернут они свой язык, чтобы доказать что-нибудь противоположное и сделать из него ненавистника цивилизации или человечества, будто вопрос стоит только взаимоисключающе: или Россия — или человечество.

Будем надеяться что А. И. Солженицын возвращается к нам вовремя. Страсти о дальнейших путях страны, политических, экономических и духовных, бурлящие сейчас через край, а вместе с тем и чрезвычайно опасное стремление перескочить опять с одной скомпрометировавшей себя обочины на другую, лишь бы не ступить на спасительную дорогу, — эти страсти и метания, не умеющие оглянуться на прошлое, очень нуждаются сегодня в авторитетном мнении. Трудно рассчитывать, что даже мнение Солженицына остудит «горячие» головы, на то они и горячие, чтобы при всех обстоятельствах накалять обстановку, и нуждаются они не в разумном авторитете, а только в союзнике в борьбе за власть. Однако не настолько одурачен еще, надо полагать, наш соотечественник, чтобы не прислушаться к голосу человека, чьи предостережения и предсказания тридцати- и двадцатилетней давности полностью сбылись.

Вот, к примеру, его суждение о том, что творится сейчас вокруг России: «При изучении китайской, таиландской или любой африканской истории и культуры считается необходимым испытывать уважение к ее своеобразию. По отношению же к русскому тысячелетнему восточному христианству западные исследователи во множестве испытывают лишь презрение и удивление: почему этот странный мир, целый материк, все не принимал западного мировоззрения и все не шел по столь явно преимущественному западному социальному пути? Россия решительно осуждается за все, в чем она не похожа на Запад».

Жаль только, что «Красное колесо», огромный и главный труд жизни Александра Исаевича, будет сейчас печататься одновременно всеми своими законченными «узлами». И последовательность событий, мыслей, причинность и последовательность все нарастающих разрушительных тенденций конца прошлого и начала нынешнего века, приведших к падению старой власти, а также последовательность восприятия и для многих — прозрения будет невольно нарушена. Но, к несчастью, нет времени, чтобы растягивать эту эпопею на годы. Она нужна сейчас, нужна как можно скорее, поскольку многое из происходившего тогда повторяется теперь в своих целях и методах снова. Повторяется иной раз до поразительного сходства фигур и событий предвещая, если оставаться сторонними наблюдателями, повторение итогов.

Будем же читать, удивляясь, восторгаясь и тревожась, и делать выводы. Этот грандиозный по замыслу и проделанной работе труд, эти своего рода «Повести временных лет» пропустить нельзя.



Эпопея «Красное Колесо» состоит из системы Узлов, то есть сплошного густого изложения событий в сжатые отрезки времени, но с полными перерывами между ними. Узел Первый «Август Четырнадцатого» (10—21 августа 1914), Узел Второй «Октябрь Шестнадцатого» (14 октября — 4 ноября 1916), Узел Третий «Март Семнадцатого» (23 февраля — 18 марта 1917) и будет продолжение.

Наш журнал печатает Узел Второй «Октябрь Шестнадцатого», который опубликован впервые в издании: Александр Солженицын. Собрание сочинений. тт. 13—14, Вермонт—Париж, YMCA—PRESS, 1984.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН



КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II
ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

Предисловие

Временной отрезок «Октября Шестнадцатого», со средины октября и до 4 ноября, беден историческими событиями (волнения на Выборгской стороне 17 октября, заседания Государственной Думы с 1 ноября с известной речью Милюкова, ещё несколько эпизодов). Но он избран автором в качестве последнего перед революцией Узла как сгусток тяжёлой и малоподвижной атмосферы тех месяцев. Автор долго колебался, строить ли между «Августом Четырнадцатого» и «Октябрем Шестнадцатого» еще один, промежуточный по войне, Узел «Август Пятнадцатого», богатый событиями. От этого замысла он отказался, остатки же вошли в нынешний Второй Узел: обзорной по 1915 году главой 19′ и другими ретроспективами двух лет войны, которые все теперь нашли место в «Октябре Шестнадцатого», как и ретроспективы всего кадетского движения (глава 7′).

С марта 1971 началась непрерывная работа над «Октябрём», конструкция уяснилась быстро, но долго шло накопление материалов, и само писание в 1971 — медленно, из-за тяжёлой обстановки, травли советскими властями. Но за 1972 и 1973 уже весь Узел был написан (в Ильинском, Рождестве-на-Истье, Фирсановке) в 1-й редакции, а многие главы во 2-й и в 3-й. Лишь ленинских главы было две (окончательно — семь) — в то время замысел дальше не шёл.

Материалы по Каменской волости Тамбовского уезда и другим местам Тамбовской губернии собраны автором в анонимных поездках туда летом 1965 и 1972, впоследствии дополнены по печатным источникам. Скроботовский бой восстановлен по рукописям московского Исторического музея, позже расширен по эмигрантским публикациям. Использованы печатные издания Рабочей группы при Военно-промышленном комитете, артиллерийские исследования о войне 1914—17 гг. Гренадерская бригада — по хранениям Центрального Военно-исторического Архива в Москве (боевая и административная документация, полевые книжки офицеров, приказы, списки личного и конного состава). Место стояния бригады близ фольварка Узмошье автор также посетил в 1966 г.

Высылка на Запад прервала работу над «Красным Колесом» почти на весь 1974 год. Но Цюрих представил богатые материалы и прямые наблюдения, расширившие замысел ленинских глав, которые, вместе с главами Узла Третьего, были окончены в марте 1975 и той же осенью изданы отдельной книгой «Ленин в Цюрихе» (Париж, ИМКА-пресс, 1975).

В 1975—1979 по материалам эмигрантских печатных изданий, зарубежных русских хранений и мемуаров участников событий, присланных автору, найдено немало дополнений и исправлений к «Октябрю» — и в конце 1979, в 1980 многие главы ещё переработаны. Добавочно написаны главы о царской семье (64, 69, 72, они не предполагались прежде).

Несколько глав из «Октября» были напечатаны в «Вестнике РХД» №№ 126—132 (главы 62′, 65′, 71′, 7′, 41′, 26, 64, 69). Последняя редакция Узла выполнена в процессе набора в Вермонте в 1982—83.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
РЕВОЛЮЦИЯ

1

Птицы любят не всякий лес. В жиденьком слабеньком Дряговце было их куда меньше и скучней, чем в Голубовщине, три версты в тыл. К войне на поживу налетело из многих мест гальё, вороньё, коршуны (как и мыши и крысы стянулись), а улетели подальше певчие дрозды, снялись с высоких крыш белые аисты, выстаивающие счастье. Но крестьяне говорят, что и прежде войны, всегда: Дряговец не любили птицы, а Голубовщину любили. А между тем лесом и этим, над мокредью у старого екатерининского шляха, как до войны, так и в войну, тянуще плачут чибисы и только они одни.

Толстоствольную парковую Голубовщину, где лес не слитен, но каждое дерево как на показ и по просторности всюду трава чистая, ласковая, доныне, уже год близ позиций, населяло изобилие птиц, вся главная масса их. И в мае так это вместе всё куковало, булькало, стрекотало, щебетало, вытягивало, пересвистывало, что у Сани, южанина-степняка, слабели ноги — опуститься на шёлковую траву, и грудь раздувалась — не воздуха только вобрать, но птичьего пенья.

И тяжела становилась амуниция, оттягивающая плечи, грузный револьвер.

Кажется, близко бы всем этим птицам отлететь от передовых позиций, от воя снарядов, от дыма взрывов, от газовых волн, ещё вёрст на десять назад,— нет! Пренебрегая шумной, чёрной людской войною, даже гибня в ней иногда, жили многие птицы на своих извечных местах, признавая лишь своё повеление внутреннее, лишь строгий свой меридиан.

Голубовщина была лес помещика-поляка, впрочем перенятый в аренду простым селянином, а Дряговец — крестьянский лес. Что такое именно значило «Дряговец», Саня не добился понять, но уже в самых звуках слышался худший сорт и пренебрежение. Такой и был он — хилый, мелкодеревый, не радующий душу и не по воле заселённый теперь гренадерами весь насквозь: тылами и резервами пехоты, затем — передками, лошадьми и землянками артиллеристов. Сразу же за Дряговцом стояли пушки 1-го дивизиона 1-й Гренадерской бригады.

Тонких хлыстов Дряговца не хватило бы ни на какие землянки, и давно не осталось бы самого леса, но вовремя было запрещено его валить, как и завидную Голубовщину. Из неисчерпаемой России, из глубины, привозили железнодорожными платформами толстые брёвна на все перекрытия и укрепления, перегружали на колёсные станы, и ближние крестьяне, три рубля за фурманку в ночь, темнотою и под немецкими ракетами возили-возили-возили тот лес под самую даже передовую линию. (Только из передних деревень крестьяне ушли, а уже в Стайках и в Юшкевичах жили и засевали поля, а немцы, бившие по большому полю, когда видели там работающих крестьян, — по ним не кидали.)

Почти вся санина война, минувший год, и прошла в этих местах, в этих нескольких верстах, окидываемых одним круговым взглядом. Ещё с прошлого сентября стояла их батарея позади Дряговца, и от батареи на их прежний наблюдательный пункт ходил Саня всегда одной и той же дорогой: сперва через Дряговец, кишащий солдатской жизнью, потом, под просмотром неприятеля, по старому шляху, где не шагали строем и не гнали больше одной повозки сразу; от придорожного, до сих пор не сшибленного деревянного креста с жестяным кружевным щитком над образом Спаса брал влево и полторы версты унизительно сгибался ходом сообщения, отталкиваясь со встречными и с осыпчивою землёй, и так — до самых пехотных окопов, еле-еле выгрызенных в узких грядах среди мочажины. И этим путём каждодневно гнясь и сапогами чвакая в осенней и весенней грязи, а то и на глубину голенищ в окопной воде, мог бы горько изумиться, кто не знал: как же было так допустить? как же можно было, отступая, такие наихудшие позиции себе выбрать, а немцам дать перейти Шару, занять Торчицкие высотки и обратить в крепость возвышенный фольварк Михалово? Но Саня прихватил в Гренадерской бригаде прошлый август и помнил конец этого страшного отступления: сшибали их размётным артиллерийским огнём, а то удушливыми газами; дни высиживали под долбящим обстрелом и почти не вкопанные, сами без снарядов, ночами отступали, а неприятельской пехоты и не видели никогда, ей и делать было нечего. Без снарядов, и даже ружейные патроны на счету, валили и катили мимо Барановичей на Столбцы, а хоть бы и на Минск, — и вдруг обнаружили, что немцы в спину больше не костят. Обернулись, постояли. Вовсе стали. А потом от месяца к месяцу, под вражеским просмотром и огнём, весь Гренадерский корпус трудами и потерями полз обратно, *выдвигался до полного сближения,* долгими окопными работами проходя и занимая две с половиной версты, оставленные немцами в пустоте как негожие.

Эти вёрсты унижения, пота и смерти не за что было, кажется, полюбить. Но странно: за год, проведенный здесь, стала для Сани эта местность щемяще дорога, как родина, и привык он к каждому кустику, бугорку и тропочке нисколько не меньше, чем вокруг своей Сабли. Истинная родина, Саня узнал, тут близко была Мицкевича — поправее, к Колдычевскому озеру, и ещё б не любил поэт места своих детских игр и юношеских мечтаний. Но места, где провёл ты грозные дни своей жизни, не тесней ли того сродняются с тобой? Они как молнией выхвачены для тебя изо всех земных пространств, они свидетели не безмысло-го беззаботного твоего рождения, а поступков внезапного мужества, созреванья которого ты в себе не предполагал, или возможной смерти — сегодня? завтра? И сапогами буднично шелестя о траву, ты, может быть, каждый день проходишь мимо крестика смерти своей, мимо будущей твоей милой могилы.

Сколько за год прожито, изменилось, самого тебя в изумление привело. С наблюдательного шёл на батарею, усталый, задумавшись, и не так обратил внимание на ужасающий свист *чемодана* на подлёте, как увидел по краю Дряговца: чёрный столб в три раза выше леса, а над столбом — ярко-красная шапка мелькающих отдельных вспышек, а ещё выше — летающие толстые палочки. И под грохот неимоверный ещё всё это не опустилось, как соединила голова: попал восьмидюймовый чемодан в снарядный склад батареи, и это палочками летают четырёхвершковые брёвна, а вспышками рвутся взлетевшие наши снаряды. И хоть кажется (потом уже размышляешь) живому существу неестественно бросаться в смерть, и не был санин долг присутствовать в этот миг на батарее, и никто б не удивился и не упрекнул его, если б он пришёл на десять минут позже, — Саня, не обдумывая ни секунды, со всех ног кинулся бежать на позицию, где в туче оседающей земли ещё допадывали брёвна (тычком воткнулись два, будто их заколотили) и загорелся зарядный ящик со шрапнелями. Офицера не оказалось, и батарейцев горстка, только младший фейерверкер да несколько номеров, в момент разрыва укрывшихся, — и Саня, как бежал, вызывая их за собою, кинулся к зарядному ящику. Валил дым из его пробитых стенок (это горел порох в пробитых снарядных гильзах). Бросились и те все, предупреждая взрыв, и ожидая этого взрыва на себя, и каждый миг ещё ожидая на себя нового чемодана, чья воронка слизывает пять саженей в диаметре и четыре аршина вглубь. Но новый — не прилетел, а тем временем они топорами сбивали горящую обшивку и выбрасывали, выбрасывали уже раскалённые лотки со снарядами — и ни один не успел взорваться. И в таком скорохвате, в огне пронеслась эта работа, что Саня не успел и испугаться. И лишь когда кончили и пот вытирали, заметил он, что ноги дрожат, не держат.

Так и осталось удивлением о себе самом и о номерах, ретиво помогавших ему, — когда уже всем им пришло по георгиевскому кресту, и армейская георгиевская дума утвердила подпоручику Лаженицыну офицерский.

Так и могла — да не раз — окончиться санина жизнь в 25 лет в этой мягкой природнённой местности между Власами и Мелиховичами, с их купами высоких тополей. И если когда-нибудь фронт отсюда уйдёт и зачередят новые места опасностей и куцых солдатских радостей, всё равно это место годовой тревожной жизни навсегда уже будет теперь восприниматься как отобранная родина.

Что глаза окинут, то и жаль покинуть.

И ещё есть одна загадка: черта, никогда раньше на этой местности не существовавшая, и которая потом сотрётся, запашется, лишь останется в памяти стариков, черта, разделившая два пришлых войска, и тем же разделившая до полной чуждости два куска слитной обжитой земли. По тот бок черты всё должно быть такое же — и всё представляется совершенно иным. Как будто тот же тёплый кусок отечества, украшенный разбросом хуторов и кущиц, тот же шлях екатерининский, обсаженный редкими берёзами и ушедший за высотку и за реку, те же млыны ветряные, тополя и покинутые гнёзда аистов, — нет, выхват чужой земли под чужой властью.

Весной, когда Ростовский Гренадерский полк уже близко подкопался к Торчицким высоткам, была перед рассветом удачная вылазка: за-

хватили немецкие окопы врасплох и едва не перешли Щару, да поддержки не было. В ту ночь Саня как раз дежурил на наблюдательном в переднем окопе ростовцев и с ними пошёл. Поддержать огнём он их не мог — на снаряды был наложен запрет, операция возникла в полку почти внезапно, но ногами Саня пробежал эти иссмотренные, до камешка изученные триста саженей, завалил за двухгребневую высотку и ахнул: действительно, мир там оказался другим! Не эта бесплодная, без кустика, угорная земля, но от самых немецких окопов — зелёный сбег к реке, сочные дубки, шаровые ивы, кустовые заросли у речки, и — нежный надречный утренний туманец между всем, как ласка к этим твореньям. И едва, едва только стихли пулемёты и ружья — тут же рядом, незримый, встрепенулся и залился соловей — да нестеснённо, со всеми положенными оттолчками, дробью, пересвистами... С привычного места не согнала война и его!

И этот зелёный обрыв за Торчицкими высотками, туманец, неожиданный соловей — показались Сане живым раем. Какой же силой и любовью это сотворено! И как же, с двух сторон, Торчицкий обрыв и Голубовщина, звенят своей вечной песнью, а в помертвелой полосе между ними, там, где ещё уцелевал трёхсаженный несшибленный Спас, тысяча людей в безумии врылась в землю и палит друг в друга, со всею техникой двадцатого века!

Эта беготня в предрассветьи, с колотящимся сердцем, куда ни начальство, ни долг не посылали Саню, а понёсся он испытать первое в своей жизни наступление, сделали его как будто крылатым, лёгким и полусонным, как после любовной счастливой ночи. Была — пробежка и победа, да какая-то весёлая, без потерь. На полчаса стал Саня как будто бесплотен бояться свинцового прохвата, стал нечувствителен к возникшему свисту пуль с того берега Щары.

Однако, вправлено было уже и что-то иное в подпоручика Лаженицына. И при всей его бессонной бесплотности и восхищении соловьём, использовал он минуты затишья и для осмотра немецких окопов — чистых, сухих, основательных, в полный рост, обложенных досками, с крепко-досчатыми полами, с зимними кабинками часовых, с бревенчатыми блиндажами, каких не могла пронять наша полевая артиллерия, и даже с бетонными укреплениями. И хотя уму и расчёту понятно было всегда, что отсюда легко просматриваются русские позиции, но только сам поглядев через бетонные смотровые щели, поразился подпоручик, до чего же мы невыгодно, голо, незащищённо стоим, как будто выполняем правила чужой войны.

А ещё он снял в блиндаже с гвоздя великолепный цейсовский полевой бинокль с 16-кратным увеличением.

И месяцы, месяцы потом глядя всё с прежних приниженных мест на прежне-недоступные, даже более прежнего, уже пятью линиями колючки укреплённые Торчицкие высотки с верхами дубков из-за них, Саня и поверить бы не мог, что сам побывал там, если б не этот тяжёлый прекрасный бинокль, всегда на груди или у глаз, часто одолжаемый товарищами или старшими, потому что у всех были только казённые, не больше 8-кратных.

Как перо жар-птицы, в сновидении выхваченное на память, и оставшееся доказательством сна.

2

Подполковник Бойе назначил подпоручику Лаженицыну быть не в очередь на боковом наблюдательном пункте 3-й батареи у деревни Дубровины 14 октября в 10 часов утра с тем, чтобы принимать участие в стрельбах командира батареи.

Педагогически это было неправильно: уж какие три взводных командира ни достались, а надо всех трёх обучать равномерно и стрелять с очередным. Однако при той общей казни египетской воевать с неузнаваемо прореженной армией, где кадровые подлинные офицеры подменены разночинцами, а сверхсрочные унтеры — обученцами из нижних чинов, мог подполковник позволить себе не нервничать лишнего и пострелять с командиром 3-го взвода, который обучаемее и добросовестнее других, хотя тоже без военной души. Командир 1-го взвода прапорщик Чернега, из фельдфебелей, дерзкий воин, лучшего желать не надо, но в познаньях, уменьях — слаб, а в готовности неровен и плохо вгонялся в строгую систему. Прапорщик Устимович, из запаса 45-летний учитель, обременённый семьёй и жизнью, к тому же присланный из пехоты по недостаче артиллерийских офицеров, числился командиром 2-го взвода лишь для страдания своего и командира батареи, и не только не обещал стать порядочным артиллеристом, но хотя бы военную дисциплину усвоить ближе к костям.

Вчера и позавчера держалась устойчивая пасмурная погода — без дождя, но и без солнечного проблеска. Плотные тучи стлались и сегодня с утра, но было сухо, нехолодно, и кой-где посвечивало, обещая растянуться. А барометр шёл влево и советовал брать дождевик.

Передовой наблюдательный пункт 3-й батареи в пехотных окопах против Торчицких высот имел малый просмотр в глубину неприятеля, и для всех главных стрельб Бойе оборудовал боковой пункт, на высоте, частью отбитой у немцев. Обзор оттуда был и широкий и глубокий, но от слишком бокового расположения усложнялись правила стрельбы: виделось не так, как стрелялось, шаги прицела переходили в шаги угломера и наоборот, всё это надо было в голове быстро оборачивать и соображать, Устимовича ставить туда было бесполезно, да и Чернега путал.

Последние пятьдесят саженей, ответвившись от хода сообщения Перновского полка, шёл их собственный батарейный ход, в два с половиной аршина, чтобы высокому подполковнику не очень гнуться. Сам наблюдательный был перекрыт в три наката со стяжкою брёвен проволокою, чтоб их не раздвинуло средним калибром.

Ещё раз поглядя, что небо всё светлело, желтело, обзор будет хорошим, подполковник, пригнувшись на входе, придерживая фуражку, отводя заслоняющую парусину, нырнул, а за ним ординарец. Внутри пол был ещё подрыт для подполковника, а подпоручик Лаженицын, ростом ниже, с несмелой бородкой на полподбородка, стоял на брусе у смотровой щели — и перед собою на бруствере, на подложенной фанерной дощечке, делал записи. При появлении командира батареи он сошёл с бруса и козырнул.

От армейской дисциплины тут было много отклонений, сразу замечаемых глазом, даже ещё не привыкшим к полутьме, но уже отметившим и двух телефонистов на чурбаках, телефоны на земляном полу, а карабины к стене, и одно дуло так пришлось, что грозит набрать земляной осыпи; три противогазных маски на гвоздях, вбитых в горбыльную обкладку. Подпоручик не скомандовал «смирно», и отдал честь без отрубистой лёгкости, хотя с прошлого года лучше; и не доложил, что происходит на наблюдательном пункте в настоящую минуту. Но упрощения, вносимые войною в устав, слишком широко разлились, чтобы возвратить их в рамки. И подполковник Бойе, со страданием обречённый до самой могилы замечать каждое отклонение от устава даже, кажется, городских прохожих, отзывался лишь на те, где выпирал вызов.

А Лаженицын и сам не знал, почему он не доложил, он готовился, и было что сказать. Но вдруг показалось ему при трёх солдатах, в тесном укрытии, что это будет стеснительно театрально. Да и робел он перед подполковником, хотя тот и голоса никогда не повышал. Чернега и виноватый всегда держался право и бойко. Лаженицын и без огреха всё какую-то вину ощущал. Брови подполковника над пенсне передвигались минимально. Глаза, кажется, постоянно имели выражение чет-

вертьпрезрительное и полунедовольное. Взнесенные хвосты усов были так идеально ровно отмерены, что улыбка сразу бы нарушила их равновесие. Длинная шея в стоячем вороте кителя не оставляла развязности голове, тем более не допускалось развязности у собеседника. А весь вид был сейчас: неужели вы чем-нибудь серьёзным могли тут заниматься?

Но ни слова подполковник не произнёс, ответил небыстрым точным поднятием руки к виску, взял записи подпоручика и стал читать их молча.

Эти записи (добросовестно начатые на час раньше назначенного, без всякого внешнего одобрения заметил про себя подполковник) были обычные дежурные записи обо всех изменениях и действиях противника, с повышенным значением ничтожных событий:

«9.05 — В слуховом окне № 4 неприятель продолжает земляную работу, начатую, видимо, ночью.

9.12 — Неприятельское орудие $1^1/_2$ дюйма выпустило по окопу № 8 5 снарядов.»

И Лаженицын тоже следил за своими строчками, какие именно читает сейчас подполковник.

«9.27 — Наш бомбомёт из ... выпустил по ... три бомбы.

9.41 — Неприятель выпустил по северной окраине Дубровны 18 тяжёлых мин. Ущерба не причинил.»

Этот налёт подполковник видел сам на подходе, из низины ему даже показалось, что бьют точно по их наблюдательному, а прямым попаданием одна такая тяжёлая мина, изблизи, могла и разворотить тут перекрытие. Но естественно, что подпоручик не докладывает о близком огневом налёте как о событии. В уставе так и сказано: для установления наилучшего наблюдения командный состав артиллерии должен жертвовать собой.

Дневник стрельбы неприятельской артиллерии вёлся неопустимо в каждой батарее — на двух наблюдательных пунктах и с пушечных позиций, и потом сводился дежурным офицером: род орудия, калибр, куда, сколько снарядов и, самое нудное, — схема перетерпленного обстрела, как легли воронки относительно наших орудий, снарядных запасов, передков, землянок. Подполковник знал, что все его взводные изнывают от этих скрупулёзных записей, обмеров и рисунков, что Чернега ляпает всё из головы, не обмеряя, Устимович кряхтит и стонет, Лаженицын выполняет через отвращение. Но никогда подполковник ни взглядом не допускал уловить, что он не одобряет этих отчётов, хоть и не допытывался, воистину ли обмеряли все воронки. В армейском порядке ничто не может быть осмеяно: начни выбивать устои, не знаешь, на котором повалится всё. Дневники эти потом сводились в общий дивизионный, подавались в управление бригады, это вскоре составляло толстые томы, управление бригады и штаб корпуса искали шкафов, потом уже полок и сараев, где бы хранить их, уж не то что анализировать по ним замысел и тактику немецкой артиллерии. Но попустить было никак нельзя, и подполковник Бойе холодно-строго просматривал отчёты взводных.

«9.55 — У православного кладбища строится, по-видимому, блиндированное долговременное сооружение.»

Тут Лаженицын мягко-глуховато предложил посмотреть туда в цейсовский бинокль или в стереотрубу.

Это надо было осторожно, у немцев бывали снайперы с оптическим прицелом и разносили стереотрубы вдребезг. Немецкая передняя линия тянулась рядом, на их же высотке.

Через обзорную щель была видна вся посветлевшая округа: проступало за нашей спиной в долю яркости солнце и хорошо освещало жёлто-бурую кущу деревьев у православного кладбища, соломенные крыши деревни за ней, белый костёл в высоких Стволовичах и даже, далеко-далеко справа, крутизну над Колдычевским озером.

Бойе снял пенсне на бруствер и принял от Лаженицына его отменный бинокль. Верно, да, соображения взводного деловые. Накиданной свежей земли совсем немного, строительство в самом начале, а будет что-то капитальное. Вот и ещё цель для сегодняшней дневной программы: пока не достроились — и накрыть.

Сегодня подполковнику Бойе приказали демонстративно проделать проходы в проволочных заграждениях противника перед Екатеринославским полком, как если бы ожидалось его наступление тотчас. На самом деле намеревались только понаблюдать систему мобилизации противника к обороне.

Что и умела хорошо наша трёхдюймовая артиллерия — это размётывать проволочные заграждения. Ни прочных бревенчатых, ни тем более бетонных укреплений она не разрушала. Не парализовала тыла из-за малой дальности. Не создавала огневой завесы перед нашей наступающей пехотой — из-за настильности. После того как сняли от Голубовщины морские орудия, на всём их участке, несколько вёрст вправо и влево, разрушительную силу имел лишь недавно присоединённый гренадерам мортирный дивизион, да и тот был четырёхдюймовый, когда у немцев восьми.

— Сколько вам снарядов на пристрелку?

— Четыре...

При работе Лаженицын бывал замедлен, никогда не горячился, но это хорошее обещание в нём.

— Три. Не теряйте неожиданность. На поражение всей батареей сколько времени будете переходить?

Бойе не поощрял ни голосом, ни взглядом. Тон его был такой, что скорей всего ошибутся эти недоучки, где уж им правильно ответить. Оттого Лаженицын осторожничал.

— Минуты три.

— Не больше двух. Надо ошеломить. Все команды составьте заранее и заранее сообщите на батарею. Первые снаряды уже будут в каналах и только добрать поправку по прицелу и угломеру.

Лаженицын удивился:

— Всё буду я стрелять?

— Вы. Сколько вам нужно снарядов?

Опять с осторожным замедлением:

— Сорок?

— Надо хорошо прочистить. Берите шестьдесят.

Теперь на снарядных ящиках писали им из тыла: «Бей, не жалей!». Не Пятнадцатый год.

А ещё подполковник Бойе терпеливо обучил всю свою батарею, с каждым наводчиком возясь, *стрелять по огню*. Этого не было в обязательном уставе, а перенималось на курсах от одного-двух генералов, не могущих переубедить военное министерство, но набиравших себе последователей в батареях. Вместо того чтобы командирам взводов стоять при орудиях и, по мере выстрелов справа налево, кричать: «Второе!» — «Третье!» — «Четвёртое!», как делалось во всей российской артиллерии, — тут каждый наводчик, держась за шнур, смотрел на наводчика правей себя. Очередь батареи получалась дружной, слитной — и все командиры взводов освобождались для работы полезней.

Лаженицын углубился в расчёты карандашом на гладком месте дощечки, записывал в книжку дежурного наблюдателя отметки по реперам. Спешки не было, а хорошо бы и побыстрей. Соображал неплохо, но слишком по-штатски любил пересмотреть и взвесить доводы. Однако Бойе надеялся: наловчится со временем. Он верил, что преданность войне — природное мужское свойство, и в любом его можно разбудить и развить.

Дежурному телефонисту, татарину с трубкой, висящей прямо у уха, шнурком под фуражку, велел подпоручик вызвать Благодарёва, фейерверкера первого орудия, разговаривал с ним, присев на корточки к те-

лефону. Потом с другими взводами. Потом и Бойе по пехотному телефону брал согласие у командира полка на начало стрельбы.

Лаженицын возбудился, волновался не ошибиться. Неожиданно большая стрельба, и вся на нём, хотя и под косым недовольным взглядом командира батареи, нависавшего как экзаменатор. Но ни одной готовой команды подполковник не остановил. Расчёты сами вели и торопили. Три скачка прицела на поражение, распределение снарядов по трём скачкам, не забыть доворот одного орудия на новую постройку у кладбища. И — лихой этот момент, когда малая сила твоего голоса, однако уже и родственная металлу тех стволов, — «беглый! огонь!!!» — утысячеряется в грохоте, слабость твоих рук и короткий их размах заменяются дальним швырком и ударом снарядов, а ты, неожиданный для себя громовержец, только смотришь в бинокль и видишь серые кустисто-лохматые снопы разрывов, а в них взлетают скрутки колючей проволоки, огрызки многорядных берёзовых кольев — всё хитромудрое наплетенье, столькими людьми во столько ночей устроенное, а теперь в три минуты тобою кинутое в воздух — на разрыв, разлёт и вперевёрт. Именно при большом расходе снарядов, как сегодня, ощущаешь эту силу, далеко за пределами отдельного человека, и испытываешь... гордость?..

Невозможно. Гордость?.. И приятен неосудительный тон подполковника:

— Нич-чего...

И жалко, что всё это — демонстрация, никто в те проходы не пойдёт.

А под шинелью на груди — Станислав 3-й степени, однако с мечами, чьей скромной истории командир батареи тоже участник. А вознесительней того — георгиевский крест за пожарный миг на батарейной позиции. Этот свеженький Георгий, в лёгком касании как-то перетягивает и поворачивает все представления о целях и долге человека. Не просто отметка о прошлом, но и обязанность на будущее.

Удачная работа. Смышлёное применение правил стрельбы. Хотя шестьюдесятью снарядами кого-то же и убили, и ранили сегодня в немецких окопах.

А как-то — неощутимо.

А два перелетевших снаряда попали в православное кладбище и черно взметнулись там. Нарушая чьи-то могилы.

Записав, как полагалось, число выпущенных снарядов, их назначение и результат, Лаженицын готов был и к следующей работе. А дальше пошла ещё интересней: намеревался подполковник сегодня поработать с новыми 36-секундными трубками, прибывшими к ним пока малой партией. Два года бригада воевала с 22-секундными, дальность шрапнельного выстрела пять вёрст, и при такой местности, как сейчас, когда нельзя было для пушек найти закрытой позиции ближе Дряговца, вся их шрапнельная стрельба велась лишь по самому переду немецкой обороны. Трубки в 36 секунд горения удлиняли выстрел, захватывали лишних две версты в глубину неприятеля.

Готовили новые данные по развёрнутой на бруствере карте двухвёрстке, где *спичкой* называет безграмотная пехота две версты. Командовал подпоручик выстрелы, потом наблюдали за далёкими белопушистыми дымками своих шрапнелей. В этой стрельбе уже не было грозности, одна математическая и внешняя красота. Истолковывали результаты.

Эта их стрельба никак особенно не меняла мирно-боевого дня у неприятеля. Редкие одиночные выстрелы не сгущались ни к какой определённой цели, были мерным явлением надфронтового воздуха. Только умный наблюдатель мог бы догадаться, отчего так глубоки разрывы, что не позиции сменили, а появились у русских новые трубки.

Один раз под их шрапнелью понесло повозку и свалило вместе с

конями. Ещё раз подтянули они разрывы, сколько могли, к стволовичскому костёлу, а там у немцев безусловно наблюдательный пункт.

Была гордость в этой приравненности работы и мысли подполковника и подпоручика. Попирали локтями одомашненную малую поверхность брустверной земли, уложенную дощечками, чертили, считали и толковали не командно-подчинённо, а — даже бы сказать дружески, если бы голос подполковника не обладал особой формой вежливости, с ледком отдаления, не исчезающим никогда. И всё ж невольно своя отличённость среди других офицеров батареи, своя особая смышлёность и пригодность к делу поднимали Саню.

Разрывы шрапнелей от раза к разу становились всё белей, всё ярче и красивей. И только в конце подполковник и подпоручик поняли, отчего: за двух- или трёхчасовой работой изменилась погода: никакого уже полусолнечного просвета, а тучи плотнились, темнели. И замглилась, закрылась дальняя крутизна над Колдычевским озером.

Всё, что хотел, подполковник Бойе выполнил и собрался уходить. Тут Саня решился ещё раз приступить об обещанном отпуске орудийному фейерверкеру Благодарёву. Решился, хотя подполковник отучил подчинённых по одному вопросу обращаться дважды: разрешено ли, нет, одним разом должно кончаться. Но сегодня так чувствовал Саня, что можно попытаться.

Благодарёва намеревались отпустить ещё месяц назад. Был слух, однако, что есть государев приказ прекратить отпуска нижним чинам, и подзадерживали их. Тут пришёл и приказ главнокомандующего фронтом Эверта: с 1 октября отпусков нижним чинам не давать. Как и всякий приказ с большого верха, здесь, на низах армии, он казался бессмысленным. Если бы были признаки близких больших передвижений фронта, подготовки к наступлению у нас или у немцев — но этого не ощущалось и не могло возникнуть внезапно. Всего верней, они целую зиму вот так же тут простоят, никуда не продвинутся, и без серьёзных боёв. Был бы недостаток в людях, некем заменить отпускников — но разные виды недостач испытывал корпус, только не в людской численности. Так славно бы ездили люди пока к семьям и к хозяйству, и были отличившиеся,— нет! Высокий далёкий командующий, никогда тут не бывавший, только по своей немецкой фамилии известный, и то лишь офицерам, перерубил десяткам тысяч солдат их радостную надежду, схватывающую сердце. И уж честно бы объявить перед строем, пусть слышат и знают все, — опять-таки нет! Приказ был как бы секретный, командиры батарей прочли его под расписку, а солдатам, которым обещано и которые ждут, должны были невразумительно, стеснительно отказывать взводные командиры.

Этих общих аргументов Саня, конечно, не привлёк, подполковник не принял бы сомнений в мудрости эвертовского приказа, но лишь об одном Благодарёве, таком лёгком при невзгодах, таком охотливом на всякое обучение. А главное — во время пожара растаскивал снаряды, лез в опасность, но в штабных дебрях был затерян его наградный лист, и лишь недавно, позже других, пришёл крест и Благодарёву, и так уж заслужен был отпуск со всех сторон — очередной, внеочерёдный — а вот отрубили! Уже не в землянке, при телефонистах, а за подполковником под парусину нырнувши в ход сообщения:

— Господин полковник, осмелюсь ещё раз... С Благодарёвым... Очень уж обидно, стыдно. Так у нас вся служба развалится. И Георгий ему затеривался. Нельзя ли что... именно для него?

Светлей, чем в блиндаже, но и тут уже сильно посерело. Подполковник был без пенсне, козырёк фуражки насунут к бровям, и не так много оставалось усам ещё взброситься, чтоб и козырька достичь. Симметричен, прочен, твёрд. Вдруг, как бы принимая подпоручика в сообщники, сниженным голосом:

— Конфиденциально скажу вам, что генерал-майор Белькович сейчас уехал, а заменять его будет полковник Смысловский. И вот он —

может отпустить, на свой риск. Я пожалуй... — подумал, — обращусь к нему. Или в удобный момент позову вас.

Саня обрадовался, будто в отпуск его самого:

— Вот спасибо, вот выручили, господин полковник!

Безулыбчивый подполковник всем неотклонным видом выражал, что на службе «спасиба» не бывает.

Ушли с ординарцем, ещё долго — по ходам сообщения.

Поработали как будто и ничего, да заниматься бы этим старшему офицеру, если был бы он настоящий кадровый, но только пушечки скрещенные на погонах, а стреляет плохо, на посрам и постыду унесёт снаряды невесть куда. И всей боевой частью занимался Бойе сам. А выбудь завтра он из строя — кто поведёт в следующие часы главную стрельбу? Подполковник и готовил к этому Лаженицына, впрочем не объявляя ему о том. Ни начальника связи, ни начальника разведки, по штату теперь обязательных, в их батарею тоже не достало, заменены были унтерами. И не хватало по всей Гренадерской бригаде опытных фейерверкеров, нераспорядительностью первого периода войны натисканных даже и в пехоту и там перебитых.

На нынешнем участке, под Крошиным, держали немцы против Гренадерского корпуса — всего дивизию, и то ландверную, второго разряда, — а не ощущали гренадеры своего перевеса, способности двинуть тараном. Не ландвериcты, конечно, держали их, но многие средства технического перевеса немцев — тяжёлая артиллерия, избыток снарядов, пристрелка с аэропланной коррекцией и поражающие русских солдат новинки: сперва бомбомёты, потом миномёты, блиндированные автомобили, газовые атаки, теперь траншейные пушки и огнемёты. А на днях 22-й ландверный полк, стоявший как раз вот здесь, левей Дубровны, был обнаружен... в Румынии! Т а м обнаружен, а его исчезновение отсюда гренадеры пропустили... Показывал неприятель, во что он ставит русских гренадеров: против корпуса и польской стрелковой бригады оставил тонкой цепочкой ландверную дивизию без полка. Это оскорбление Бойе воспринимал как собственное, ему лично.

Но так заклинилась позиционная война, что и перевеса использовать было нельзя: на целых армейских участках всё связалось и окостенело. Так усложнились, возвысились все решения войны, что нельзя было и пошевельнуться меньше, чем целым фронтом. Оставались — поиски и демонстрации.

Такой поиск был устроен трое суток назад левее их, на участке 2-й Гренадерской дивизии. После полуночи пустили на неприятеля газ, рассчитывая, что ветер достаточно устойчиво дует восточными румбами от Крошина и спящие в окопах немцы будут все потравлены. Но когда после рассеяния газа и при артиллерийском сопровождении батальон Самогитского полка подошёл к немецкой проволоке — он был внезапно освещён прожекторами, шквально обстрелян и отошёл как попало, потеряв 55 гренадеров и 2 офицера.

Да весь их Гренадерский корпус с более чем столетней историей, участник Бородинского боя и взятия Парижа, давно ничем не подкреплял свою старую славу. И сегодня репутация корпуса не стояла высоко, мало кто мог истолковать, какое превосходство или какую издавнюю особенность выражали жёлтые солдатские погоны, жёлтые просветы на офицерских, а на пуговицах — граната с пламенем. Корпус не отличился в турецкой войне, вовсе не участвовал в манчжурской, а Ростовский полк даже был причастен к московскому бунту 1905 года, хотя 1-я артиллерийская бригада, напротив, обстреливала восставших. Корпус многие годы стоял в Москве, оттого офицерский состав пополнялся и лучшими выпускниками училищ и пустыми баловнями с протекциями, и ещё давал промежуточное, проходное назначение офицерам гвардии и генштабистам, кто не успевал и не намеревался срастись с гренадерской дивизией. Менялся, дёргался и характер командования — то ведение непростительно мягкое, то непомерно грубое, как у Мрозовского, не от-

личавшего превосходительное от самовластного, и это лишало постоянных офицеров уверенности, вынуждало опасаться начальства более, чем боевого неуспеха. Корпусу достались тяжёлые бои в 14-м и 15-м годах, и лишь единственный стал победой — под Тарнавкой, остальные — по преимуществу неудачны, иногда с крупными поражениями, как под Гораем и на Висле. Если же полки одерживали свои отдельные победы, то происходило это обычно в переподчинении, под чужим командованием. У начальника 1-й Гренадерской дивизии Постовского побед вообще не бывало. Корпусной командир Мрозовский растеривал гренадеров в злосчастных сражениях, расстроил полковые и батарейные хозяйства, конский состав — и с повышением перешёл командовать Московским военным округом. Не подвержена осуждению августейшая воля Верховного вождя российской армии, но взамен Мрозовского был прислан вытянутый из забытья и презрения 70-летний Куропаткин, однако неутомимый восстановить свою полководческую честь. Что он, правда, умел — это обойти солдатские землянки, заглянуть в котлы, наладить бани и почту, и в этом всём корпус поздоровел. Но и Куропаткин успел согнять гренадеров в неудачное наступление, не разбирая путей, на открытый обстрел и гибель, — и так же с повышением перешёл командовать Северным фронтом. За два года войны Гренадерский корпус пробыл в резерве всего пять дней, вот уже больше года стоял в болотистых низинах, непрерывно ведя сапёрные работы, переуступал изрытые участки соседям, и снова копал и копал еженощно, чтобы сблизиться с неприятелем на штурмовую дистанцию.

За эти годы коренным гренадерам, как Бойе, не оставлено было первой офицерской радости — гордиться своею частью. Преграждено было им прошелестеть старыми знамёнами, а оставалось лишь свою фигуру держать молодечески да повседневным корпением как-то подтаскивать всех этих подмененных офицериков и солдатиков под ветшающую сень XIX века.

Тем временем на наблюдательном пункте малословного тихого Занигатдинова сменил гордый Пенхержевский и с сильным польским акцентом проверял линии. А сменный наблюдатель, подпрапорщик, ещё не пришёл. И хотя не было у подпоручика обязанности ожидать его, но этикет требовал ещё остаться и после командира батареи. Он снова подошёл к обзорной щели, стоял, наблюдал, иногда записывал:

«15.10 — Пулемётная щель № 2 оживлённей других. Била по нашим передвижениям в 3-м батальоне.

15.36 — Густой миномётный обстрел из-за Торчицких высот по окопам 1-го батальона. Мин до сорока.»

Стояли миномёты как раз в том райском месте, за Торчицким обрывом...

Хороший день прошёл. Довольное состояние от удачной работы, отличие перед командиром и теперь надежда с Благодарёвым соединились в Сане. Хорошо.

Хорошо, перекладывал он по брустверу долгий зазубренный осколок, влетевший к ним сегодня в щель при утренних близких разрывах.

Хорошо-хорошо, а не по себе. Отличился — а неловкость: лучше других соображает — вот и будут его выдвигать. На э т о.

Да такую миллионную войну кто бы перенёс, если б каждого надо было убивать лицом к лицу, видя? Например, из своего револьвера Саня никогда в человека не стрелял, и никогда не выстрелит.

А за осмысленными расчётами, углами, дальностями, транспортиром, ощущаешь сторонность. Безвинность.

Наблюдать было всё хуже, видимость быстро сокращалась. Уже не видно было тополевой придорожной обсадки к Стволовичам. И даже близкое кладбище затягивалось влажной пеленой.

А хорошего настроения не осталось. И чем он сегодня увлёкся? От-

чего так был возбуждён? Как холодным осенним помелом выметало из груди.

В такую пасмурность точнее наблюдаются вспышки орудий, и опасней стрелять самим: становится видно, как пламя вылизывает из ствола, выдаёт.

Выметало из груди как мокрые старые листья, и так пусто-пусто становилось. Стоял у щели, рассматривал сегодняшнего себя деятельного. И не узнавал.

Всё меньше виделось, всё короче. Затихали стрельба и движение с обеих сторон, всех давила мокрая предвечерняя мгла.

Одиноко — и виновно. Безвинно — и виновно. И никому этого не расскажешь.

Закрапал и дождь. Понемногу, но не переставая. В блиндаже наблюдательного стало ещё сырей и прозиобистей. Сегодня-не сегодня, а начиналась третья военная зима, и даже офицеру трудно было не чувствовать угнетённости.

Бинокль повесив на шею, под шинель, нахлобучив отлогу плаща поверх фуражки, побрёл и подпоручик на батарею. В глинистом ходе уже было скользко, и он отирался о мокреющие стенки — об одну противогазной сумкой, о другую — крупной кобурой ненужного револьвера.

По брезенту, по голове, слышался ровный стук капель.

А довольно уже было серо, чтобы пойти к Дряговцу и открытым местом. Саня сильно подпрыгнул, навис на край траншеи, измазавшись о глиняную стенку, вылез на траву — и бодро пошёл теперь напрямик, скорей в свою тёплую землянку, да обсушиться, да поесть горячего. Посвободнело, что не месил унизительно грязь по норе, а шёл, как отпущено человеку.

К чему он мечтал в жизни приложиться — к словесности, к философии — не видно, будет ли когда. Вот и много досужего времени, хоть и стихи пиши — а ведь бросил, не пишется. А чем он вложится в общий ход событий — это вот такими стрелебными днями, развороченными проволочными заграждениями, подавленными пулемётами, посеченными перебегающими фигурками. И многими-многими донесеньями, отчётами, кроками, написанными, нарисованными его рукой.

И так же у его солдат — Благодарёва, Занигатдинова, Жгаря, Хомуёвникова, кроме хорошего или плохого обращения с оружием, амуницией и лошадьми, смётки по службе и выполнения устава — у каждого была ведь ещё своя долгая жизнь, своя любимая местность, своя любимая или нелюбимая жена; и ещё по нескольку детей; потом у каждого хозяйство или ремесло, и много соображений вокруг того и свои замыслы; и кони — собственные, не с казённою биркой в хвосте, или охота, рыболовство, или сад; и всем этим, а не величием России и не враждою к Вильгельму жил каждый из них, — и только об этом, кто внятнее, кто невнятнее они в ночных землянках рассказывают друг другу, да и офицеру, поговори с ними ласково. В родных деревнях и местечках ещё что-то знают о них другие по их делам, но это не выходит дальше околицы. И вся подлинная суть их жизни никогда не будет никому сообщена — и как ей отозваться на движении человечества в крупных чертах? Чем же Улезько, Хомуёвников или Пенхержевский повлияют на судьбу своей страны, а то и всей Европы, — это чисткой орудийного ствола, проворностью подле пушки, с лопатой, да быстротою сращения телефонного кабеля.

Но если движение человечества не складывается из подлинной жизни людей — что́ тогда люди? и что́ — человечество?

~~~~~~

СЖИЛСЯ С БЕДОЮ, КАК СО СВОЕЙ ГОЛОВОЮ

~~~~~~

3

Три взводных командира жили в общей землянке, построенной в сухое тёплое время. Она нигде не мокрела, довольно глубока, так что нагибались только в двери, и была перекрыта привозными шестивершковыми сосновыми лежнями вперекрест. Стены одеты жердинником, пол настлан досками. Батарейный жестянщик сколотил им печку, хваткую на дрова, с весёлой гулкой тягой. И когда натоплена, эта землянка была теплей и уютней любой комнаты. Между столбами приладились полки, забились гвозди и гвоздки, развесились шинели, шашки, револьверы, полевые сумки, фуражки, полотенца и — гитара, на которой играли, каждый по-своему, и Саня и Чернега. Маленькое окошко выходило в донце прокопа, днём бывал свет. Строганый стол на скрещенных ножках давал простору и для еды, и для офицерских занятий, хотя теснило одно другое. Походных раскладных офицерских кроватей не было ни у кого из троих, а при откопе оставлена одна высокая и длинная земляная лежанка Устимовича, «купеческая» называли её, да к другой стене пристроены две жердяных койки друг над другом: не то чтоб не было места поставить третью на полу, но придумал так Чернега, потому что любил спать и сидеть где-нибудь повыше, как на печи или полатях. Хотя он был старше Сани на шесть лет, а плотней и тяжелей намного, он легко взбирался наверх двумя взмахами и оттуда шлёпался прыжком. Уж теперь и вообразить эту землянку нельзя было иначе, как с Чернегою, зубоскалящим сверху вниз. Света настольной лампы туда не хватало читать, да Чернега и смаку не имел читать.

Так и сейчас, когда Саня, промоклый, пригнулся в двери и вошёл в землянку (вестовой Цыж, подкарауля подпоручика, уже кинулся к своей землянке разогревать обед), Терентий лежал наверху, считая брёвна в потолке. Перевалился набок и рассматривал пришедшего, как он мокрое тяжёлое снимал с себя и развешивал.

— М-м-м, это уж такой разошёлся?

Пока Саня шёл — не замечал, а дождь-то усиливался всю дорогу. Печка не горела, но тепло в землянке.

На шаровидную голову Чернеги с толстыми щеками, малыми ушами нельзя было посмотреть и не улыбнуться:

— Уже забрался? Не рано?

— Та вот, сидит куцый и думае — куды ему хвост девать.

— И — куды ж?

— О такой дождь? И тёмно?

— Сейчас ещё видно немного, а через полчаса в яму свалишься.

Переваленный на бок, сюда лицом, не одетый, не раздетый, уже в сорочке, но перехвачен подтяжками и в шароварах, а ноги босые:

— Не знаю. Шлёпать до Густи? Але не?

Одинаково было Чернеге доодеться или дораздеться. А Сане приятней, чтоб он остался, — Устимович на дежурстве, почему-то не хотелось одному. Но посоветовал, как считал для приятеля лучше:

— Пока ещё видно — шлёпай быстро.

— А назад? — надул Чернега губы, пыхтел, как трубач в мундштук. Так упирался, как будто ие сметана ждала там его сырную голову («с польской споткáлся — был бы глодный!»).

Саня, уже без шинели, без ремня и в гимнастёрке, мокроватой по-за плечами, навыпуск (с Георгием, так и попадает сам в косое зрение), с натягом стянул мокрые сапоги, надел чуваки из обрезанных валенок, была у них тут такая домашняя сменная обувь, на одного Устимовича не налезала, и стал прохаживаться по нешаткому неструганому полу. По дурной погоде — да пошли Бог спокойный вечер и спокойную ночь. Бывает тут, в землянке, прикрыто и покойно, как дома не всегда.

— Да! — вспомнил. — Тут кидала, наверно шестидюймовая, — близко?

— Прям по второй батарее! — прукал губами Чернега, беспечно.

— А я только от Дубровны отходил — вдруг, слышу, бьют, десять снарядов — и за Дряговец. Сказать, что ответили нам — так будто не нам. А где-то близко.

— По второй батарее, — кивал Чернега. — В одном орудии щит погнуло, колесо снесло. Троих ранило. А лошадки далеко стоят, ничего.

— А кто видел?

— Сам ходил.

— Да ты ж дома сидел?

— Так тут близко, сбегал.

Чернега б — да на месте усидел, полверсты сбегать — посмотреть! Толстота ничуть не мешала ему прыгать и бегать, толстота его вся была силовая.

— Чевердина не знаешь там такого, хоботнóго? Длинного, с бородой мочалистой? Тагильский.

— Да, кажется. Да.

— В живот его. Везти боятся, не довезут.

Опять холодным помелом, из груди.

Вот как. Сушись, уютно, распоясался, чувяки. А солдат рядом Богу душу отдаёт. Да уж привыкнуть бы, кинет ночью и на нас шестидюймовый — не помогут брёвна наката.

А Цыж — проворный, заботливый как дядька, несёт духовитые щи — так щи!

— Просто запахом сыт! Ну и Цыж!

Да и хлеба мягкий сукрой, поперёк всей хлебины отрезанный, это же надо так ещё отрезать, долгим овалом, чтоб от края до края сколько раз откусить, жевнуть, пока добраться. И ещё отдельно — луковичка сырая.

— Ах и Цыж! — усаживался Саня за стол и ложку скорей окунал.

Уже в летах, пятеро внуков, подвижный хлопотной Цыж столовал всех троих взводных. Это Саня и предложил, чтоб не ухаживал за каждым отдельный денщик, стеснительно, а один бы всех кормил, других примкнули к строевому делу.

Но запах достигал наверх пуще низового. И Чернега, избочась на верхней койке, втянул широким носом:

— Цыж! А — щей не осталось?

— Эх, вашбродь, — сожалел небритый Цыж, будто самому не хватило, — последние вычерпал.

Откинулся Чернега на подушку.

Саня хоть очень раззарился на щи, а позвал:

— Иди, хлебни, уступлю.

— Не надо, — сказал Чернега в потолок, — ты сегодня назяб.

— Да иди, ладно!

— А греча — есть лишняя, вашбродь. Сейчас гречу принесу, удобренная!

— Так давай, не томи! — скомандовал Чернега.

Уковылял Цыж поспешной развалочкой.

Чернега постучал по барабану живота:

— Два часа как пообедал, а из-за тебя вот... У Густи, небось, и курёнок припасён. Пойти, что ли?

За позициями невыселенные деревни давно привыкли к войне, жили своей обыденной жизнью, кроме обычных крестьянских заработков открыт им был извоз для армии, плотникам — укреплять ходы сообщений, парнишкам и девкам по 16 лет — копать вторые линии окопов, всем платили и ещё всех кормили с солдатских кухонь. И мужики, кому подходил призыв, некоторые как-то принимаемы были в ближние части, и в их батарею тоже. И во многих избах стояли военные постояльцы, порой и на поле выходили за хозяев, и бельё хозяйкам отдавая — не так стирать, как в подарок: армия богатая, всё новое выдавала. И тайно

ещё укрепляя и расширяя эту и без того широкую семью, иные удальцы, как Чернега, завели в деревнях полюбовниц и хаживали к ним.

Свесил Чернега в шароварах босые ноги с короткими крупносуставными пальцами и шевелил ими вопросительно:

— Пойти, что ли?.. Хоть на два дня весёлая будет. А то заскулит.

— Ну, ты ж не скулишь, как-то живёшь.

Когда Чернега на своей койке сидел, голова его, мягко облепленная недыбленными волосами, была под самым накатом, фуражки надеть уже нельзя, тем более рук поднять. Так он раскинул их, как растягивая широченную гармонь, и затрясся мясистым телом под сорочкой:

— Ну, сравнил! Ну ты, Санюха, скажешь! Ну, уж чего не знаешь — бы не лез! Да у баб рази — как у нас? А отчего, ты думаешь, они весёлые или хмурые? да всё от этого, было или не было.

Мало что — сверху нависал, но — силища, но — смех уверенный, спорить с Чернегою было не Сане. В студенчестве это всё понималось настолько тоньше, а в армии, в постоянно-плотной мужской среде, в казарменных вечерних разговорах — сплошь все говорили так, или не говорили вслух другого. Поражён был, обижен за женщин Саня, но спорить — немел, какой у него был опыт?

— Ну, Терентий, не только ж от этого, — всё же заикнулся.

— А я тебе говорю — только от этого! — крикнул Терентий и схлопнул звонко ладонями. — Другой причины — не бывает! Кажется, замучилась, ног не таскает, а только пощекоти, а?!. Иногда и подумаешь, правда: что-то у неё кручина на сердце? Может, горе какое? А повалил, отлежалась, отряхнулась — и такая сразу весёлая, бойкая к печке побежала пышки печь! — хохотал Чернега. — Простофиля ты, Санька. Да впрочем, молод. Ещё насмотришься!

И столько раз уж он Саню вокруг этого на смех поднимал. Но всем саниным представлениям о жизни и человеке претил такой низкий взгляд. Не могло бы так быть! Никак этого быть не могло!

А Цыж нёс гречневую кашу: подпоручику — с обеденной порцией мяса, прапорщику — просто так, но торчал из миски черенок деревянной ложки стоймя.

— Сюда, сюда! — брал Чернега миску сверху, не спускаясь. И вот уже широкую деревянную ложку вваливал в рот, нисколько этим не раздирая губ. А лбом чуть не касался верхних брёвен.— Ничего-о, ничего-о... А у Густи б ещё и молочком залил.

Со вкусом кашу убирал. Присмотрелся, как Цыж наследил на полу мокредью и шевырюжками глины:

— Эт'такая слякоть? О здесь, у нас? Не, не пойду. Дуракив нэма.

Миску сбросил Цыжу, ноги опять вскинул:

— Отчего солдат гладок? — поел да и набок.

Перекатился на спину. Смотрел в брёвна.

И вслух размышлял:

— А думаешь, Григорий чем возвысился? Да слухала б она его иначе? Давно б уже в Сибирь шибанула. Значит, мужик справный. Бабе чуть послабься — сразу она брыкается.

Всё было Чернеге ясно, и возражать ему бесполезно. В том чаще и состоял их разговор с Саней, что спорить — хоть и не начинай.

А — дружили.

Саня кончил обедать, сидел над опустевшим столом, рассеянно собирал и в рот закидывал последние хлебные крошки:

— Да-а... Роковые Гришки на Россию. Как нам худо, так и Гришка появляется. То Отрепьев, то...

Отпыхнулся Чернега:

— Да при чём тут Гришка? Войну им — Гришка что ль начал? Самих в сортир потянуло. Вот и за...лись.

Но всё-таки... всё-таки Сербия?.. Бельгия?.. И откуда-то же брались эти фотографии и рассказы о зверствах немцев, как нашим пленным резали уши и носы? (Правда, на их участке никогда ничего подобного не

бывало.) А Чернега, по своей силе, подвижности и приспособленности к веселью воюя легче других, однако понимал эту войну куда мрачнее Сани — лишь как всеобщую затянувшуюся чуму, у которой ни цели, ни смысла быть не может.

Саня поднялся от стола, Терентий вспомнил:

— Э-э, ты отдыхать? Подожди, голубчик, ещё поработай!

— А что?

— А вон, приказы лежат, — кивнул на кровать Устимовича. Саня и правда видел ворох, не обратил внимания. — Уже все прочли, ты последний. Читай, читай и расписывайся. Барон заходил, взять хотел — я для тебя задержал, до утра.

«Барон» был барон Рокоссовский, старший офицер 2-й батареи. Этот «барон» почему-то Чернеге особенно приходился. Баронов, графов, князей он сплошь не любил, заранее материл, но что-то чудно и гордо ему было, что вот, узнав себя офицером, стал почти наравне с *бароном,* в одном офицерском собрании. И не звал его никогда ни по фамилии, ни капитаном, а всегда — барон. Кадровые между собой чинились, гордились, сравнивались: мол, Михайловское училище старше Константиновского, — а мы вот, судженско-сумские, с вашим бароном рядом, и хоть очи ваши повылазьте!

Подошёл Саня к широкой кровати Устимовича, охватил двумя руками эту россыпь подшивок, подколок, скрепок, на белой, бурой, розовой бумаге, то в ширину, то в длину и с подгибами, исполненную многими писарскими почерками, разными пишущими машинками, лентой фиолетовой и чёрной, — о, с каким усердием это всё составлялось! Сколько же тут было читать! если подряд и подробно — полно́чи верных. Да, вот это равняло позиционное стояние с жизнью тыла. Когда грозно двигался фронт и столбы пожаров стояли в небо, тогда почему-то не писали и к сведению не приносили этих несчётных приказов и распоряжений, бурная подвижная война текла и без них. Но едва она замедлялась, становилась легче и могла бы дать передых, покой, — как бить начиниала эта прорва приказов и с каждым месяцем неподвижной войны всё увеличивалась. Много писанья требовали с офицеров, но и наверху не ленились! Из боязни же как-нибудь при случае не оправдаться документами, войска подолгу не сдавали и не уничтожали старых дел, а все эти кипы таскали, возили с собою.

Однако, делать нечего, просмотреть и что-то в голове иметь надо, не то завтра же и ошибёшься.

Тут были приказы по Западному фронту, по Второй армии, по Гренадерскому корпусу, по 1-й Гренадерской бригаде — и только по их дивизиону приказания, к счастью, отдавались не письменно, хотя и была в дивизионе своя пишущая машинка и без дела тоже не стояла, все журналы боевых действий перепечатывались на ней.

На чистый конец стола переложил Саня этот ворох, туда пододвинул керосиновую лампу и стал смотреть подряд, какая бумажка попадалась сверху: приказы на расходование сумм... Казначею бригады титулярному советнику... вычеты с офицерских чинов на офицерскую библиотеку... на жетоны... в пользу семей убитых и раненых солдат... в пользу Михайловского учебно-воспитательного... из офицерского заёмного капитала... из суммы бригадного собрания... Деньги на покупку богослужебных книг дивизионному мулле... Поименованным писарям дозволяется держать экзамен на право удостоения их к...

Как ни бегло, как ни с досадой, но только глазами пробежать — не меньше тут двух часов. А совсем не этого хотелось. Прильнувшая холодная полоска тоски требовала чего-то чистого, на чём душа успокаивается.

...Фельдшер имярек командируется в Несвиж за медикаментами... в Минск за покупкою керосина... Бомбардир имярек за подковами... Младший фейерверкер 5-й батареи вступил в законный брак с крестьянской девицей... внести в его служебную книжку... Прапорщику тако-

му-то выдать пособие в размере 4-х-месячного оклада на покупку упряжной лошади и экипажа...

— Да ты чего ж про себя, ты вслух читай!

— Зачем вслух?

— А я — плохо читал, я ещё послушаю.

— Терентий, это долго...

— А куда тебе торопиться?

— Да тебе ж идти надо...

— Да я, может, и не пойду. Читай! — Как будто книгу приключений или любовную историю ожидая, удобно устроился Чернега на боку, лицом к Сане, голова шаровая к подушке. — Читай!

Не мог Саня отказать... Сколько глаза просматривали и сколько язык выборматывал вслух, пропуская, пропуская...

— ...Прибавочное жалованье за георгиевскую медаль... Для смазки обуви 24 золотника в месяц на нижнего чина... Повозка для противогазного имущества... Согласно приказа военного министра № ... нижеследующих подпрапорщиков допустить к экзамену на прапорщиков...

— Так-то так,—возразил Чернега.—А все же *хвит*фебелем лучше. Власти больше. — (А Саня пока два приказа просмотрел про себя.) — Зато на прапорщиках армия держится... Ну, чего ж перестал?

— ...с корпусного вещевого склада в Минске офицерские сапоги отпускаются по 16 р. 25 к. ...

— Хо-го! Кусаются. А купить надо, мои худоваты уже.

— С ... числа начать выдачу нижним чинам ватных шаровар, телогреек, бушлатов, полушубков, байковых портянок...

— Идэ лютый, пытае — чи обутый.

— ...по провиантскому, приварочному, чайному, табачному, мыльному довольствию... Ввиду сокращения производства коровьего масла в Империи, с 1 октября сего года заменить 50% коровьего масла растительным... С 15 октября нижним чинам сахару в натуре давать только 12 золотников, а 6 золотников заменять деньгами...

— Да-а-а... В Четырнадцатом году валили в день по фунту мяса, хоть брюхо лопни, да четверть фунта сала, широко жили, собакам кидали. Теперь бы тем салом кашку заправлять.

Цыж это слышал, медный чайник внося, ещё пар из носика:

— Ничего, вашбродь, грешно жаловаться. Полфунта мяса и теперь есть. И фунт сала на неделю.

Цыж незаметно делал различие, что настоящие офицеры только с подпоручика, их называл «вашблагородь», а прапорщиков — «вашбродь». Но так это быстро языком, ухватить некогда.

Налил густо заварного да опять же пахучего в подпоручикову глиняную кружку. Заваривал Цыж по два раза в день, оттого всегда духовито.

А сахар у господ офицеров — в сахарнице.

И тарелки убирая, и со стола вытирая:

— Что ещё, вашблагородь, прикажете?

— Мёду жбан! — протрубил Чернега.

А Цыж, уже с пепелиной в волосах, улыбаясь, тряпку белую — на рукав, как полотенце трактирный половой:

— Так что, рой отлетел, вашбродь. Мёд — на тот год.

Этим тоже владел Цыж — что война любит весёлый дух. Знал он, что у господ офицеров всегда заботы и неприятности. Может, и своих у него доставало, а покушать подать не просто надо, но весело: как будто домой пришли, к жёнке.

А стеснение — постоянное, что тебе услуживает годный тебе в отцы. Привыкнуть к этому невозможно. И к печке покосясь — приготовлено всё и там аккуратно, улыбнулся подпоручик:

— Ничего больше не надо, иди ложись. Да, только вот что: найди Благодарёва и скажи — пусть он ко мне придёт... ну, через полчаса.

На очищенном протёртом столе разложась теперь пошире, читал дальше. Тут шла пачка приказов по цынге. Цынга схватила бригаду в середине лета: хлеба, каш, мяса и рыбы вдосталь, но ни зелени, ни молодого картофеля, и не накупить в соседних сёлах, а привозить самим из Империи запрещено распоряжением Главнокомандующего. Да не только из-за пищи, но от постоянных ночных работ весны и лета, от недостатка отдыха разразилась цынга внезапно, и болели и сдавали многие, и не так быстро было придумано, разрешено и устроено: отбирать слабосильных и предрасположенных, помещать в санатории Земсоюза, где ждал их полный отдых и зелень; частям добывать картофель, капусту и бураки собственным попечением, даже и внутри Империи. И вот уже цынга отошла, а запоздалые приказы настаивали и настаивали: сколько раз в день и как именно проветривать землянки; добавлять окна, строить нары, на земле солдатам спать не давать или прокладывать ветки под матами; и как кого когда отводить на отдых...

— Голосом, голосом! — требовал неуёмный Чернега.

— Я думал, ты спишь. А может чайку?

— Не, без мёда не буду.

— ...Недоуздки, уздечки, попоны, скребницы, щётки, овсяные торбы, лошадиные противогазы... Коня Шарлатана, срок службы 1909, переименовываю в казённо-офицерского, а казённо-офицерскую кобылу Шелкунью — в строевую для нижних чинов...

— Шелкунья, подожди, это гнедо-лысенькая, на передней правой по щётку? Хороша ведь ещё! Меняет, лучше нашёл?

Уж своего-то дивизиона коней Чернега всех знал в лицо и наперечёт, но и из других дивизионов многих. Тут дальше длинное шло перечисление о перемещении лошадей из разряда в разряд — офицерских собственных, строевых фейерверкских, верховых артиллерийских, упряжных артиллерийских, обозных — Шороха, Шведа, Шута, Шатобриана, Штопора, Шурина, Шмеля, Шансонетку, Шпиона, Шанхая, Щедрого, и обо всех передаваемых шла подробная опись по статям, мастям, лысинам, звёздочкам, особым приметам, и всё это подписывал лично командир бригады, читая ли, не читая, а Саня о чужих батареях и дивизионах пропускал бы, но Чернега оживился, свесил как плеть руку толстую короткую, помахивал, требовал, хвалил и бранил:

— Да разве в ремонтных депо это теперь соблюдают — по разрядам?! Рассылают как-нибудь, лишь бы счётом. Пока на месте стоим — ничего, а ну-ка завтра *начнись?* Каждая лошадь должна своему месту соответствовать!

Саня и сам любил лошадей и понимал кое-что, но не так же, как Чернега, не с такою страстью: по второму разу слушал и по каждому коню соглашался или не соглашался, видел небрежение или чьё-то жульничество.

— ...При проверке... у некоторых лошадей оба задних шипа в подкове острые, что ведёт к засечкам...

— Сволочи! Вас самих бы так подковать!

— ...Нижепоименованных собственных офицерских зачислить на казённое довольствие... Нижепоименованных узолить в первобытное состояние... Из бригадного скакового капитала в московском Купеческом банке...

Так ему всласть всех лошадей перечёл и только тогда увидел:

— Да ты надо мной смеёшься, что ли? Ты главные приказы — вниз подложил?

— Так это Устимович. Как читал, так и кидал, значит подниз.

— А ты б наоборот!

— Так он мне тоже вслух читал, я-то что?

Раздосадовался Саня. Тихий вечер, на что-то хорошее годился, а пробалтывался зря, через эту труху.

— Не, Санюха! — просил Чернега, не давал просматривать. — Голосом читай! Голосом!

Наверняка хитрил Чернега: два раза прослушать, а самому ни разу не читать. «Я из книжек не понимаю, я только сам по себе понимаю»...

А тут-то и пошли оперативные приказы. ... В полках иметь «газовых комендантов» — специально проинструктированных офицеров.

Уже был такой у них в дивизионе, Устимович. Ему и читать.

— ...На батареях иметь таблицы переноса заградительного огня со своих участков на соседние... Командирам корпусов...

— Сла-Богу, не нам! — гулко зевнул Чернега.

— ...Избрать, на какой из позиций... представить на кальке... В октябре усилить траншейные работы...

Какая-то шумящая пустота от прокрута всей приказной машины через твою голову. Одичание.

— ...Проволочную сеть довести до трёх-четырёх полос, каждая шириной... придать брустверам надлежащую высоту, замаскировать... Дивизионному и корпусному резервам выделять ежедневно на работы одну четверть своего состава...

— Не, не дадут покою! А цынгу — лечи! Левой рукой одно, правой другое... На нежо́нде Польска сто́е, але Россия — щегульне.*

Пяток немецких разрывов трёхдюймовых лёг не так далеко. Чуть звякнуло стекло в оконце, помигала лампа, и несколько крошек земли сыпанулось из наката.

Дальше много приказов шло о связи. ...Несмотря на запрещение, продолжают использовать голый телеграфный провод... запрещается заземление односторонней связи вблизи неприятеля...

Последние месяцы была переполошка с подслушиванием. Всё удивлялись, что немцы знают расположение и смену наших подразделений. Провели опыты с усилителем — оказывается, телефон легко перехватывается. И теперь:

— ...штабам армий выработать код слов и фраз и представить в штазап для выработки единого кода... Ну, дураче, зачем же *единого?*.. По Западному фронту. Сегодня, в день тезоименитства нашего Державного Вождя, Наследника Цесаревича, войска Западного фронта всеподданнейше приносят свои поздравления, возносят горячие молитвы... В ответ Его Величеству благоугодно было осчастливить меня следующей телеграммой... Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах... Главзап генерал-от-инфантерии Эверт... Его же: ввиду того, что до сих пор попадаются случаи назначения евреев на писарские и хозяйственные должности, а равно и в гурты скота, что безусловно недопустимо... немедленно убрать и впредь не назначать...

— Уб-рать хаимов! — подтвердил Чернега плетью-рукой наотмашь. — Так и липнут в нестроевые, как мухи к печке. Где лоб подставлять — это не их!

Остановился Саня читать, поднял ясные глаза:

— Но, Терентий, это же — развитые ребята. Есть студенты, у меня Бару — университет кончил. Из них каждый третий не то что писарем, мог бы и офицером быть.

— Да ты ополоумел — офицером?! — перекатился Чернега на самый край койки, грудью на последнюю жердь, вот грохнется на пол! — Да куды ж нас такие офицеры заведут? Они накомандуют!

— Ну, смотря какие. Есть, говорят, и георгиевские кавалеры.

— Вот разве что — говорят! Где-то есть, кто-то видел! Да сам подумай — на хрена им за Россию воевать?

Просто потешался Терентий над санькиной беспонятностью — чего тут не видеть, дураку ясно:

— Да ты пусти одного, завтра их десять будет! На голову сядут! Ты ещё глупенек, с ними не жил. Это говорится — равноправие. Только мы друг друга не вытягиваем, а они — вытягивают. И из равноправия

* На беспорядке Польша стоит, но Россия — еще больше.

сразу будет ихо-правие! Да ты завтра надень погоны на твоего Бейнаровича? — послезавтра сам из батареи сбежишь!

На Бейнаровича? Ну, Бейнаровича, с его чёрно-горящими глазами, всегда злыми, может быть, это Чернега подметил. Но — Бару? Образованный, воспитанный, сдержанный. Под его ироничным взглядом Сане всегда неловко: как ему приказывать, каким голосом, если он университет кончил, а Саня не кончил?

— Страна — наша или ихняя? — покачивал Чернега свешенной рукой-молотилкой. — У вас там, в степях, мабуть их нет? А пожил бы ты в Харьковской губернии, я б тебя тогда послушал.

Но хотя Саня и тихий был, а не поддавался легко. Не сразу скажет, и с улыбкой ласковой, а на своём:

— Так если страна не ихняя — зачем тогда мы их вообще в армию берём? Это несправедливо. Тогда и в армию не брать.

— Да хоть и не брать! — подарил Чернега. — Хоть и не брать, много не потеряем. Но — жители наши! живут-то у нас! Их не брать — другим обида, тогда и никого не брать, только кацапов да хохлов? Так оно и было поначалу — сартов не брали, кавказцев... Финнов и сейчас. Знаешь, сколько нашего брата перебили? В одной Восточной Пруссии?

Терентий только что вниз не соскакивал, а изъёрзался на своём малом верхнем просторе. Саня, хоть у него место было встать и пройтись, смирно сидел, облокотясь о стол, локтем поверх всех приказов, пальцы вроссыпь по лбу держа у пшеничных волос. Размышлял:

— Вот видишь, как получается: нагнетение взаимного недоверия. Государство не хочет считать евреев настоящими гражданами, подозревая, что они и сами себя не считают. А евреи не хотят искренне защищать эту страну, подозревая, что здесь всё равно благодарности не заслужишь. Какой же выход? Кому же начинать?

— Да ты сам не из них ли, едритская сила? — хохотал Чернега, откатясь на спину и руки разводя гармошкой. — Что ты так заботишься, кому начинать? Хоть бы и никому. Приказ ясный: гнать жидов из штабов! А почему они во всех штабах засели, это справедливо? Это — не обидно? Говорю тебе: ты ещё глупо́й, с ними не жил, не знаешь. Это народ такой особенный, сцепленный, пролазчивый. Это не зря, что они Христа распяли.

Саня отнял голову от руки, и наверх строго:

— Терентий, этим не шути, зря не кидайся. А думаешь — м ы бы не распяли? Если б Он не из Назарета, а из Суздаля пришёл, к нам первым, — мы б, русские, Его не распяли?

Перед глубокой серьёзностью своего приятеля, в редкие минуты, старший перед младшим, тишел. Ещё с последней шуткой в голосе отговаривался:

— Мы б? Не. Мы б — не-е...

Да вопрос-то не сегодняшний, чего и цепляться.

А Саня — как о сегодняшнем, а Саня если взялся, мягкий-мягкий, а не свернёшь, хоть ему чурбаки на голове коли:

— Да л ю б о й народ отверг бы и предал Его! — понимаешь? Любой! — И даже дрогнул. — Это — в замысле. Невместимо это никому: пришёл — и прямо говорит, что он — от Бога, что он — сын Божий и принёс нам Божью волю! Кто это перенесёт? Как не побить? Как не распять? И за меньшее побивали. Нестерпимо человечеству принять откровение прямо от Бога. Надо ему долго-долго ползти и тыкаться, чтобы — из своего опыта, будто.

4

Постучались:

— Дозвольте войти, вашбродь?

Голос — сдерживаемой силы, чтоб не слишком раздаться. А и через дверь узнаешь:

— Зайди, зайди, Благодарёв!

Нагибая голову и плечи даже, осторожно вошёл дюжий Благодарёв, осторожно дверь прикрыл, чтоб не стукнуть. Тогда только распрямился, и тоже не резко, не по-строевому, а всё ж от порядка без надобности не отходя, — руку к фуражке:

— По вашему вызову, ваше благородие.

Тут ему от землянки до землянки переступить пятьдесят шагов, без шинели, прикраплен дождиком по заношенным фейерверкским погонам с жёлтою каймой. Может, уже и ложился, а явился не распустёхой — пояс крепко схвачен, и на нём — кривой бебут, оружие батарейца, а темляк из белой кожи, фейерверкский. Не хмур, а без резвости: вызвали — пришёл, вот он, нате, приказывайте, хоть и вечер тёмный, да служба военная.

А у подпоручика защемилась мысль, не договоренная Чернеге, защемилась, помешала всякой другой — и сама забылась, ушла. Из-за этого — рассеянно, не переведясь:

— Так, Арсений... так... — и заметив, что нехорошо получилось, исправить надо, — присядь! садись, — к столу показал.

Благодарёв же понял, что утехи не будет — садись, мол, разговор не короткий, с порога обрадовать тебя нечем. Снял фуражку. (А волосы — уже и подлинней, в надежде домой.)

Он так и располагал, что не обрадуют, а всё-таки и не без надеи шёл: вдруг для *того?*.. Хотя, по всему солдатскому опыту: начальство, замок запря, отпирать не станет, не для того запирался. И как раз сейчас у себя в землянке около копчушки-гасника, на фанерную дощечку положив готовый складной листок для письма, дописывал на одной стороне, где место осталось, что, видно, скоро не приедет, как ему обещали. А места там — не разгонишься, на таком листике. Как он для заклейки сложен, на передней стороне зелёно-бурое поле, и по нему в атаку несётся страшенная конница, выхватя сабли, это ужасть на дороге ей попасться, да такие, сла-Богу, нигде теперь не скачут, но в деревне посмотрят — со страху затрясутся. Марка же — не клеится, с позиций значит. А на задней стороне — голубочки летят с письмами в клювах. И писать тоже-ть негде. Только мелко-мелко припечатано, у кого глаза хорошие: «дозволено военною цензурой». А ежели развернуть теперь — так две стороны и внутри. Но влеве опять же всё готово — красивыми такими синими буквами, как лучший писарь не напишет: «Дорогие и любезные мои родители! В первых строках моего письма спешу уведомить вас, что я по милости Всевышнего жив и здоров, чего и вам от глубины души желаю. И сообщаю я вам, что службой я доволен и начальство у меня хорошее. Так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь.» И — всё. И хочешь — сразу приветы передавай и на том подписывайся, готово письмо. Но вправе есть ещё местечко для нескольких слов, и можешь... А что можешь? Мол, жёнке моей Катерине велю свёкра и свекровь слушаться и маленьких блюсти, и ждать меня с надеждой. Хоть бы и место было, а законы, по которым письма пишутся, не дозволяют прямо открыто Катёне писать как главному человеку. Что завечаешь — о том не пишет никто, срам. Не дозволены в письмах пустые ласковые слова, не то что потаённые, какие только на ухо шепчутся, — письмо должно голосом читаться родственникам и соседям, кто нн придёт. И пожалиться неловко, что вот не допускают в отпуск заслуженный, эка тошно и темно, а весной война разгорится — там уж не поедишь. Тут Цыж и забеги:

— Сенька! Чой-то тебя подпоручик кличет. Через полчаса — к ему. И — не ругать, не похоже.

И занежился Сенька: а вдруг? а может, чего переменилось? Уж в таку тихую тёмную ночь по какой боевой надобности стал бы подпоручик его вызывать — да за полчаса?

Ночи теперь холодные, и спит Катёна в избе со всеми, да и к дитю же вставать. А вдруг увидал её поздней осенью в холодных сенях спя-

щую по-молодому, окрытую полушубком с головой, она под полушубок спрячется — не найдёшь. И — шаг бы к ней! шаг!

Да кто-нибудь там ли и не шагает? Каково бабёнышке-ядрышку столько вылежать, высидеть, выждать?

Не-е. Не.

Но зря позанялся надеждою. Садись, мол, будем толковать...

А подпоручик улыбался добро, заглаживал:

— Так вот, Арсений. Ты — надежды не теряй! Сегодня я с подполковником говорил. Может, что для тебя и сделаем.

Изделаем! може что для тебя изделаем!—так и полыхнуло по нутру. Батюшки, не ослышался? Да отцы родные, вы только пустите меня, я вам потом за две пушки навоюю!

И — поплыли, поплыли шлёпистые губы Арсения.

И рад сообщиться радостью и опасаясь пообещать лишнего, разъяснял подпоручик:

— Понимаешь: не наверняка. Но — надеюсь. Только: я тебе это говорю для бодрости. А ты пока — никому, не будоражь. Потому что вообще отпуска остаются запрещены.

И как все эти месяцы, когда терялся на Арсения наградный лист, никогда он не ворчал, взглядом не упрекал, не надолго затмевалось лицо его, даже старался перед подпоручиком деликатно скрыть свою обиду, — так и сейчас не благодарил никакими особыми словами, а только губ на место свесть не мог и ладони, на коленях опрокинутые, расслабились всеми пальцами.

Двух его Георгиев не было сейчас на нём, они на шинели. А что за гордость — в своё село с двумя Георгиями! С позиций — домой! — всколачивается сердце у отпускника.

Переимчивый праздник, и у всех отпускающих тоже. Подпоручик, уже отделённый от сельской жизни университетом и многими расширенными понятиями, чувствовал сам как парень, на два года моложе Благодарёва.

А старше даже и Цыжа. Подпоручику дана мудрость судить — хорош ли солдат или плох, не повысить ли его по номеру у пушки, или из бомбардиров в фейерверкеры, или перевести в разведку, читать карты. Но Благодарёва и от пушки не отнять, бойко собирает-разбирает замок, быстро устанавливает и читает прицел, панораму, понимает устройство снаряда, действие трубок, — без таких помощников во взводе офицеру жизни нет. По сегодняшнему упавшему солдатскому уровню — это ли не гренадер?

Но Чернега, босые ноги свеся, загорланил сверху:

— А за что ему отпуск? Пусть послужит! Он уже ходил.

Взводный — не свой, а испортить всякий может. Коль никому не дают. Воззрился на него Арсений и мягко, перед офицером, хоть и босоногим:

— То—за *первого*...

— А первого — за что? — строго спрашивал Чернега. — Небось в штабе где сидел?

— Так за что бы тогда? — И знал Благодарёв, что Чернега его задирает, и всё ж тона его насмешливого не смел перенять. Не мог тот иметь силы на его отпуск, а может и заимеет.

— Да в штабах-то их и сыплют, Егориев, парень! — гудел Чернега. — Вот именно из-за Егория я и думаю — ты при штабе был. С каким-то полковником, говоришь, всё ходил. Где эт ты ходил?

— Да вы ж знаете, — улыбался Арсений.

Ещё и это «вы» ни к ляду выговаривать, офицер из фельдфебелей. Что это «вы»? — двое их, что ли? Богу и тому «ты» говорят.

— Ничего не знаю! — кричал Чернега.

— В Пруссии.

— Скажешь, в окружении, что ль?

— Так о-ахватили, — руками показал Арсений.

— Ох, врёшь, вот врёшь! — тараторил Чернега, болтая ногами и одобрительно крутя сырной головой на Благодарёва. — Слушай, Санюха, отдай мне его во взвод. Ни в какой ему отпуск не нужно. Я ему и тут бабу найду, полячку! — а-а! И отпускать буду с позиций без всякого подполковника. Вот только врёт — зачем? Если ты там был, в самсоновском окружении, — почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?

— Так и я же вас не видел, — осклабился Благодарёв посмелей. — Сколько прошли — а вас не видали. Вы-то — были, что ль?

Прищурился.

— Ах, ты та́к со мной разговариваешь! — закричал Чернега. — Да я тебя сейчас вот на гауптвахту!

Прыг! — и на пол, ногами твёрдо-пружинисто, как кот. И босые ноги сунул в старые галоши, тоже у них дежурные такие стояли, для ночного выхода, но уже размером на Устимовича.

Положил Благодарёву на плечо тяжелокруглую руку:

— Айда ко мне, соглашайся. Будем до баб вместе ходить.

Благодарёв с тем же прищуром, уже без неловкости, и из сидяча:

— А к детям?

— Фу-у, добра! Да новых сделаем, старых забудешь. Сколько у тебя?

— Двое.

— Кто да кто?

— Сын да дочь.

— Чего ж ты на девку скостился? А я думал, ты орёл. Чего ж тебя и в отпуск? Сколько ей?

— Девять месяцев.

— Как назвал?

— Апраксией.

— Ладно, езжай, только сына заделывай. Сыновья ещё, ах, понадобятся!

На сорочку плащ надел, на голову ничего и, волоча галоши, вышел до ветру.

Напористый Чернега такое расспросил, чего свой взводный и не знал о Благодарёве. Чернега бездельник-бездельник, а всё успевает и о конях заметить и о людях разузнать. А у Сани много времени уходит на думанье, часами он нуждается быть один и думать. И упускает. Вот стояла где-то рядом та главная жизнь Благодарёва, которая чужда его проворству у пушки и не повлияет на ход мировой истории.

— А какое село твоё?

— Каменка. По помещику — Хвощёво.

— Большое?

— Да дворов четыреста. Мужских душ боле тыщи.

— А помещик — кто?

— Давыдов, Юрий Васильич. Только он — в Тамбове, на высоте.

— На какой же?

Сделал Благодарёв думающее движение кожи по лбу:

— Земство, что ль. Да распродались нам же... Да по арендам... Да их трое братьев, пораскидались.

— Куда ж?

Фуражку опрокинутую на коленях придерживая, принимая к себе всю благоприятственность, Арсений рассказывал с полуулыбкой:

— Василь Васильич вместе с дьяконовым сыном собирали мужиков в кустах, сговаривали против царя. Ну, а мужики доложили исправнику. Схватился Василь Васильич с супругой — да во Ржаксу, а там дождались третьего звонка — и в поезд перебежали. А в Тамбове, мол, Юрий Васильич к ним на вокзале вышел и уже выправленные паспорта дал. Так и умахнули. Во Францию. Рассказывают.

— Так это когда было?

— Да я ещё малой был. — Покатал морщинку по лбу. Лоб веселел, всё больше походило, что отпуск будет. — Ещё до бунтов.

Сыростью махнул из двери Чернега. Фыркал, и крутил мокрой головой, как пёс:

— Чего? Бунтовать?.. Ну, тымища!.. Когда бунтовали?

— Да уж лет десяток. Да в Каменке самой у нас, сказать, бунта и не было. В Александровке жгли, в Пановых Кустах жгли. Анохина купца разграбили, Солововых... А у нас Василь Васильич и всегда говарил: вы остальных кругом грабьте, а я и так отдам! А тут староста Мохов собрал сход: «Мужики! Бывает, мол, воздержимся? Чужое добро — оно выпрет в ребро.» Наши и установили: воздержаться. И в Волхонщине так же, рядом.

Чернега вылез из галош босиком на пол.

— Не, не пойду расхлюпываться. Больше поспит, раньше к коровам встанет. Сань, а печку не раздуешь?

— Да тепло.

— Поди вон, выскочи. Я-то наверху не окоченею.

Толстый в груди, в поясу́, в ногах, не столько взлез, об угловатый выступ столбика, сколько вскинулся, почти вспрыгнул наверх — и плюхнулся на свою койку, так что жерди качнулись, вогнулись, а выпрямились, крепко сработано. Сверху:

— И чем кончилось?

— А — воскорях пришли казаки, плетьми разбираться. Генералу и докладают: в Каменке, мол, имения не тронули. Та-ак? Тогда за ухватку выдать им на водку двадцать пять рублёв. Выкатили бочку — и миром пропили. А в Фёдоровке вповалку мужиков пороли кажного. Зимой дело было, на снегу секли. А дале повёл генерал тех казаков на Туголуково. И там сильно пороли.

— В Туголукове — бунтари? — как со строем здороваясь, весело окрикнул Чернега.

— Та-ам народ дюже волю любит. Та-ам на кулачках бьются что ни воскресенье. Без краски ни один мужик с поля не уходит.

— Ладно! — оценил Чернега. — Езжай к своей бабе! — Подбил подушку кулаком. — Эх, перяшка под головашку, — повернулся набок, спиной к землянке, одеяло натащил.

У подпоручика забота: хорошо, а если поедешь — кем тебя заменим?

Обдумали. Справится?

— Ты его подготавливай вместо себя. И сам наготове. Чуть только разрешение получим — чтоб ты в полчаса убрался. Отменят, передумают — а тебя уже нет.

— Да ваше благородие! Да вы мне середь сна бумагу суньте, я только портянки уверну и в пять минут! Все штабы стороной обойду и на станцию!

В двери угнувшись, ушёл.

Чернега уже сопел.

А на Саню опять потянуло похолаживающей тревогой.

Это бывало с ним: в разговоре, в делах что-то процарапает по сердцу, даже точно не приметишь — что, но вот всё затемняется, сникает, что казалось со смыслом — уже ни к чему. И надо — уединиться, осознать без помехи: что именно процарапало. И как исправить? И бывает, что осознанием, перетерпением, обещанием, трудом — сглаживается.

Теперь сидел за столом, окунувшись в ладони, — и выступило: Чевердин! Почему-то — Чевердин из 2-й батареи, которому Саня никакого вреда не принёс.

Ещё б на своей батарее и тотчас в ответ на его стрельбу — тогда бы понятно. А тут — не было разумной связи.

Нет, не так, а: ландверный офицер, кто команду в телефон крикнул, никогда ведь про этого Чевердина не узнает. Так, наверно, и Саня *там* похоронил сегодня нескольких. Для командования русской армии очень желательно, и вся военная деятельность без того теряет смысл, иначе лицемерно носить военный мундир, надо снимать и идти в арестантские роты. А всё-таки Саня не так бы задумался, если б — не Чевердин. Не задумалось, само завязалось: умрёт? не умрёт?

Сейчас в пустой холодеющей землянке, уронив глаза в ладони, Саня сидел и собирал, собирал клочки раздёрганной, рассеянной души, чтобы как-то залечиться.

Проведен был, что называется, успешный боевой день. На редкость большая и безошибочная стрельба, несомненное одобрение подполковника. И вот, офицер, кем менее всего ожидал в жизни стать, офицер, от которого ждут уверенных распоряжений (и предательство было бы их не делать, погубишь всех своих!), он — растерянным чувствовал себя, впустую многократно прокрученным, до полной потери смысла себя. Вхолостую, и хуже — во вред, прокручивалась вся его жизнь, задуманная, кажется, так светло. И худший исход был — не то, что убьют в двадцать пять лет, а что он и пятьдесят проживёт, прокручиваясь ножом в чьей-то мясорубке.

И ни сослуживцы-прапорщики, ни командир батареи, ни, домой поезжай, отец и родные братья его — не могли ему тут облегчить.

Накинув плащ и в тех же сменных спадающих галошах, Саня вышел наверх.

Мгла была полная: ночь безлунная и в тучах, и под дождём. Не ступить ни шагу, только на память да наощупь. Год знакомое место не различить, не узнать, даже верхушек знакомых деревьев против неба — где обуглено, где сшиблено, где расщеплено.

И ракет не бросала передняя линия.

И не стреляли. И ветра не было. Только естественный, миротворный похлесто́к дождя — о ветви, о листья, о землю. От него — ещё глубже тишина.

И полная невидимость мира. Ни Stволовичей, ни Юшкевичей с белыми костёлами. Ни Польши. Ни России. Ни Германии. И под невидимым тучевым глубоко-тёмным небом — один человек.

Но в маленькой землянке было ненаполненно. А здесь — полнота. И простое, немудрое и нестыдное, повседневное человеческое действие. Чистосердечное, созерцательное общение с темнотой, с дождиком, со всей природой. Со всех сторон, всем телом принимаешь в себя мир.

И Саня стоял. Привыкал к темноте. Принимал на себя дождик. И звуки его о плащ.

Переступил по скользкости несколько шагов — увиделись один-два слабых отсвета из земляночных оконных углублений.

Вскинули ракету. Красную. Немцы. Из-за того, что окопы сближены, они часто ночью бросают. Наши — нет, экономят.

Взлетела ракета, распахнулась бордово-алым, каким-то худшим из красных цветов, — и от невидимого тёмного, но верного Божьего неба отрезала попыхивающий зловещий красный сегмент. И наступая этим сегментом, досветила сюда, за три версты, на себе показав и те изломанные, покорёженные, и ещё целые деревья.

И вздрагивая, вздрагивая, опала. Погасла.

Но в глазах сохранялась краснота и чёрточки деревьев.

И ещё стоял Саня, лицом вверх, к мерному дождику.

Становилось примирительно.

Но послышались шаги, по-лесному ещё издали.

Мокрое шлёпанье. Хруст задетых кустов.

Кто-то шёл, шёл, а всё не подходил.

Один человек. Близко уже.

— Кто идёт? — спросил Саня не окриком часового, тот подальше стоял, у орудий, но и твёрдо, здесь не шути.

— Свои. Отец Северьян, — раздался домашний голос.

— Отец Северьян? — обрадовался. Вот не загадывал! А хорошо как. — А это — Лаженицын. Здравствуйте.

— Здравствуйте, Лаженицын, — приветливо отозвался бригадный священник.

— Вы с дороги не сбились?
— Да немного сбился.
— Идите сюда. Вот, на голос.
Шурша и шлёпая, подошёл священник совсем близко.
— Куда ж вы, отец Северьян, так поздно?
— Хочу в штаб вернуться...
— Да куда вы сейчас? В яму свалитесь. Или в лужу по колено. Не хотите ли у нас заночевать?
— Да мне утром завтра служить.
— Так это уже свет будет, другое дело. А сейчас и подстрелят вас, поди, часовые. А у нас в землянке место свободное.
— Действительно свободное? — Вот уж не военный голос, ни одной интонации, усвоенной всеми нами, другими. И — усталый.
— Действительно. Устимович на дежурстве. Дайте руку.
Взял холодную мокрую.
— Идёмте. Вы издалека?
— Со второй батареи.
— Да-а! — вспомнил Саня. А он и не совместил... — Там раненые?
Священник ногой зацепился,
— Один умер.
— Не Чевердин??
— Вы знали его?

5

Отец Северьян был в круглой суконной шапке, сером бесформенном долгополом пальто, каких в гражданской жизни вообще не носят, а на позициях у священников приняты, и в сапогах. В руках — трость и малый саквояжик, с которым всюду он ходил: с принадлежностями службы.

Увидя наверху широкую спину спящего, булыжно-круглый затылок, снизил голос:

— Удобно ли? Разбудим.

— Чернегу? Да если в землянку снаряд попадёт — он не проснётся.

Ещё раз оговорился священник, что вполне бы дошёл. Но уловя, что, и правда, тут не из вежливости уговаривают, снял шапку, вовсе мокрую, — и тогда расправились чёрные вьющиеся густые волосы. Борода у него была такая же густая, но подстриженная коротко.

Снял шапку, ещё не отдал — стал глазами искать по стенам, по верхам, по углам. И мог не найти, как часто в офицерских землянках среди многих развешанных предметов. Но вот увидел: в затемнённом месте на угловом столбе висело маленькое распятие, такое, что помещалось в карман гимнастёрки.

Это Саня и повесил. В Польше подобрал при отступлении. А то могло и не быть. Как неловко бы.

На католическое распятие перекрестясь, обернулся священник снова к Сане, отдавал и пальто. Оно всей мокротой прилипло к рясе, Саня стягивал силой.

— Э-э, да у вас и ряса мокрая. А ложитесь-ка вы сразу в постель? Небось, и на ногах мокрое. А я печку протоплю, всё сразу высохнет.

— Да неудобно?..

— Да — чего же? Мы зимой по двенадцать часов и спим, на всякий случай. А вот и ваша лежанка, вот эта, полуторная.

И отец Северьян больше не чинился — признался, что, правда, хочется сразу лечь. Да и видно было, что он не только устал, но — в упадке, но — удручён.

Большой нагрудный крест на металлической цепочке выложил на

стол — как тяжесть, ослабевшими руками. И снял с груди кожаный мешочек с дарами.

На жердяной стене, на приспособленных для того колышках, Саня распялил пошире пальто и рясу.

В нижней сорочке, очень белой, ещё чернее стала борода и привоздушенные несминаемые волосы отца Северьяна, глубже тёмные глаза.

Сразу и лёг, полуукрывшись, приподнятый подушками. Но глаз не смежал.

А подпоручик с удовольствием растапливал. При Цыже заботы немного, всё у него заготовлено по сортам: растопка, дрова потоньше, потолще, посуше, помокрей. И подле печки — табуреточка для истопника, вполвысоты, как раз перед грудью открываешь дверку. И кочерёжка на месте. И от последней протопки зола уже и пробрана и вынесена, пылить не надо. Только возьми несколько сосновых лучинок, подожги, уставь, чтоб огонёк забирал вверх по щепистому тельцу их, — и тогда осторожно прислоняй одну сухую палочку, другую.

Потрескивало. Бралось.

В санином настроении лучшего ночного гостя и быть не могло.

Только гостю самому было не до Сани. На одеяло положенные руки не шевелились. Ослабли губы. Не двигались глаза.

Но и молчаливым своим присутствием что-то уже он принёс. Почему-то не ныло так. Наполнялось.

Потрескивало.

Через накат землянки совсем не бывает слышно дождя о землю, даже в приокошечной ямке.

И стрельбы никакой.

Не вставая с табуретки, Саня снял кружок с ведра, жестяною кружкой набрал в начищенный медный чайник воды, кочергой конфорку отодвинул, поставил чайник на прямой огонь.

Подкладывал. Живительно, бодро хватался огонь, при открытой дверце печи даже больше света давая в землянку сейчас, чем керосиновая лампа, — и света весёлого, молодого.

Чернега там у себя наверху громко храпанул — и проснулся? В компанию принимать его? Нет, лишь ворочнул своё слитное тело на другой бок, но так же звучно посапливал, что в нетопленной, что в топленной.

Взялась печка — и погуживала.

Отец Северьян глубоко выдохнул. Ещё. Ещё. С выдохами облегчаясь, как бывает.

Саня не частил оглядываться. Но сбоку сверху — ощущал на себе взгляд.

Что-то — наполнилось. Слаб человек в одиночестве. Просто рядом душа — и уже насколько устойчивей.

Отец Северьян был в бригаде меньше года. Виделись, перемалвливались понемногу. В общем-то — и не знакомы. Но живостью, неутомимостью, упорством даже учиться ездить верхом — нравилось Сане, как он хочет слиться с бригадой.

И ещё раз выдыхая, уже не усталость, а страдание, священник сказал:

— Тяжко. Отпускать душу, которая в тебе и не нуждается. Когда отвечает умирающий: чем же вы меня напутствуете, когда у вас у самого благодати нет?

Ощущая, что взглядом и лицом помешает, Саня не оборачивался, в печку глядел. Действительно, служба у священника в век маловерия: с исповедью, с отпущением грехов — навязывайся, кому, может быть, совсем и не нужно. И такие слова ищи, чтоб и обряд не принизить, и человеку бы подходило. И оттолкнут — а ты опять приступай, и всё снова выговаривай, с непотерянным чувством.

— Был Чевердин — старообрядец.

— Ах во-о-от? — только теперь понял Саня. И сразу представился ему Чевердин — высокий, с тёмнорыжей бородой. И вдруг теперь объяснилась большая самостоятельность его взгляда — из знающих был мужиков. И представилось, как эти глаза могли заградно отталкивать священника.

— Отказался от исповеди, от причастия. Я ему — дорогу перегораживаю...

Во-о-от что...

И что же, правда, священнику? Отступиться? — права нет. Подступиться? — права нет. Священник всегда обязан быть выше людей, откуда взять сил? А вот — и голосом убитым:

— Мусульманам — мы присылаем муллу. А старообрядцам своим, корневым, русским — никого, обойдутся. Для поповцев — один есть, на весь Западный фронт. Тело их — мы требуем через воинского начальника. Россию защищать — тут они нашего лона. А душа — не нашего.

Алый свет прыгал из неприкрытой дверцы. Саня ушёл в печные переблески, не отводясь. Отвергающих причастие — сжигать, был Софьин указ. А покорившихся причастию — сжигать вослед. Отрывали нижнюю челюсть, засовывая в глотку *истинное* причастие. И чтоб не принять кощунственного и не отдаться слабости — они сжигались сами. И свои же церковные книги мы толкали в тот же огонь — кем же и мниться им могли, как не слугами антихристовыми? И — как через это всё теперь продраться? кому объяснять?

Покосился. Священник закрыл веки. Был край и его сил. Хорошо, что добрёл до ночлега.

Саня подкладывал — и отодвигался от печки.

Живучи в Москве, он бывал на Рогожском. Ещё перед храмом, на переходах — густая добротность и значимость бородачей, особенно строгие брови женщин и нерассеянные отроки. Исконное обличье трёхвековой давности, уже несовременная степенность, а вместе и благодушие — к нам!.. На Троицын день в храме — белое море, как ангелами наполнено: это женщины, отдельно стоя, все сплошь — в одинаковых белых гладких платках особой серебрящейся выделки. Иконостас — без накладок, риз, завитушек, строгая коричневая единость,— одна молитва, и поёжишься перед Спасом-Ярое Око. И о пеньи не скажешь, что напев красив, как у нас, — а гремят бороды в кафтанах, забирает. И два паникадила громоздных под сводами, одно лампадное, другое свечевое, и вдруг надвигается сбоку через толпу высоченная лестница, как для осады крепостей, и по ней восходит, с земли на небо, служитель в чёрном кафтане со свечой, там крестится в высоте и начинает одну за другой зажигать — иные лёжа и свиснув, другие — едва дотягиваясь вверх. И медленно-медленно рукой поворачивает всю махину паникадила. А в конце службы так же взлезает и гасит каждую свечу колпачком. Электричество же мгновенное не вспыхнет у них никогда. Зато в миг единый по всему храму, по трём тысячам человек — троекратное крестное знаменье или земной поклон. И кажется: это мы все — преходим, а они — не прейдут.

Печка гудела, калилась уже вишнево — и слала доброе тепло по землянке. А много ли тут надо? — брёвнами и жердями замкнулось пространство, и начинала высыхать мокрая одежда по стенам, и гостю не нужда натягивать одеяло на грудь и плечи. А сорочка его белая-белая оттеняла черноту обросшей головы, а на спине лёжа — он сам казался как больной, если не как умирающий.

— Бывал я у них, — сказал Саня. — Разговаривал.

Когда ощутишь, как это перед ними зинуло — не бездна, не пропасть, но — щель бесширная, косая, тёмная, внизу набитая трупами, а выше — срывчатая безвыходность. Для них, в то время, не как для нас: вся жизнь была в вере — и вдруг меняют. То — проклинали трёхперстие, теперь — только трёхперстие правильно, а двуперстие проклято. Как же этого вместе с ними не сложишь: 1000-летнее царство плюс число антихриста 666 — а собор заклятья и проклятья в лето 1667-е от Рождества Христова, как подстроено рожками? И царь православный Тишайший задабривает подарками магометанского султана, чтобы тот восстановил низложенных бродячих патриархов — и тем подкрепил истоптание одних православных другими. И кто с мордвинским ожесточением саморучно разбивает иконы в кремлёвском соборе — он ещё ли остаётся патриарх Руси? Да равнодушным, корыстным ничего не стоит снести, хоть завтра опять наоборот проклинайте. А в ком колотится правда — вот тот не согласился, вот того уничтожали, тот бежал в леса. Это не просто был мор без разбору — но на лучшую часть народа. А тут же — навалился и Пётр. Можно их понять: режь наши головы, не тронь наши бороды!

— Они веруют, как однажды научили при крещеньи Руси — и почему ж они раскольники? Вдруг им говорят: и деды, и отцы, и вы до сих пор верили неправильно, будем менять.

Священник открыл веки. Сказал на самой малой растрате голоса:

— Веры никто не менял. Меняли обряд. Это и подлежит изменениям. Устойчивость в подробностях есть косность.

Небойкий подпоручик однако:

— А реформаторство в подробностях есть мелочность. В устойчивости — большое добро. В наш век, когда так многое меняется, перепрокидывается, — свойство цепко держаться за старое мне кажется драгоценным.

Неужели православие рушилось от того, что в Иисусе будет одно «и», аллилуйя только двойное и вокруг аналоя в какую сторону пойдут? И за это лучшие русские жизненные силы загонять в огонь, в подполье, в ссылку? А доносчикам выплачивать барыши с продажи вотчин и лавок? За переводчиками, переписчиками книг надо было следить раньше, а вкралось немного, так хоть и вкралось.

Тихий подпоручик, со свободным поколебом русых волос над просторным лбом, разволновался, будто это всё в их бригаде совершалось, и сегодня:

— Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени? Как мы могли разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в ладу с Господом? Урезать им языки и уши! И не признать своей вины до сих пор? А не кажется вам, отец Северьян, что пока не выпросим у староверов прощения и не соединимся все снова — ой, не будет России добра?..

С такой тревогой, будто гибель уже вот тут, над их землянками, стлалась в ночи волной зеленоватого удушающего газа.

— Сам для себя я, знаете, считаю: никакого раскола — не было. Может быть, при нашей жизни уже никто не соединится, но в груди у меня — как бы все соединены. И если они меня пускают к себе, не проклиная, то я и вхожу с равным чувством и в их церковь, как в нашу. Если мы разделены, то какие ж мы христиане? При разделении христиан — никто не христианин, никакой толк.

Несколько гулких тяжёлых разрывов, передаваемых через землю содроганием на большую даль, дошло до них. И наложилось подтверждением, что — упущено. Что христиане рвали друг друга на части.

В своём положении, подвышенном подушками (у Устимовича много было натолкано), священник переложил голову в сторону Сани, обратил к нему печальное лицо:

— В какой стране не надломилась вера? У всех по-своему. И особенно последние четыре столетия — человечество отходит от Бога. Все народы отходят по-своему — а процесс единый. Адова сила — несколько столетий клубится и ползёт по христианству, и разделение христиан — от этого.

Тут — запел чайник и пар погнал. А заварка у Цыжа наготове. И чайничек малый вымыт, всё приудоблено. И кружка есть глиняная,

из неё пить не горячо. Из лавочки бригадного собрания — вишнёвый экстракт.

— Нет-нет, ни за что не вставайте, отец Северьян, я вам туда подам!

Священник полулёжа, на боку, с пододвинутой табуретки стал попивать заваренный чай — и едва ли не прямо с этими глотками возвращалась к нему сила.

— Да, что-то я подломился сегодня...

А Саня подвинул свою скамеечку ближе к его койке, тут и всего было рукой протянуть. И снизу вверх:

— Я вообще считаю, отец Северьян, что законы личной жизни и законы больших образований сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда ещё и при жизни — так и обществу, и народу тем более, успевают. И всё, что с Церковью стало потом... От Петра и до... Распутина... Не наказанье ли за старообрядцев?..

— Что же нам теперь — искорениться? Церковь на Никоне не кончилась.

— Но Церковь не должна стоять на неправоте. — Саня договорил это шёпотом, будто тая от Чернеги спящего или от самого даже собеседника.

Священник ответил очень уверенно:

— Христова Церковь — не может быть грешна. Могут быть — ошибки иерархии.

Слишком уверенно, как заученно.

— Вот этого выражения никак не могу понять: Церковь — никогда ни в чём не виновата? Католики и протестанты режут друг друга, мы — старообрядцев, — а Церковь ни в чём не грешна? А мы все в совокупности, живые и умершие за три столетия, — разве не русская Церковь? Я и говорю: все мы. Почему не раскаяться, что все мы совершили преступление?

Касаний таких уже не одно было в короткой саниной жизни, в спорах и в чтении. Проходили эти касания по внезапным мысленным линиям и не перекрещивались в единой точке, но оставляли кривой треугольный остров, на котором уже еле стояла подмываемая, подрываемая Церковь.

И когда потом государство смягчало гонения староверов — Церковь сама ужесточала, теребила государство — ужесточить.

— И к чему же пришла? — к сегодняшнему плену у государства. Но любого пленника легче понять, чем Церковь. Объявила бренными все земные узы — и так дала себя скрутить?

— Вы-ы... — всматривался священник. — Вы это всё — сами, или...

— Или... — кивал Саня. — Я, собственно, ещё со старших классов гимназии. У нас на Северном Кавказе много сект — я к разным ходил, много слушал. Толки, споры. Особенно — к духоборам... И — Толстого много читал. Больше всего — от него.

— Ну да, конечно, — теперь улыбнулся священник, узнавая. — Толстой, это ясно. Но вы? — от духоборов и до старообрядцев? — кто же вы?

Саня застенчиво улыбался, прося извинения. Пальцами разводил. Он сам не знал.

— Нет, просто над хлебом-солью сидеть, как духоборы, я — нет. И — не толстовец. Уже. Что учение Христа будто рецепт, как счастливо жить на этой земле? — ну, зачем же?.. И что любовь есть следствие разума?.. Ну, какая же?..

Где Саня не вёлся уверенным сильным чувством, а пытался разобраться, — он не умел говорить легко. Он растяжно тогда выговаривал, раздражая нетерпеливых студентов или настойчивых офицеров. Он потому так говорил, что сколько бы ни вынашивал мысль, но и в момент произнесения она ещё была не готова у него, ещё могла оказаться и ложной. Само произнесение мысли было и проверкой её:

— Да и... Уж очень начисто отвергает Толстой всё, в чём... Вера простого народа, вот, моих родителей, села нашего, да всех... Иконы, свечи, ладан, водосвятия, просфоры — ну, всё начисто, ничего не оставляет... Вот это пение, которое в купол возносится, а там солнечные полосы в ладанном дыму... Вот эти свечечки — ведь их от сердца ставят, и прямо к небу. А я — люблю это всё, просто с детства... Или вот Рогожская — разве на той службе взбредёт, что это — спектакль, самовольно присочинённый нами к христианству?.. Лепет. Но всего отчётливей я почувствовал — с крестом. Толстой велит не считать изображение креста священным, не поклоняться ему, не ставить на могилах, не носить на шее — сухота какая! Вот именно через это я переступить не могу. Как говорится, могила без кадила — чёрная яма. А тем более без креста. Без креста? — я и христианства не чувствую.

Прислушивался, в своих звучащих фразах проверяя, нет ли ошибки.

— Одно время пытался я, по Толстому, запретить себе креститься. Так не могу, сама рука идёт. Во время молитвы не перекреститься — молитва как будто неполная. Или когда вот смерть свистит-подлетает — рука ведь сама крестится. В этот момент что ещё естественней сделать на земле, может быть последнее?.. Такое ощущение, будто креститься меня не учили, а — ещё до моего рождения было во мне.

Отец Северьян принял ласково блестящими глазами. Если даже через девятнадцать русских студентов хотя бы двадцатый воспринимает дыхание церковной службы выше рационального анализа — и то не потеряна вера в России!

— А вам не приходило в голову, что Толстой — и вовсе не христианин?

— Вовсе? — изумился, уткнулся Саня.

— Да читайте его книги. Хоть «Войну и мир». Уж такую быль богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, — и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья? Можно ли поверить, что эти четыре тома написал христианин? Для масонских поисков места много нашлось, а для православия? — нет. Так никуда он из православия не *вышел*, в поздней жизни, — а никогда он в православии *не был*. Пушкин — был, а Толстой — не был. Не приучен он был в детстве — в церкви стоять. Он — прямой плод вольтерьянского нашего дворянства. А честно пойти перенять веру у мужиков — не хватило простоты и смирения.

Саня — пятью пальцами за лоб, как перещупывал.

— Я — так не думал, — удивлялся он. — Почему? Разве его толкование не евангельское? Что мы от Евангелия отшатнулись бесконечно? Заповеди твердим — не слышим. А от него услышали все. Уберите, мол, всё, что тут нагромоздили без Христа! Верно. Как же мы: насильничаем — а говорим, что мы христиане? Сказано: не клянись, а мы присягаем? Мы, по сути, сдались, что заповеди Христа к жизни неприложимы. А Толстой говорит: нет, приложимы! Так разве это не чистое толкование христианства?

Оправился отец Северьян от своего упадка, вернулась живость в лицо и, уже выздоравливающий, он с готовностью отвечал, как будто вот этого одинокого подпоручика давно себе ждал в собеседники:

— Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой мог показаться ведущим христианином! Вытягивает по одному стиху из текстов, раскладывает на лоток, и при таких гимназических доводах — такая популярность! Просто его критика Церкви пришлась как раз по общественному ветру. Хотя и обществу он даёт негодное учение, как оно не может существовать. Но либеральной общественности наплевать на его учение, на его душевные поиски, не нужна ей вера ни исправленная, ни неисправленная, а из политического задора: ах, как великий писатель костит государство и церковь! — поддуть огонька! А кто из философов отвечал Толстому — того публика не читает.

— Н-ну, не знаю... — ошеломлён был Саня. — Если чистое евангельское учение — и не христианство?

— Да Толстой из Евангелия выбросил две трети! «Упростить Евангелие! Выкинуть всё неясное!» Он просто новую религию создаёт. Его «ближе к Христу» это в обход евангелистов. Мол, раз я тоже буду вместе с вами верить, так я вам эту двухтысячелетнюю веру сразу и реформирую! Ему кажется, что он — открыватель, а он идёт по общественному склону вниз, и других стягивает. Повторяет самый примитивный протестантизм. Взять от религии, так и быть, этику — на это и интеллигенция согласна. Но этику можно учредить в племени даже кровной местью. Этика — это ученические правила, низшая окраина дальновидного Божьего управления нами.

Видно не первый раз доставалось отцу Северьяну об этом толковать и, видно, не заурядный он был батюшка.

— Толстого завела — гордость. Не захотел покорно войти в общую веру. Крылья гордости несут нас за семь холодных пропастей. Но никак не меньше нашего личного развития — стать среди малых и тёмных и, отираясь плечами с ними, упереться нашими избранными пальцами в этот самый каменный пол, по которому только что ходили другие уличными подошвами, — и на него же опустить наш мудрый лоб. Принять ложечку с причастием за чередою других губ — здоровых, а может и больных, чистых, а может и не чистых. Из главных духовных приобретений личности — усмирять себя. Напоминать себе, что при всех своих даже особенных дарованиях и доблестях ты — только раб Божий, нисколько не выше других. *Этого* достижения—смирения, не заменят никакие этические построения.

— На смирение — я целиком согласен.

— А Толстой ищет-ищет Бога, но, если хотите, Бог ему уже и мешает. Ему хочется людей спасти — безо всякой Божьей помощи. Перешёл на проповедничество — и как будто что случилось с ним: всё умонепостигаемое, что в мире есть и правит нами и силы нам даёт, и что он знал, когда писал романы, — он вдруг как перестаёт ощущать. С какой земной убогостью он трактует Нагорную проповедь! Как будто потерял всю свою интуицию. Великий художник — и не коснулся неохватного мирового замысла, напряжённой Божьей мысли обо всех нас и о каждом из нас! Да что не коснулся! — рационально отверг! Наше собственное бессмертие, нашу собственную причастность к Божьей сущности, — всё отверг!

Отец Северьян приподнялся от подушки, отзывный, оживлённый, смотрел твёрдо-блестяще. Добрёл он до этой землянки, как ни останавливались ноги, как ни заплеталось сердце, — но и здесь осуждён был не отдыхать.

— Неужели не досталось ему содрогаться в беспомощности и ничтожестве? Испытывать порой такую слабость... такую немощь... такое затемнение... Когда ни на какое самостоятельное действие нет сил, а последние силы — на молитву. Хочется — только молитвы, только набраться перетекающей силы от Всемогущего. И если это удаётся нам — так явственно осветляется грудь, возвращаются силы. Так узнаём мы, что значит: «сохрани и помилуй нас Твоею благодатию!». Знаете вы это состояние?!

Волнистоволосой головой со скамеечки Саня кивнул, кивнул. Тихо сказал:

— Я именно в таком состоянии и встретил вас сегодня. И даже — ждал, не точно зная, что — вас... Я именно часто ощущаю, что сил моих совсем не достаточно, даже и на суждения.

Раздалась гулкая пулемётная очередь. Раздалась — на переднем крае, но от холодного, дождливого и тёмного времени слышна была очень внятно сюда. Два десятка крупных пуль где-то там пронеслись, вбились в землю, продырявили доски, вонзились в брёвна, может быть

и ранили кого-нибудь, хотя такие дурные ночные очереди — больше для напугу.

А — как же он нёс погоны, кричал орудиям: «беглый! огонь!»?

— Отчего же вы никогда мне... ?

— Я говорил вам. Однажды на исповеди. Но вы меня, кажется, не поняли...

6

— На исповеди? Когда ж это?

— Великим Постом. Вы тогда только недавно приехали к нам.

— Ах вот, наверно поэтому. У меня несильная память на лица, а все сразу новые...

Подпоручику и сейчас нелегко, будто снова исповедь:

— Я пожаловался вам тогда... Как мне тяжело воевать. Что я пошёл на войну не по повинности. Мог бы доучиваться в Университете. Пошёл — добровольно. И, значит, все грехи здешние и все убийства здешние я взял на себя — вольно.

— Да-да-да! — помнил отец Северьян. — Ну как же! Такая исповедь среди офицеров была единственная, и я бы ни за что не пропустил, мы бы продолжили, если б это не самые первые дни... Тогда исповедывались все сплошь, Страстная была. Но отчего вы сами не пришли второй раз?

— Я не мог знать, что это остановило ваше внимание. Может и другие так говорят, и вам прискучило? И... нечего ответить?.. А самое главное: вы—*отпустили* мне мой грех, мои сомненья. Но я себе—не отпустил. Всё вернулось и обступило снова. И что ж, опять к вам?—второй и третий раз? И повторять то же самое, теми же словами, — как бы отталкивать ваше отпущенье назад?.. И даже если вы меня не упрекнёте — что можете вы? Только повторить, «аз, недостойный иерей, данной мне от Бога властию...» А мне под епитрахилью заспорить с вами: нет, не прощайте! это не поможет?.. В исповеди вот это и безвыходно, и для вас и для меня: что в конце вы непременно должны меня простить.

Смотрел пытующе:

— А как бы так, чтоб *не простить*? Если точно такое же бремя завтрашнего дня снять нельзя — так н е п р о щ а й т е! Отпустите меня с моей необлегчённой тяжестью. Это будет честней. Пока война продолжается—как же снять её? Её не снять. Оттого, что я *не вижу* своих убитых — дело не меняется. Сколько ж их начислится к концу? И чем я оправдаюсь? Выход только — если меня убьют. Другого не вижу.

Отец Северьян был прислушлив ко всем переходам мысли, и это отражалось в подвижных молодых его чертах:

— Да, знаете, в древней церкви воинов, вернувшихся из похода, прощали не сразу, накладывали епитимию. Но есть и такой еще выход: перепонять.

— Я пытался. Опростоуметь? вот как все рядом, как Чернега: воюет — и весел. Пытался и я так. Много месяцев. Не вышло. Вот засыпешь снарядами, не получив ответа. А ответ приходится на Чевердина.

Но священник смотрел на подпоручика не в смущении. Остро доглядывал медлительного собеседника.

Что за редкая встреча! — среди офицеров, не только этой бригады, кадровых и призванных, — кто формален, кто стыдится, кто смеётся, — но среди студентов? Среди студентов ещё бóльшая редкость. У себя в Рязани деятельность отца Северьяна проходила в облаке насмешки и презрения от всего образованного слоя общества — не к нему только именно, но ко всей православной Церкви, и этим презрением отталкивался он—из того же *культурного круга* выйдя и сам, из такой же семьи, тоже к нему насмешливой, — отталкивался к мещанам, к тёмным

неразвитым горожанам, ещё тупо видящим смысл в свечах и церковном стоянии вместо чтенья газет, посещений театра и лекций. Отец Северьян не краснел за свой сан, одеяние, и не чуждался остаться бы в своём образованном слое, но его — выталкивали. Надо же было! — из рязанской епархии приехать на передний край войны, чтобы здесь послушать такого студента.

Однако с полынью:

— И потом же я понимаю, отец Северьян, что если вы состоите в той же бригаде, и ваша задача — способствовать успеху русского оружия, то вы не много доводов сумеете найти мне в утешение. Вы сами связаны всем этим и тоже, может быть, простите, грешны. Раздавать и навешивать всем-всем-всем шейные образки... Перед атакой идти по траншеям с крестом и кропить святой водой... Или с иконой по всем землянкам и давать прикладываться завтрашним мертвецам... А иные батюшки, за убылью офицеров, и сами скачут передавать боевые приказы полкового командира... Но почему-то страшней всего — когда служат полевой молебен, а подсвечники составлены из четырёх винтовок в наклон.

Нет, отец Северьян не уронил головы. Нет, отец Северьян не отвёл глаз. Прислушливо принимал он упрёки подпоручика, даже торопя их выразительными подвижными бровями, даже ждя и желая больше.

— ...Я понимаю, что вы не своей волей сюда пришли, вас послали.

— Ошибаетесь. Сам.

— Са-ми?

— А вы же? Священников вообще не мобилизуют. Они просятся сами или их посылают епархии по полученной развёрстке. Но кого епархии считают лучшими — тех удерживают, а в Действующую посылают балласт: или слабых, или судимых, или нежелательных. Впрочем, по последней категории, за реформаторство, пожалуй послали бы скоро и меня. Но я попросился раньше. Я именно считал, что во время войны естественней всего быть здесь.

— Вообще мужчине — да, — ещё не мог подпоручик принять.

— И священнику — тоже, — всё живей настаивал отец Северьян, с тем упорством, с которым он и верхом научился. — В той жизни, в которой мы живём, — мы должны в ней действовать.

От священника это странно было слышать, ожидалось бы скорей что-нибудь — любите ненавидящих вас... Подпоручик улыбнулся, пробормотал:

— Перекувырнутая телега...

— Что?

— Я — тоже так думаю, тоже. Но вы... Особое, щекотливое положение: священник — и добровольно на войну?

Отец Северьян утвердился выше на локте. Взгляд его вспыхнул:

— Исаакий...

— Филиппович.

— Исаакий Филиппович! — выдыхал он теперь готовое, то, что на исповеди не пришлось. — Міра без войн — пока ещё не бывало. За семь, за десять, за двадцать тысяч лет. Ни самые мудрые вожди, ни самые благородные короли, ни Церковь — не умели их остановить. И не поддавайтесь лёгкой вере, что их остановят горячие социалисты. Или что можно отсортировать осмысленные, оправданные войны. Всегда найдутся тысячи тысяч, кому и такая война будет бессмысленна и не имеющей оправдания. Просто: никакое государство не может жить без войны, это — одна из его неизбежных функций. — У отца Северьяна была очень чистая дикция. — Войнами — мы расплачиваемся за то, что живём государствами. Прежде войн — надо было бы упразднить все государства. Но это немыслимо, пока не искоренена наклонность людей к насилию и злу. Для защиты от насилия и созданы государства.

Подпоручик — как приподнимался со своего низкого сиденья, не поднявшись, как просвещался, хотя не калили уже больше печку, и

лампа горела ровно. А отец Северьян — вперялся в мысль саму, как бы какого ответвления не упустить:

— В обычной жизни тысячи злых движений из тысячи злых центров — направлены во всякие стороны беспорядочно, против обижаемых. Государство призвано эти движения сдерживать — но оно же плодит от себя новые, ещё более сильные, только однонаправленные. Оно же временами бросает их все в единую сторону — и это и есть война. Поэтому дилемма мир-война — это поверхностная дилемма поверхностных умов. Мол, только бы войны прекратить, и вот уже будет мир. Нет! Христианская молитва говорит: мир на земле и *в человецех благоволение!* Вот когда может наступить истинный мир: когда будет в человецех благоволение! А иначе будут и без войны: душить, травить, морить, колоть под рёбра, жечь, топтать, плевать в лицо.

А выше их похрапывал беспечный Чернега, не знающий проблем, — и то был единственный звук на всём русско-германском фронте.

В печи уже не потрескивало, уголья калились беззвучно.

Отец Северьян выдыхал своё готовое:

— Война — не самый подлый вид зла и не самое злое зло. Например, неправедный суд, сжигающий оскорблённое сердце, — подлее. Или корыстное уголовное убийство, во всём замысле обнимаемое умом одного убийцы, и всё испытываемое жертвой в минуту убивания. Или — пытка палача. Когда ни крикнуть, ни отбиться, ни испытать защиты и борьбы. Или — предательство человека, которому доверились? Зло над вдовою или сиротами? Всё это — душевно грязней и страшней войны.

Лаженицын тёр лоб. Одно ухо его, ближе к печке, горело. Тёр лоб с медленным, облегчающим, но разборчивым приятием, он не умел ни быстро, ни односложно:

— Не самый подлый вид зла? Но самый массовый. Но от единичных убийств, от единичных неправедных судов остаются и жертвы единичные...

— Тысячерённые! Такие же. Они только не собраны к одному месту и одному короткому времени, как военные убийства. А если вспомним тирании? Грозного, Бирона или Петра? Или, вот, расправу со старообрядцами? Войны и не требовалось, успешно душили и без войны. Но в сумме годов и стран — никак не меньше. А может быть и больше.

Оживлялся Лаженицын. Светлел. И священник говорил всё легче, возвращаясь к своим годам, тридцати пяти-шести:

— Истинная дилемма: мир — зло. Война — только частный случай зла, сгущённого во времени и в пространстве. И тот, кто отрицает войну, не отрицая прежде государств, — лицемер. А кто не видит, что первичнее войны и опаснее войны всеобщее зло, разлитое по человеческим сердцам, — тот верхогляд. Истинная дилемма человечества: мир в сердцах — или зло в сердцах. Зло мірового сознания. А преодолеть зло мірового сознания — это не антивоенная демонстрация, пройтись по улице с тряпками лозунгов. Преодолеть — на это отпущено нам не поколение, не век, не эпоха — но вся история от Адама до Второго Пришествия. И даже за всю историю, всеми совместными силами мы так ещё и не сумели одолеть. И упрекнуть вы можете не того студента, и не того священника, кто добровольно пришёл в воюющую армию, — естественно прийти туда, где страждут многие, — а того, кто не борется со злом.

Да Саня — разве упрекать?.. Да — себя самого только. Да он — обдумывал, облегчённо-неуверенно, боясь ступить чересчур поспешно на новом и таком важном месте.

Это была мысль обширная, тут было думать долго.

Из первых возражений вот разве:

— Но от этого всего убийство на войне разве простительнее убийства уголовного, замышленного? Или — пыточного, тиранского? Просто — ритуал тут есть, видимость заурядной службы, *все так, не я один,* — и вот этот ритуал обманывает нас. Успокаивает лживо.

— Но и ритуал на пустом месте не создашь, об этом подумайте. Всё ж ритуала убивать беззащитных так и не создали. И палачи трогаются умом, бывает. О палачестве, о неправых судах, о всеобщей разрозненности — фольклора нет. А о войне — есть, и какой! Война не только рознит, она находит и общее дружеское единство, и к жертвам зовёт — и идут же на жертвы! Идя на войну, ведь вы и сами рискуете быть убитым. Нет, как хотите, война — не худший вид зла.

Саня думал.

Отец Северьян давал ему возразить. Ждал возражений, не слышал.

Да Саню знать надо было, он трудно переубеждался — не быстро кидался на новые убеждения, медленно расставался со старыми. Но когда уступал встречным доводам, то не досадливо, а как будто даже радостно. Он дорабатывал, чтоб не ответить ошибочно. На каждой паузе проверяясь:

— Это вы — неожиданно мне объяснили. Я не додумывался. Это мне облегчает очень. Но это бы — всем объяснить. Это остаётся всем — неизвестно.

Открыл печку и домешивал кочергой. Тепло освещённый угольями, молчал. Пришлись ему доводы священника.

Соединил их случай, ночной покой, душевная расположенность. Во всей бригаде с кем же, правда, и поговорить?

— Это — надо объяснять, — опять он. — А то ведь над церковью зубоскалят, как она освящает войну. Да вообще... Молодым солдатам в казармах втолакивают религию как принудительную, только убивают её. — Помешивал, смотрел в угольки. — Вообще... Утекло человечество из христианства как вода между пальцев. Было время — жертвами, смертями, несравнимой своей верой христиане — да, владели духом человечества. Но — раздорами, войнами, самодовольством — упустили... И уж наверно нет такой силы, чтобы вернуть...

— Если вы верите в Христа, — отозвался священник из темнеющей глубины землянки как издали, — то не будете подсчитывать число современных последователей его. Хотя б и двое нас осталось в целом мiре христиан. «Не бойся, малое стадо, ибо я победил мiр!». Он дал нам свободу заблудиться — Он оставил нам свободу и выбраться.

Саня помешивал.

Тихо отозвался:

— О, отец Северьян. Много цитат произносится бодро. А дела-то совсем худо.

Сгрёб в последнюю малую кучку, она ещё дышала светом.

— И ещё в этом проигранном мировом положении — зачем каждое исповедание настаивает на своей исключительности и единственной правоте? И православные, и католики. И вообще христиане? Что они — единственные, и что выше? От этого только всё быстрей идёт к падению.

Гневаться ли — на отходы, на сомненья, на поиски? Не изумиться ли другому: как это само пробуждается даже у тех, к кому не приходила благовесть? Тысячелетиями копошатся плоские низкие существа — и вдруг озаряются догадкой: слушайте, люди! Да ведь это *всё — не само собой!* не нашими жалкими силами,—это *Кто-то над нами есть!..*

Уставясь, смотрел в последние угольки.

Как же можно предположить, чтобы Господь оставил на участь неправоверия все дальние раскинутые племена? Чтобы за всю историю Земли в одном только месте был просвещён один малый народ, потом надоумлены соседи его — и никогда никто больше? Так и оставлены жёлтый и чёрный континенты и все острова — погибать? Были и у них свои пророки— и что ж они —не от единого Бога? И те народы обречены на вечную тьму лишь потому, что не перенимают превосходную нашу веру? Христианин— разве может так понимать?

— Чем бы и доказать превосходство какой-нибудь религии — её незаносчивостью перед остальными.

— Но — нет веры без уверенности, что она — абсолютно истинна,— даже призвенивал голос отца Северьяна.—Исключительность моей веры не унижает веры других.

— Н-н-не знаю...

Это и любая секта, отколовшись, начинает настаивать на своей исключительной верности. В исключительности и нетерпимости — все движенья мировой истории. И чем могло бы христианство их превзойти — только отказом от исключительности, только возрастанием до многоприемлющего смысла. Допустить, что не вся мировая истина захвачена нами одними. Не проклянём никого в меру его несовершенства.

Темнело в землянке.

Божья истина — как Правда-матушка из народной сказки. Выезжало семеро братьев на неё посмотреть и увидали с семи концов, с семи сторон и, воротясь, рассказывали все по-разному: кто называл её горою, кто лесом, кто людным городом. И за неправду рубили друг друга мечами булатными, все полегли до единого, и умирая — сыновьям наказывали рубиться до смерти ж... А видели-то все — одну и ту же Правду, да не смотрели хорошо.

Темнело.

Извне раздался сильный грозный предупреждающий звук.

А это был... как его... разрыв этого... артиллерийского снаряда.

7

(Кадетские истоки)

Как две обезумевших лошади в общей упряжи, но лишённые управления, одна дёргая направо, другая налево, чураясь и сатанея друг от друга и от телеги, непременно разнесут её, перевернут, свалят с откоса и себя погубят, — так российская власть и российское общество, с тех пор как меж ними поселилось и всё разрасталось роковое недоверие, озлобление, ненависть, — разгоняли и несли Россию в бездну. И перехватить их, остановить — казалось, не было удальца.

И кто теперь объяснит: г д е ж это началось? к т о начал? В непрерывном потоке истории всегда будет неправ тот, кто разрежет его в одном поперечном сечении и скажет: вот здесь! всё началось — отсюда!

Эта непримиримая рознь между властью и обществом — разве она началась с *реакции* Александра III? Уж тогда не верней ли—с убийства Александра II? Но и то было седьмое покушение, а первым — каракозовский выстрел.

Никак не признать нам начало той розни — позднее декабристов. А не на той ли розни уже погиб и Павел?

Есть любители уводить этот разрыв к первым немецким переодеваниям Петра — и у них большая правота. Тогда и к соборам Никона. Но будет с нас остановиться и на Александре II.

При первом сдвиге медлительных многоохватных, дальним глазом ещё не предсказуемых его реформ (*вынужденных,* как обзывают у нас, будто бывают полезные реформы, не вынужденные жизнью) — почему так поспешно вскричала «Молодая Россия»: «нам н е к о г д а ждать реформ!», и властитель дум Чернышевский позвал к т о п о р у, и огнём полыхнул Каракозов? Почему такое совпадение, что эти энергичные, уверенные и безжалостные люди выступили на русскую общественную арену год в год с освобождением крестьян? Кем, чем так уверены были они, что медленным процессам не изменить истории,— и вот спешили нарушить постепенность разрушительным освобождением через взрыв? *На что* отвечал каракозовский выстрел? Всё-таки же не на освобождение крестьян, как оно ни опоздало?

Через два года после Каракозова уже сплёлся союз Бакунина с Не-

чаевым — а дальше перерыву не бывало, среди нечаевцев густилась уже и «Народная Воля».

Один Достоевский спрашивал их тогда: что они так торопятся? Торопились ли они обогнать начатки конституции, которые готовил Александр II? В самый день убийства он утвердил создание преобразовательных комиссий с участием земств — действительно дни оставались террористам, чтобы сорвать рождение русской конституции.

В 1878 Иван Петрункевич пробовал на киевских переговорах убедить революционеров временно приостановить террор (а не отказаться от него, конечно!): де, погодите, не постреляйте немного, дайте нам, земцам, открыто и широко требовать реформ. Ответил ему — выстрел Засулич из Петербурга. Да через год созрела и «Народная Воля», а в чьей-то голове уже складывалось из будущего ультиматума:

> цареубийство в России очень популярно, оно вызывает радость и сочувствие.

Накалялся общественный воздух, и больше никто уже не смел и не хотел поперечить бомбистам.

Без терпеливого мелкого шрифта нам между собой не объясниться о собственной уворованной истории. Мы зовём в такую даль лишь самоотверженных читателей, главной частью — соотечественников. Этот уже поостывший, а в объёме немалый материал, как будто слабо связанный с обещанным в заглавии Октябрём Шестнадцатого, не утомит лишь того читателя, кому живы напряжённые Девятисотые годы русской истории, кто может оттуда извлечь уроки сегодняшние.

ИЗ УЗЛОВ ПРЕДЫДУЩИХ

Ноябрь 1904
Июль 1906

На что рассчитывали они? Как могли они ждать, что убийством монарха получат уступки от его наследника? Только разве если был бы он раскисляй. Но никакой нормальный человек не может простить убийства своего отца. Да за 13 лет царствования был ли хоть один важный закон подписан Александром III без воспоминанья: отец мой дал свободу, дал реформы — и его убили, значит, путь его был неверен. Как аукнется... За бомбистов получило всё русское общество реакцию 80-х годов, обратный толчок в до-севастопольское время. Охранные отделения только тогда и были созданы, в ответ. (Да впрочем, чего они стоили-то, *по-нашему?*)

Группа, готовившая теперь убийство и Александра III (1 марта 1887), объясняла свою платформу так:

> Александр **Ульянов**: Русская интеллигенция в настоящее время *только в террористической форме может защитить свое право на мысль.* Террор создан XIX столетием, это *единственная форма защиты*, к которой может прибегнуть меньшинство, *сильное лишь духовной силой и сознанием своей правоты...* Я много думал над возражением, что русское общество не проявляет сочувствия к террору, даже враждебно относится к нему. Но это — недоразумение.

И оказался прав: уже через 10—15 лет русское общество видело в терроре свою весну.

> **Осипанов**: Мы надеемся, что правительство уступит, если террор будет применяться нами систематически. Мы надеемся *террором пробудить в массах интерес к внутренней политике.* В народе образуются свои боевые группы для борьбы со своими частными угнетателями, постепенно всё это сольётся в общее восстание. А уж *когда оно наступит — мы будем сдерживать жертвы и насилия, насколько можно...*

Как аукнется... Ведь и группа Ульянова — Осипанова образовалась в ответ на разгон

митинга в память Добролюбова. (Хоть и к Добролюбову вернуться: тоже и он — не первый! — выдыхал в ветер этой ненависти.)

И оружием высказанная ненависть не утихала потом полстолетия. А между выстрелами теми и этими метался, припадал к земле, ронял очки, подымался, руки вздевал, уговаривал — и был осмеян неудачливый русский либерализм. Однако заметим: он не был третеец, он не беспристрастен был, не равно отзывался он на выстрелы и окрики с той и другой стороны, он даже не был и либерализмом сам. Русское образованное общество, давно ничего не прощавшее власти, радовалось, аплодировало левым террористам и требовало безраздельной амнистии всем им. Чем далее в девяностые и девятисотые годы, тем гневнее направлялось красноречие интеллигенции против правительства, но казалось недопустимым увещать революционную молодёжь, сбивавшую с ног лекторов и запрещавшую академические занятия.

Как ускорение Кориолиса имеет строго обусловленное направление на всей Земле, и у всех речных потоков, текущих с севера, так отклоняет воду, что подмываются и осыпаются всегда правые берега рек, а разлив идёт налево, — так и все формы демократического либерализма на Земле, сколько видно, ударяют всегда вправо, приглаживают всегда влево. Всегда левы их симпатии, налево способны переступать ноги, клеву клонятся головы слушать суждения — но позорно им раздаться вправо или принять хотя бы слово справа.

Если бы кадетский (и всемирный) либерализм имел бы оба уха и оба глаза развитых одинаково, а идти способен бы был по собственной твёрдой линии — он избежал бы своего бесславного поражения, своей жалкой судьбы (и, может быть, с крайнего лева не припечатали бы его «гнилым»).

Труднее всего прочерчивать *среднюю* линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решётка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твёрдого мужества, самого расчётливого терпения, самого точного знания.

Земство, как можно это слово понять наиболее широко, есть общественный союз всего населения данной местности; уже — лишь тех, кто связан с землёю, владеет ею или обрабатывает её, не горожан. В земской реформе 1864 года, тогда понимавшейся лишь как первая стадия, слово было истолковано наиболее узко: это было местное самоуправление, и главным образом помещичье.

Но оттого ли, что дворянство при добровольности земской работы пошло на неё не сплошь, корыстное не шло, именно потому, что не видело там себе корысти, а шли те, кто были проникнуты общественными заботами и жаждою справедливости; или, как напоминает виднейший и первейший земец Дмитрий Николаевич Шипов, оттого, что не в русской традиции отстаиванье *интересов* групп и классов, но совместные поиски *общей правды*, — земская идея проявилась выше обычной муниципальной: не просто самоуправляться, но служить требованиям общественной правды, постепенно ослаблять исторически сложившуюся социальную несправедливость. Члены земского союза создавали земские средства пропорционально своим доходам, расходовали же их — для классов недостаточных.

Первоначально созданное земство ещё не срослось с коренным нижним слоем — не имело волостного земства, которое бы стало подлинным крестьянским самоуправлением; ещё не распространялось и вширь — на нерусские имперские окраины; и вверх не поднималось выше губернских земств, не имея законных прав на межгубернские, всероссийские объединения. Однако все эти три направления роста были заложены в александровской реформе — и при терпеливом безреволюционном развитии мы может быть могли бы уже к концу XIX века иметь, при монархии, беспартийное общественное самоуправление с этическою окраской.

Увы, Александр III, предполагая во всякой общественной самодеятельности зародыши революции, тормозя большинство начинаний своего худо возблагодарённого отца, остановил и исказил развитие земства: ужесточил административный надзор за ним и сузил ведение его; вместо постепенного уравнения в нём сословий, напротив, выразил резче сословную группировку; ещё поволил дворянству, просвещённостью своей отворотившемуся от самодержавия, и оставил в униженном положении, даже с телесными наказаниями — крестьянство, которое одно только и быть могло естественной опорой

монархии. Однако земство и в этих условиях ещё долго оставалось верно идеям реформ — совместной работе передового общества с исторической властью. Постоянно обставленное недоверием власти, подозрениями в неблагонадёжности, земство всё более изощрялось (и раздражалось) в избежании, обходах и хитростях против правительственных помех. Но надежды общества всё же дождаться от власти понимания и сотрудничества ещё теплились и теплились, и едва воцарился Николай — к нему с верой обратились многие земства в верноподданных адресах. Земцы предполагали, что молодой Государь не знает настроения общественных кругов, незнаком с нуждами населения и охотно примет предложения и записки.

И таких моментов, когда вот, кажется, доступно было умирить безумный раздор власти и общества, повести их к созидательному согласию, мигающими тёпло-оранжевыми фонариками немало расставлено на русском пути за столетие. Но для того надо: себя — придержать, о *другом* — подумать с доверием. Власти: а может, общество отчасти и доброго хочет? может, я понимаю в своей стране не всё? Обществу: а может, власть не вовсе дурна? привычная народу, устойная в действиях, вознесенная над партиями, — быть может она своей стране не враг, а в чём-то благодеяние?

Нет, уж так заведено, что в государственной жизни ещё резче, чем в частной, добровольные уступки и самоограничение высмеяны как глупость и простота.

Николай II ответил своей знаменитой фразой:

> ...в земских собраниях увлеклись бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Я буду охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранил его мой незабвенный покойный родитель.

Настолько незаконным считалось всякое межгубернское объединение земцев, что в 1896 новоназначенный перед коронацией министр внутренних дел Горемыкин запретил председателям губернских земских управ даже обсуждение: как бы вместо пустых трат на подносы и солонки (хлеб-соль) ото всех земств, сложиться на единое благотворительное дело. И большою льготою для земств разрешил им собирать совещания на частных квартирах, чтоб только ни слова единого о тех совещаниях не попало в печать.*

Министр внутренних дел Сипягин натужно крепил прика́зный строй, как он понимал пользу своего Государя и страны, был убит террористами в апреле 1902 — и затем ещё два года ту же линию вёл умно-властный Плеве, пока не был убит и он под растущее ликование общества. Вился между ними макиавеллистый Витте, слишком хитрый министр для этой страны: всё понимая, он ничем не хотел рискнуть или пособить. Он составлял докладную записку Государю, что земский строй несовместим с самодержавием, и весь тон её был — нельзя же подрывать самодержавие, а глубинный смысл, рассчитанный на сто ходов вперёд: нельзя же самодержавию и дальше сдерживать земство! — но об этом должны были догадаться другие, не он досказать.

Всё тою же цепенеющей, неподвижной идеей — как задержать развитие, как оставить жизнь прежнею, переходила российская власть в новый XX век, теряя уважение общества, возмущая бессмыслицей порядка управления и ненаказуемым произволом тупеющих местных властей. Расширение земских прав было останавливаемо. Студенческие волнения 1899 и 1901 резко рассорили власть и общество: в буйных протестах молодёжи либералы любили самих себя, не устоявших так в своё время. Убийство министра просвещения студентом (в 1901) стало для общества символом справедливости, отдача мятежных студентов в солдаты — символом тирании. 1902 ещё более обострил разлад между властью и обществом, студенческое движение бушевало уже на площадях, а напористый Плеве при извивах Витте отнимал у земства даже коренные земские вопросы — даже к «совещаниям о нуждах сельскохозяйственной промышленности» не хотел допустить земских собраний. Он-то имел в виду обойтись особенно без «третьего элемента» земств — наёмных специалистов в земских управах, средь которых и правда устраивались многие революционные люди, по выражению Плеве:

> когорты санкюлотов и доктринёров, чиновников второго разбора, чей стиль отработан в тюремных досугах.

Однако земство естественно было уязвлено и взбудоражено: ведь если оно устранялось даже от прямых сельскохозяйственных вопросов, то — вообще быть или не

* А впрочем, по понятиям 70-х годов XX века, — конечно, льгота, и немалая.

быть земству дальше? В мае 1902 ведущие земцы собрали в Москве на квартире у Шипова, на Собачьей площадке, частное межгубернское (незаконное) совещание. Оно приняло очень умеренные, благоразумные решения: как, не бойкотируя правительственных губернских совещаний, суметь связать их с деятельностью земств и тем загладить грубую неловкость правительства. Но указывало, что для успешного решения всех частных сельскохозяйственных вопросов необходимо

> поднять личность русского крестьянина, уравнять его в правах с лицами других сословий, оградить правильной формою суда, отменить телесные наказания, расширить просвещение. И построить вне сословий всё земское представительство.

Необъятная груда задач заграждала России путь в новый век. Но терпеливое земство не кралось взорвать эту груду, а протягивало деятельные руки — разбирать. Для умных людей, озабоченных благообращением отечества, постепенность в изменениях неизбежна.

> Шипов: Если желать успеха делу, нельзя не считаться со взглядами лиц, к которым обращаешься. Необходимость какой-либо реформы должна быть предварительно не только широко осознана обществом, но и государственное руководство должно быть с нею примирено.

Однако глядя так и действуя так, земцы всё равно не уговорили верховной власти. По домоганию Плеве участники этого самовольного совещания на Собачьей площадке получили высочайший выговор и предупреждение, что могут быть устранены от всякой общественной деятельности. Тем более было отказано земствам в их просьбе допускать их к предварительному — прежде Государя — обсуждению законопроектов, имеющих местное значение. Высочайший манифест в феврале 1903 обещал глушить

> смуту, посеянную отчасти замыслами, враждебными государственному порядку, отчасти увлечением началами, чуждыми русской жизни.

Самодержавие так и обещало: оно не поступится ничем! оно не прислушается и к самым доброжелательным подданным! Ибо только Оно одно (без народного Собора, с приближёнными бюрократами, обсевшими лестницу взаимных привилегий) ведает подлинные нужды России.

Но, теряя надежду на добрую волю российской власти, тем упорнее отстаивало в земство своё общественное понимание. Всё более складывался *незаконный* межгубернский общеземский союз; через личные общения легко добивались во всех губерниях и уездах — однотипных резолюций, однотипных ходатайств, однотипной неуступчивости, в свою очередь все более раздражавшей и власть.

Тут — незаметно, нерезко, как и все истоки истории, началось перерождение земской среды: раскол земства, очень неравный, на разливанное большинство и крохотное меньшинство; и нарастающее общение, объединение этого большинства с не-земцами — кругами городских самоуправлений, кругами судейского сословия, особенно адвокатами, с интеллигенцией профессиональной — в общее формирование *конституционалистов,* а затем в июле 1903 в увлекательную игру, называемую «Союз Освобождения». Коль скоро деятельность не дозволялась — ей приходилось быть нелегальной. Коль скоро все революционеры успешно имели конспиративные партии — отчего бы такую партию не завести либералам? Но так как им не надо изготовлять бомбы и хранить их, то им не надо и покидать своей обычной жизни — не надо скрываться под чужими именами, не надо уходить из своих удобных квартир, и эмигрировать не надо, и испытывать тяготы партийной дисциплины: всякий, кто сочувствует боевому «Союзу», — вот в нём уже и состоит, и никаких обязанностей тяжелей того с него не спросится. И вот всё *общество* уже и состояло в Союзе, куда не требовалось формального приёма. Правительству не надо было трудиться узнавать состав Союза, потому что в с е и состояли. Союз был нелегальный, а — почти просвещенный, всем известный и как будто уже и не криминальный. Всё, что нуждались они сказать, но нельзя было по русским условиям, печаталось за границей в журнале «Освобождение» и с большой свободой распространялось по России.

Не-земцы были в курсе всех западных социалистических учений, течений, решений, всё читали, знали, обо всём судили, могли очень уверенно критиковать и сравнивать Россию, и одного только не имели — практического государственного опыта, как делать и строить, если завтра вдруг придётся самим (да не очень к тому и тянулись). Напротив, земцы были единственным в России слоем, кроме царских бюрократов, кто уже

имел долгий, хотя и местный, опыт государственного управления, и склонность к тому имел, и з е м л ю знал и чувствовал, и коренное население России. Однако по бойкости и эрудированности не-земцы брали верх, больше вляли и больше направляли.

Союз начал с программы из двух слов: долой самодержавие! Это всех объединит! Они полагали, что вся масса тёмного неграмотного народа только и жаждет политических свобод. Лишь бы свергнуть монархию! — а там дальше волшебное всеведущее Учредительное Собрание, состоящее из сверхлюдей, точно выразит волю народа, разработает всё остальное. Царствующий монарх должен быть уже отныне, прежде Учредительного Собрания, устранён от всякого влияния на государственную жизнь. От существующего строя не требовалось ни перестраиваться, ни улучшаться, а только: сгинуть. *Освобожденцы* — то есть большинство российской интеллигенции, весь либеральный цвет ее, и не хотели никакого примирения с властью, и тактика их была: нигде не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт. Они и не пытались искать, что из русской действительности и её учреждений может, преобразовавшись, войти в будущее: всё должно было обрубиться и начисто замениться. Они мыслили (теоретически изучили) Конституцию с большой буквы — введенная в России, она решит все проблемы.

Прошёл год — оказалось, что программа «долой самодержавие» не увлекла ни крестьянство, ни рабочих. Тогда разработали программу обширнее, где тех и других завлекали практическими обещаниями по их части, а весь народ в целом, вероятно же изнывающий от страсти к политической жизни, — набором буйных свобод, которые её обеспечат. В трёх десятках пунктов было собрано всё необходимое, чтобы составить жизнь по лучшим западным образцам. (Против которых невозможно найти разумные аргументы, пока не испытаешь их на своей стране и на себе.)

Принцип «долой самодержавие» как будто давал объединение со всеми, кто только хотел. Русский радикализм (он продолжал называть себя либерализмом) оказывался солидарен со всеми революционными направлениями, а поэтому не мог осуждать террор, даже порицал тех, кто порицает террор. Русский радикализм принял принцип, что если насилие направлено против врага — оно оправдывается. Оправдывались все политические волнения, стачки и погромы поместий. Чтобы смести самодержавную власть, была пригодна, наконец, хотя бы и революция — во всяком случае меньшее зло, чем самодержавие.

Редактор «Освобождения» многоищущий Пётр Струве к тому времени чем только не перевлёкся, где только не перебывал: и основывал РСДРП (и манифест писал), и во Пскове совещался с Лениным — Мартовым об «Искре», и соглашался, и расходился с Плехановым, и вот теперь в органе свободных либералов печатал:

> Русскому либерализму не поздно ещё стать союзником социал-демократии.

А вот и поздно! — II съезд РСДРП оттолкнул либералов-освобожденцев, чем глубоко огорчил и уязвил их. И в октябре 1904 ни большевики, ни меньшевики не поехали в Париж на 1-ю (и последнюю) конференцию оппозиционных партий, где Милюков, Струве и князь Долгоруков, по принципу солидарности с революционными течениями, заседали с эсерами, с Азефом и с пораженцами, кто на японские деньги закупал оружие и слал его в Петербург поднимать восстание, пользуясь войною. (Так как в борьбе с самодержавием все средства хороши, то хоть и узнать бы о японских деньгах — почему не взять?)

Императорское правительство ещё существовало, но в глазах освобожденцев как бы уже и не существовало. Чего они никак не представляли, это — чтоб между нынешней властью и населением кроме жестоких противоречий была ещё и жестокая связь гребцов одного корабля: идти ко дну — так всем. Чего Освободительное Движение вообразить не могло и не желало — это достичь своих целей плавной эволюцией.

Но именно такой путь искало осуществить земское *меньшинство* — меньшинство утлое, однако вёл его Шипов — председатель московской губернской земской управы и как бы признанный глава ещё не созданного всероссийского земства; были тут два примечательных князя Трубецких и три будущих председателя Государственной Думы.

Миропонимание и общественная программа формулировались Д. Н. Шиповым так.

Смысл нашей жизни — творить не свою волю, но уяснить себе смысл миродержавного начала. При этом, хотя внутреннее развитие личности по своей важности и первенствует перед общественным развитием (не может быть подлинного прогресса, пока не переменятся строй чувств и мыслей большинства), но усовершенствование форм социальной жизни — тоже необходимое условие. Эти два развития не нужно противопоставлять, и христианин не имеет права быть равнодушен к укладу общественной жизни. Рационализм же повышенно внимателен к материальным потребностям человека и пренебрегает его духовной сущностью. Только так и могло возникнуть учение, утверждающее, что всякий общественный уклад есть плод естественно-исторического процесса, а стало быть не зависит от злой или доброй воли отдельных людей, от заблуждений и ошибок целых поколений; что главные стимулы общественной и частной жизни — *интересы*. Из отстаивания прежде всего интересов людей и групп населения вытекает своя современная западная парламентарная система, с её политическими партиями, их постоянною борьбой, погонею за большинством, и с конституциями как регламентами этой борьбы. Вся эта система, где правовая идея поставлена выше этической, — за пределами христианства и христианской культуры. А лозунги народовластия, народоправства наиболее мутят людской покой, возбуждают втягиваться в борьбу и отстаивать свои права, иногда и совсем забывая о духовной стороне жизни.

С другой стороны, неверно приписывать христианству взгляд, что всякая власть — божественного происхождения и надо покорно принимать ту, что есть. Государственная власть — земного происхождения и так же несёт на себе отпечаток людских воль, ошибок и недостатков. Власть существует повсюду — из-за слабости человеческой природы: неспособности человека обойтись без организованного порядка жизни в принуждении. Но и сама власть носит в себе ту же человеческую слабость, тем сильнее, что именно власть развращает человека, — и тем сильней, чем духовно слабее властвующий. Власть — это безысходное заклятье, она не может освободиться от порока полностью, но лишь более или менее. Поэтому христианин должен быть деятелен в своих усилиях улучшить власть и улучшить государство.

Но борьбой интересов и классов не осуществить общего блага. И права и свободу — можно обеспечить только моральной солидарностью всех. Усильная борьба за политические права, считает Шипов, чужда духу русского народа — и надо избегнуть его вовлечения в азарт политической борьбы. Русские искони думали не о борьбе с властью, но о совокупной с ней деятельности для устроения жизни по-божески. Так же думали и цари древней Руси, не отделявшие себя от народа. «Самодержавие» это значит: независимость от других государей, а вовсе не произвол. Прежние государи искали творить не свою волю, но выражать соборную совесть народа — и ещё не утеряно восстановить дух того строя. Шипов утверждает, что когда у нас собирались земские соборы, то не происходило борьбы между царём и соборами, и не известны случаи, когда бы царь поступил в противность соборному мнению: разойдясь с собором, царь только ослабил бы свой авторитет. Для такого государства, где и правящие и подчинённые должны прежде всего преследовать н е и н т е р е с ы, а стремиться к п р а в д е отношений, Шипов находит наилучшей формой правления именно монархию — потому что наследственный монарх стоит вне столкновений всяких групповых интересов. Но выше своей власти он должен чувствовать водворенье правды Божьей на земле, своё правление понимать как служение народу и постоянно согласовывать свои решения с соборной совестью народа в виде народного представительства. И такой строй — выше конституционного, ибо предполагает не борьбу между Государем и обществом, не драку между партиями, но согласные поиски добра. Именно послеалександровское земство, уже несущее в себе нравственную идею, может и должно возродить в новой форме Земские соборы, установить *государственно-земский строй*. И всего этого достичь в духе терпеливого убеждения и взаимной любви.

Увы, задача эта очень трудна, ибо на переломе XIX — XX веков в России носители власти утратили веру в себя. А с другой стороны,

> э т о м у обществу — лишённому нравственной силы и способности к дружной работе, власть и не может доверять. В обществе преобладает отрицательное отношение и к вере отцов, и к истории, быту и пониманиям своего народа. Либеральное направление так же ложно и крайне, как и правительственное. А всё же можно устранять и устранить недоверие между властью и обществом, и достичь их живого взаимодействия.

> Власти должны перестать считать, что самодеятельность общества подрывает самодержавие. Общество уже сегодня должно самостоятельно заведывать местными потребностями и не быть под административным произволом и личным усмотрением. Проекты государственных учреждений

должны быть доступны общественной критике д о утверждения их Государем.

Всего-то, для начала! Неужели — много, Ваше Императорское Величество? Шипов не предлагает конституции, он не зовёт к политической борьбе — но лишь к моральной солидарности с народом. Неужели земцы устроят в своей местности хуже, чем из Петербурга укажут бюрократы, никогда не знавшие земли?

Так думал и действовал Шипов четыре срока в своей земской должности, и в начале 1904 был избран на пятое трёхлетие. Авторитет его не только в московском, но и всероссийском земстве был уже таков, что даже при нарастающих спорах и расколе его оппоненты голосовали за него первого и постоянно желали видеть председателем именно его. (Душевная чистота, внимающая мягкость, основательность мысли и твёрдость поведения — обдают и современного читателя со страниц его медлительных записок.) В том же духе любви, внимания и добра пытался Шипов стоять перед министром Плеве, и был им — сначала обманут, затем подвергнут притеснениям, перлюстрация писем, затем — неутверждению в пятом избрании:

> самозванец «всероссийского земства»; его деятельность по расширению компетенции земств и объединению их вредна в политическом отношении.

Весной 1904 Шипову осталось уйти от земских дел, удалиться в своё волоколамское имение. А 15 июля Плеве был убит террористом.

> Это известие произвело на меня угнетающее впечатление. Моему мышлению и чувству всегда было непонятно, как можно, стремясь к переустройству уклада жизни на началах добра и высшей правды, идти путём преступного убийства.

А Струве и давно пророчил так

> Жизнь министра внутренних дел застрахована лишь в меру технических трудностей его умерщвления.

От убийства непримиримого Плеве — надежды либералов вспыхнули багряным протуберанцем, по всей России наступило ликование, политическая весна. А шла ж ещё и японская война — начатая без ясной причины, чужая, далёкая и позорно-неудачная, настолько чужая и настолько позорная, что оскорбления от неё уже перешли меру, стало даже приятно позориться и дальше, и жаждать поражений, чтобы в них крахнуло самодержавие и должно было бы пойти на внутренние уступки. В эти месяцы родилось слово *режим* вместо «государственный строй», как нечто сплетённое из палачей, карьеристов и воров, и в столичном театре публика кричала балерине, любовнице великого князя Алексея Александровича, возглавлявшего морское ведомство: «Пошла вон! На тебе висят наши броненосцы!» «Освобождение» писало: господа военные, «нам не нужно вашей бессмысленной храбрости в Манчжурии, а ваше политическое дерзание в России; обратитесь против истинного врага, он в Петербурге, Москве, это самодержавие!» В обществе не было никакого страха перед властью (да теперь-то хорошо видно, что и нечего было им бояться), на улицах произносились публичные речи против правительства и считалось, что террористы — творят *народное дело*.

Правительство сразу сдало, сразу размякло и ослабло, как будто на одном Плеве держалось, как будто никогда не имело никакой самодвижущей программы (да и вправду не имело), а лишь рассчитывало силы: пока держишься — дави, а рука расслабнет — улыбайся и уступай. Революционеры же цедили сквозь зубы, что эта либеральная сволочь опять пожнёт плоды их революционного пота, опять смажет революцию н реформы.

И снова замигала на русском пути тёплая точка возможного согласия. Летом 1904 министром внутренних дел был назначен князь Святополк-Мирский, хотя и мало подготовленный к этой деятельности и не сильный, но искренно заявивший в первой же речи, в сентябре:

> Плодотворность правительственного труда основана на благожелательном и доверчивом отношении к общественным учреждениям и к населению. Без взаимного доверия нельзя ожидать прочного успеха в устроении государства.

Да это и была программа Шипова и его меньшинства! Но уступку министра подхватило и всё земское большинство, посыпались телеграммы ему — и тут же стали готовить давно задуманный общеземский (видных, но никем не уполномоченных земцев) съезд. Именно уступчивость Святополк-Мирского толкнула земцев требовать

большего, чем они хотели раньше: получить не обещания очередного министра, но правовые гарантии. Всё оргбюро земского съезда были конституционалисты, почти все — члены Союза Освобождения, и проголосовали против одного Шипова (впрочем, прося его остаться председателем): снять предлагавшиеся робкие вопросы о недостатках земских учреждений, об условиях сельского быта, о народном образовании и поставить вопрос *об общих условиях нашей государственной жизни*. Доверчивый Святополк-Мирский по прежнему представлению Шипова ходатайствовал перед Государем разрешить съезд, посвящённый *местным* вопросам, а между тем съезд уже превращался в подобие желанного заветного Учредительного Собрания — и всё общество стихло, напряжённо ожидая его. А тут Государь был всё занят военными парадами, и когда Святополк доложил ему о своей ошибке, о невольном обмане — было уже поздно: уже съезжались в Петербург сто земцев. В последнюю минуту изнехотя им разрешён был статут частного совещания. 6—9 ноября они совещались на частных квартирах, меняя и тая адреса, впрочем полиции вежливо охраняла их собрания и доставляла им приветственные телеграммы с разных концов страны, даже от политических ссыльных. (В кулуарах сновал с программою Союза Освобождения Милюков, воротившийся с пораженческой парижской конференции.) Шипов не уклонялся председательствовать, надеясь повлиять примиряюще на совещание, начатое с убеждением:

> Если не дано будет правильно обоснованных начал, Россия пойдет с неизбежностью к революции.

...Ненормальность нынешнего государственного управления... Общество устранено... Централизация... Нет гарантий охраны прав всех и каждого... Свобода совести, вероисповедания, слова, печати, собраний, союзов... Неприкосновенность жилища... Независимая судебная власть... Уголовная ответственность должностных лиц... Уравнение сословий и наций... — весь этот реестр из программы Союза не вызывал расхождений в земском съезде. И всё же произошёл раскол: оговорить ли и требовать, чтобы народное представительство было *законодательное*, утверждало бы бюджет и контролировало администрацию (большинство)? Или только *участвовало в законодательстве*, для чего Государственный Совет превратить в Государственно-Земский, в его бюрократический назначенный состав — заместить многостепенно выбранными, от волости до губернии, земскими представителями (меньшинство)?

Аргументы Шипова звучат особенно интересно ныне, когда все мы приняли точку зрения его противников, когда всем нам прямые равные тайные выборы кажутся верхом свободы и справедливости. Ш и п о в указывает:

> Народное представительство должно выражать не случайно сложившееся во время выборов большинство избирателей, а — действительное направление народного духа и общественного сознания, опираясь на которые власть только и может получить нравственный авторитет. А для этого надо привлечь в состав народного представительства наиболее зрелые силы народа, которые понимали бы свою деятельность как нравственный долг устроения жизни, а не как проявление народовластия. При всеобщих прямых выборах личности кандидатов остаются избирателям практически не известными, и избиратели голосуют за партийные программы, но по сути не разбираются и в них, а голосуют за грубые партийные лозунги, возбуждающие эгоистические инстинкты и интересы. Всё население, лишь ко вреду, втягивается в политическую борьбу. Да и неверно это предположение современного конституционного государства, что каждый гражданин способен судить обо всех вопросах, предстоящих народному представительству. Нет, для сложных вопросов государственной жизни члены народного представительства должны обладать жизненным опытом и глубоким миросозерцанием. Чем менее просвещён человек умственно и духовно, тем с большей самоуверенностью и легкомыслием он готов разрешать самые сложные проблемы жизни, чем бо́льшим развитием ума и духа обладает человек, тем осторожнее и осмотрительнее относится он к устроению жизни общественной и частной. Чем менее опытен человек в жизни и государственном деле, тем более он склонен к восприятию самых крайних политических и социальных увлечений; чем более человек имеет сведений и жизненного опыта, тем более сознаёт он неосуществимость крайних учений. А кроме того народное представительство должно вносить в государствен-

> ную жизнь знание местных потребностей, назревающих в стране. Для всего этого лучшею школой является предварительное участие в местном, земском и городском самоуправлении.

И потому вместо всеобщих прямых выборов западно-парламентского образца Шипов предлагал трёхстепенные внесословные общие выборы хорошо знакомых избирателям достойных способных местных деятелей: в волостях избирается уездное земское собрание, в уездах — губернское, в губерниях — всероссийское, каждый раз — с особым учётом крупных городов, и с правом кооптации до одной пятой состава на каждом уровне,

> чтобы не были упущены весьма полезные деятели, не избранные по случайным причинам: перевеса числа достойных кандидатов над числом допустимых гласных, неблагоприятные личные обстоятельства и т. д.

И во всех стадиях выборов обеспечить пропорциональность, так чтобы представители меньшинств нигде не были исключены или заглушены.

Затем: министры *назначаются* Государем, но из числа народных представителей; Государственно-Земский Совет может давать им запросы, но *ответственны* они — лишь перед Государем. На возражение большинства:

> Так значит, остаётся абсолютизм монархической власти? народному представительству — лишь совещательный голос?

Шипов отвечал:

> Да, с *правовой* точки зрения — так, если считать, что цель народного представительства — ограничение царской власти. Но если иметь в виду их *тесное единение*, если над монархом тяготеет тот же нравственный долг, что и над народным представительством, — тогда как же мог бы монарх не посчитаться с ним? и тогда избыточен вопрос — решающий или совещательный голос у народного представительства.

Увы, ни монарха такого не было на Руси в 1904 году, ни таких народных представителей не дало бы избрать шумливое образованное общество.

В том-то и дело, что раскол земского съезда был глубже вопроса о форме выборов или правах народного представительства, глубже практического и организационного, а уходил к корням мировоззрения. Шипов указывал большинству, что класть в основу реформы идею *прав и гарантий* значит вытравлять и выветривать из народного сознания ещё сохранённую в нём религиозно-нравственную идею. Оппоненты из большинства за то назвали его славянофилом, хотя не признавал он ни божественного происхождения самодержавия, ни превосходства православия над другими христианствами, — но уж так усвоено было полувеком раньше (да и полувеком позже), что всякий, кто хочет уклониться от прямого следования западным образцам, всякий, кто допускает, что путь России (или другого какого континента) может оказаться своеобычным, — есть *реакционер, славянофил*.

Этот раскол на квартире Владимира Набокова, ещё не до конца осознанный присутствующими, как будто спор об одном пункте из дюжины, раскол на земцев-конституционалистов и собственно-земцев, так сказать, если выругаться, на земских большевиков и земских меньшевиков (игра событий, мало запомненная в нашей истории), тем отличался, однако, от раскола РСДРП двумя годами ранее, что тут большинство настаивало непременно включить в резолюцию параллельно также и мнение меньшинства. И тем, что большинство (а это и была уже партия кадетов, но ещё себя не осознавшая) желало мирных реформ, желало эволюции.

Святополк-Мирскому была подана записка об этих желательных реформах.

> ...Нынешняя война вскрыла язвы бюрократического строя глубже, чем севастопольская... Старый порядок осуждён человеческим и Божеским судом... Как в эпоху освобождения крестьян, правительство должно стоять впереди, а не позади общества...

Так мигала, миганием уговаривала новая тёплая точка. Хотя съезд переступил свои полномочия и границы, но, кажется, приотворялась давно потерянная возможность доброжелательного соглашения общества и власти. Святополк-Мирский, рискуя постом министра внутренних дел, представил Государю необходимость начать реформы, с искренним намерением далеко в них пойти. Да Государь как будто и не возражал, только мялся, только не сразу соглашался, по своей недоверчивости и скрытности.

А тем временем окрылённые победители — земское большинство кинулось по России рассказывать о победе и, тут уже сливаясь с упоённым Союзом Освобождения, по его директивам из-за границы, и пользуясь святополковым же облегчением собраний и слова (над которым они же и смеялись), раскатили в единый месяц по всей России *банкетную кампанию:* в каждом крупном городе собирались многолюдно, шумно, в смешанном случайном составе, вскладчину, белоснежные скатерти, духи, шампанское, и, раскачивая друг друга всё большею смелостью тостов, седовласый профессор о заветах Вольтера, конопатый землемер о программе с-д, провозглашали во торжество общеземского съезда уже не то, что он предлагал, но — долой самодержавие! но наполняя лёгкие радостью — да здравствует Учредительное Собрание! — как если бы страна уже корчилась в развалинах, и надо же было учредить хоть какую-нибудь власть.

Что за праздник смелых либералов! Что за радость — выйти перед длинным белым столом и, немного уже пьяному, говорить против власти, ничего не боясь, и почтить своим тостом отважных революционеров, принесших России такую свободу!

А с трона увиделось: вот чего на самом деле земцы хотят, лишь притворяются о соглашении. Уступить сейчас этому шуму — значит скоро потерять всё. (Да ведь и правда.)

И 12 декабря Николай II отменил пункт о всяком вообще, каком бы то ни было народном представительстве, хоть совещательном, хоть законодательном. Остальная программа земцев, по сути, принималась, но обществу это уже не годилось, тем более, что сборища были осуждены и запрещалось обсуждать государственные вопросы. И Святополк подал в отставку.

Точка накалилась до багровости и лопнула в темноту.

А события быстро катились. 9 января в Петербурге расстреливали рабочую демонстрацию. 5 февраля был убит московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. И сразу — новый язык и новые понятия появились у российского монарха. Если 12 декабря писалось:

> Земские и городские учреждения и общества обязаны не касаться тех вопросов, на обсуждение которых не имеют законных полномочий,

то в Указе 18 февраля вдруг:

> В неустанном попечении об усовершенствовании государственного благоустройства... признали Мы за благо облегчить нашим верноподданным возможность быть Нами услышанными. Совету Министров рассматривать и обсуждать поступающие виды и предположения от частных лиц и учреждений...

За что карали 12 декабря, за то благодарили 18 февраля. И — начинали подготовку Государственной Думы. Так отступала сила, признающая только силу.

А в открывшуюся калитку хлынул Союз Освобождения, который *полнее* представлял Россию, чем отсталые земцы, — и вот уже ворота разносил! Союз не имел дисциплины, организации, но все замыслы его тотчас подхватывались сочувствующей интеллигенцией, и в этом была его сила. По его директивам стали создаваться в стране союзы профессий, сперва только интеллигентных — адвокатов, писателей, актёров, профессоров, учителей, — но не для защиты профессиональных интересов, а — для подачи трафаретных единых предложений: о всеобщем избирательном праве, Учредительном Собрании, конституции. Это раскинулось и на все и на всякие другие профессии, какие только можно было словами назвать, — союзы ветеринарный, крестьянский, еврейского равноправия, — и все подавали одни и те же предложения, а вот слились и в единый Союз союзов, который и явился уже собственно *волей народа* (Милюков) — а чем же другим? (Разве что по Троцкому: «земской уздой, накинутой освобожденцами на демократическую интеллигенцию».) Главная задача была — раскалить общественную обстановку! Сам Союз Освобождения давно уже потерял внутренний паритет между земцами и не-земцами, всё больше затоплялся левыми интеллигентами и разрастался налево, налево, налево. В апреле 1905 состоялось ещё одно общеземское совещание — всё под влиянием освобожденцев, банкетов, резолюций, *превосходное в радикализме, устанавливая новый политический рекорд* (Милюков).

Неповоротливая группа Шипова ушла с совещания, сметена с дороги истории.

Что за изумительное сладчайшее время наступило для мыслящей русской интеллигенции! Самодеятельный кружок седовласых законоведов — Муромцева, Ковалев-

ского, вместе с учёной молодёжью сидел, под тяжёлую пальбу Цусимы вырабатывал будущую русскую конституцию (где предпочитались выборы *прямые*, чтобы избранные были меньше связаны с местными условиями, меньше обязаны своим избирателям, и оказались бы не деревенские, а свободные высоко-культурные люди). Уже собирались пожертвования на будущую партию интеллигенции от богатых дам и широкощедрых купцов. В лучших особняках разряженная богатая свободная публика с замиранием сердца слушала новых модных смелых лекторов, среди них — полулегендарного, очень революционного Милюкова, чья учёная карьера десять лет назад прервалась предвещанием российской конституции. С тех пор он жестоко преследовался: за лекцию студентам с выводом о неизбежности террора стеснён был в петербургском жительстве, лишь на день приезжал в столицу, а жил в Удельной; ссылался далеко в Рязань; но более всего ездил по заграницам, читал лекции в Англии и в Америке об извечных пороках России и бушевал в «Освобождении» под псевдонимом. Он много повидал и читал заграничного, сокасался с социализмом (и даже с Лениным), и вот — как всегда в истории приходит на нужное место нужный человек и в нужном возрасте — сорокапятилетний Милюков спустился в Россию перед созданием новой партии, чтобы стать её лидером, в лекционных гастролях по Москве и провинции выдвигал увлекательную идею *примирить конституцию и революцию*, либералов и революционеров, и если университетский друг его Гучков обвинял Милюкова в книжности, неорганичности, беспочвенности для России, то, справедливо отмечает Милюков,

> общие симпатии были, конечно, на моей стороне.

Обстановка призываемой, приближаемой, изо всех интеллигентских сил нагнетаемой революции — *симуляции революции* (её ещё нет, но вести себя так, как будто она уже началась и освободила нас!), всё больше и больше нравилась передовому русскому обществу. Союз союзов проводил съезды чуть не по два раза в месяц и призывал своих членов повсюду в стране не просить свободу, а *брать её явочным порядком*, как тогда говорилось: раздвигать локтями, искать поводов для демонстраций, для политической борьбы, устраивать совещания, собрания, митинги. Председателем одного такого съезда вынесло Милюкова, и он воззвал:

> Надежда, что нас услышат, теперь отнята. Все средства законны против нынешнего правительства! Мы обращаемся ко всему, что есть в народе способного отозваться на грубый удар, — всеми силами добивайтесь немедленного устранения захватившей власть разбойничьей шайки и поставьте на её место Учредительное Собрание!

Эту *разбойничью шайку* не зря спустил с пера рассчётливый Милюков: она помогла ему прочно восстановить свою репутацию слева — а то обвиняли его уже, что он — примиритель направо, а с таким клеймом в такое время невозможно было жить. Эта «разбойничья шайка», как сам он считает, и провела границу между ним и Гучковым, между смелым *кадетизмом* и соглашательским *октябризмом*. Милюков убеждался всё более, что делать современную историю — лестно, интересно и ничуть не трудней, чем изучать минувшую.

Симуляция революции принимала всё большее правдоподобие. В начале июля собралось в Москве, в громадном княжеском дворце Долгоруковых в Знаменском переулке, новое земско-городское совещание, уже без шиповского меньшинства. Полиция, пришедшая распустить «явочный» съезд, была отвергнута, ибо собравшиеся «выполняли царскую волю» от 18 февраля:

> облегчить Нашим верноподданным возможность быть Нами услышанными.

А резолюция их была:

> войти в ближайшее общение с народными массами для совместного с народом обсуждения предстоящей политической реформы.

А понималось — просто собрать Учредительное Собрание тоже *явочным порядком*. Эти конституционалисты особенно рассчитывали разжечь народные массы на аграрном и рабочем вопросе. Да ещё и все виды социалистов в те же самые недели занимались *развязыванием* революции в массах, а боевые эсеровские дружины по разным губерниям и сельским местам убивали околоточных, урядников и даже губернаторов, — и массы всё более сознательно откликались забастовками и поджогами помещичьих усадеб — «иллюминациями», как шутил Герценштейн. Всё шло таким образом к Учредительному Собранию. Однако некоторые конституционалисты (имевшие в скромных и даже нескромных размерах весьма приятную, нисколько не обременительную собственность) как будто начинали пугаться и отшатываться — и Павел Николаевич Милюков со всею принципиальностью должен был резко отповедать им:

> Если члены нашей группы настолько щекотливо относятся к *физическим средствам* борьбы, то я боюсь, что наши планы партии окажутся бесплодными. Несомненно, вы все в душе радуетесь известным актам физического насилия, которые всеми заранее ожидаются и историческое значение которых громадно.

Собрание устыдилось, приняло нужные резолюции и распространило их по России.

Всего полгода назад упрямая власть не хотела удовлетворить и самых малых требований — теперь уже и большие уступки не насыщали общества. В июле царь собирал тайно в Петергофе совещание высоких приближённых вырабатывать проект Думы. (В то совещание был допущен и Ключевский. Милюков мило рассказывает, как

> *они* открыли перед Ключевским все свои потаённые планы, и Василий Осипович не без лукавства, ему свойственного,

ежевечерне в петербургской гостинице всё передавал своему далеко пошедшему ученику.) 6 августа был издан новый манифест — об учреждении законосовещательной Думы. Появись она при Святополке, она, может быть, и удовлетворила бы. Но теперь не силу, а слабость показывало правительство, идя на реформу не из устойчивого доброго намерения, а под угрозами; каждым словом и каждым шагом выявляло правительство, что не понимает оно положения страны, настроения общества, и не знает, как лечить их и делать что. Все умеренные элементы стихли и отодвинулись, все рассерженные не покидали митингов и разливались в газетах. Предложенная Дума была отвергнута не только большевиками — даже и милюковская группа колебалась (очень чутко оглядываясь почему-то на Троцкого), а тут еще эту группу на месяц посадили в «Кресты» — всё делая нелепо, всё делая как власти хуже, и через месяц выпустили без единого допроса, только прибавив ореола. Уже вступила верховная власть России в тот безнадёжный круг, когда разум отнят Богом. В тот же нагнетённый август правительство уступило и объявило автономию высших учебных заведений — но только создало острова революции, неприступные для полиции: беспрепятственно бушевали студенты на митингах, и к ним собиралась всякая публика, желающая послушать и побраниться. И кому теперь была нужна законосовещательная Дума? Новый общеземский съезд в сентябре хотя и не бойкот ей объявил (как раз *их* и должны были выбрать туда), но: идти в эту Думу, чтобы взрывать её изнутри. После ухода шиповского меньшинства ещё новое малочисленное гучковское меньшинство тщетно спорило с интеллигентскими теоретиками Союза Освобождения. А Союз всё более заливался социал-демократией, даже прятал на частных квартирах преследуемый Совет рабочих депутатов.

Так и отлилась *конституционно-демократическая* партия, кадетская, как вскоре же, по общей фамильярности революционных сокращений их назовут, и примут они. И эта кличка «кадеты» смешается с прозвищем военизированных юнцов, слегка различая их в падежном склонении, смешается сперва невинно, а через 13 лет уже и порочно — когда тем самым мальчикам достанется оборонять этих самых интеллигентов, от этой самой революции бежавших, и весь котёл их обречённый так и будет зваться — *кадеты*). Правда, скоро схватится новая партия, что сочетание «ка-дэ» очень мало объясняет российскому обывателю, и на ходу они сменят своё полотно на Партию Народной Свободы, — как будто и звучно и народное что-то добывая. Но без употребления будет трепыхаться полотно, а язык прилепит «кадетов». Впрочем, подмена была не манёвром, но верою их: кадетские лидеры так и верили, что их устами и мыслями выражает себя весь огромный народ, с трибун так часто и обмолвливались о себе, как о прямых и точных выразителях народных чаяний, им хорошо известных.

Учредительный съезд партии собрался в Москве («первопрестольная — родина кадетизма», — комично составлял Милюков) при растущей железнодорожной и общей забастовке, так что даже не могли приехать три четверти ожидаемых делегатов. Нелегальные подпольные партии уже много лет существовали в России — и в общем раскале 05 года сами вышли на поверхность, но легальная от рождения — это была первая партия. А в программе был у неё всё тот же сворот головы налево, обязательный для радикалов во всём мире, многие лозунги и оттенки, не вытекавшие из собственного их осознания, но чтобы сохранить питающую связь с левизной. Ново-

взошедший лидер партии Милюков оттенял с гордостью, что они — самые молодые из европейских либералов, и что программа их

> наиболее левая из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами Западной Европы.

Очень резко отъединияясь ото всех, кто остались справа, как от преследующих классовые интересы, Милюков при полном согласии съезда взывал к союзникам слева. Да новая партия сама настолько слева, что её

> учредительный съезд заявляет свою полнейшую солидарность с забастовочным политическим движением. Члены к-д партии *решительно отказались от мысли добиться своих целей путём переговоров с представителями власти.*

Съезд не успел ещё кончиться, как вбежал сотрудник «профессорских» «Русских Ведомостей», в изнеможении и восторге потрясая непросохшим корректурным листком с Манифестом 17 октября.

Радость! Победа! Но — верить? не верить? Хитрость? оттяжка? Противник пал духом? Делегаты валили на Большую Дмитровку на банкет, там в игорном зале подбросили Милюкова на стол говорить, и он, уже смерив, возгласил:

> Ничего не изменилось! война продолжается!

Надо было и дальше вести Россию, как пришла она к Манифесту:

> соединением либеральной тактики с революционной угрозой. Мы хорошо понимаем и вполне признаём верховное право Революции...

Стало модно повторять Вергилия — flectere si nequeo superos Acheronta movebo, если не смогу склонить Высших — двину Ахеронт (адскую реку).

И почему ж бы нет, если союзницу-революцию можно будет использовать против власти, перепугать, — а когда нужно, всегда остановить? Как иначе, если в эти первые дни конституции висит в консерватории плакат «На вооружённое восстание» — и под ним с интеллигентов собирают деньги? Если публично читаются доклады о сравнительных достоинствах браунинга и маузера? Столько лет бесплодно бившись о неуступчивую, безмысло-тупую бюрократию — как в горячности трибунных прений не окрылиться алыми крыльями революции? Если мордам неподатливым ничего доказать нельзя — где набраться терпения на тягучие бесконечные уговоры? как удержаться от желания ахнуть их дубиною по башке?

Сразу после Манифеста пригласил Витте кадетов в формируемый новый кабинет. Едва создалась партия — и сразу открылся ей путь — идти в правительство и ответственно искать, вдумчиво устраивать новые формы государственной жизни. Казалось бы — о чём ещё мечтать? не этого ли добивались — перенить власть и показать, как надо править? Но нервные голосистые кадеты на этом первом шаге выявили: они не были готовы от речей по развалу власти перейти к самой работе власти. Насколько почётней и независимей быть критикующей оппозицией! (Через 12 лет на скольких мы это ещё увидим: при крайнем политическом задоре — растерянный самоотказ из реальной власти.) Их делегация к Витте во главе с молодым идеологом и оратором Кокошкиным сразу приняла вызывающий тон, требовала не устройства делового правительства, но — Учредительного Собрания, но — амнистии террористам, не оставляя нынешней власти ни авторитета, ни места вообще. Да иначе — что бы сказали слева? пойдя на малейшее сотрудничество с Витте — чем бы тогда кадеты отличались от правых?

Увы, левым не угодили всё равно... Едва только учредили кадетскую партию, как московские «освобожденцы» стали из неё выходить, а петербургские, не попавшие вовремя на поезд, теперь и вовсе — не входить. Союз Освобождения хлестал налево и шёл едва ли не за Советом рабочих депутатов. Даже самые отрицательные переговоры с Витте социал-демократы признали

> постыдным шагом, сделкой буржуазии с правительством за счет народа и стремленьем уцепиться за министерские посты.

Напротив, Д. Н. Шипов объяснял кадетов так:

> Эта партия объединила лучшие умственные силы страны, цвет интеллигенции. Но политическая борьба для них являлась как бы самодовлеющей целью. Они не хотели ждать, пока жизнь будет устроиться, постепенно обсуждаемая в её отраслях специалистами со знанием и подготовкой, — но как можно быстрей и как можно жарче вовлекать в политическую борьбу весь народ, хотя б и непросвещённый. Они торопили всеобщие выборы — в обстановке, как можно более возбуждённой. Они не хотели понять, что народным массам чуждо понимание первого начала, проблем государственной жизни, да и самого государства, и тем не менее спешили возбудить и усилить в народе недовольство, пробудить в нём эгоистические интересы, разжечь грубые инстинкты, пренебрегая народным религиозным сознанием.
>
> К религии кадеты были если не враждебны, то равнодушны. Их безрелигиозность и мешала им понять сущность народного духа. Из-за неё-то, искренно стремясь к улучшению жизни народных масс, они разлагали народную душу, способствуя проявлению злобы и ненависти — сперва к имущественным классам, потом и к самой интеллигенции.

А. Гучков:

> Я никогда не скрывал своего безусловно отрицательного отношения к партии к-д. Я считаю, что эта партия сыграла роковую роль в истории нашей молодой политической свободы. Я присутствовал при её зачатии и рождении и сказал в своё время слово предостережения. Эта партия ловко подсела на запятки русской революции, приняв её за ту триумфальную колесницу, которая довезёт их до вершин власти, и не заметив, что это просто дрянная телега, которая вконец завязла в кровавой грязи.

День открытия 1-й Думы 27 апреля 1906 стал не днём национального примирения, но днём нового разгара ненависти. Кадеты шли на открытие Думы, размахивая в такт шляпами, политические солдаты. Дума, избранная по «пробному» виттевскому избирательному закону (и частью — из людей, чуждых всякой законности), — никак не пыталась сама себя сдерживать и требовала не меньше, как в с ё, — ни полвся, ни четверть-вся. Вопреки конституции, 1-я Дума впала в соблазн представлять всю волю народа и государственную волю — одной собой, как новая самодержица. И Кокошкин доказывал, что Дума не обязана выполнять ничьих в стране постановлений.

Лишь через 30 лет, поздним умом эмиграции вспоминал — да не типичный кадет, а умнейший из них,

В. Маклаков: В 1906 году Революции не было. Начиналось выздоровление. Монархия уступила свою главную привилегию — самодержавие. Она отказалась и от другого «устоя», который тяжёлым ярмом давил на всю русскую жизнь, от сословного строя. В программе правительства появилась старая программа либерализма. И постепенный переход земли к крестьянам, и развитие повсюду самоуправления, законность, независимый суд, просвещение. Общество в лице Думы получило возможность контролировать проведение этой программы, ставить преграду реакционным уклонам, даже брать на себя инициативу реформ. Почему же с самого *первого* дня, даже раньше первого заседания Думы, она вместо сотрудничества объявила власти войну? Вместо того, чтобы взять на себя неблагодарную, но почётную роль умерять безрассудное нетерпение общества, сама его подстрекала. Ни о какой постепенности реформ она не хотела и слышать. Радикальное изменение ещё не испытанной конституции, установление полного народоправства, единовременное и массовое отчуждение частных земель, образование правительства из представителей Думы и ей подчинённого — были её *первыми* требованиями. Уступить им — значило бы приблизить революцию на 11 лет.

Правда, с-д меньшевики с колебанием, остальные левые вполне уверенно, зовя и понукая революцию вернуться, объявили бойкот 1-й Думы. От этого кадеты, внезапно для себя, оказались с голым левым боком, оказались очень левыми. Единственные, кто беззастенчиво владел европейской тактикой выборов, они захватили больше трети Думы, стали в ней самой многочисленной фракцией — но не клонились помышлять о нормальной, законодательной работе в её позорной умеренности. Победа на выборах затмила им глаза, обещала так же легко свалить и власть. Они не хотели быть осмотрительными и тратить 4 года на то, чего можно натиском достичь в 4 недели. И когда Милюков, на преддумском кадетском съезде впервые проявляя свои сильные копыта торможения, попытался свернуть партию с крылатого револю-

ционного пути на скудный парламентский, он получил отпор сокадетников: игнорировать правительство! игнорировать законы, изданные после 17 октября! игнорировать Государственный Совет! провести программу в форме *ультиматума!* если правительство не уйдёт — *воззвание к народу!* умереть за свободу!

Элоквентный Родичев:

> Дума разогнана быть не может!.. Сталкивающийся с народом будет столкнут в бездну!

> Кизеветтер: Если Думу разгонят — это будет последний акт правительства, после которого оно *перестанет существовать!*

В духе того и седовласый вальяжный председатель 1-й Думы Муромцев, уже готовясь стать первым русским президентом, не желал общаться и разговаривать с министрами и даже запретил называть их правительством. (Маклаков объяснил Муромцева так:

> Тип, которому нужен парламент. Для формулирования своих убеждений им нужны постановления коллективов: защищать своё мнение с яростью, пока не состоялось решение, а потом повиноваться беспрекословно. Такие могут требовать в речах того, что заведомо невозможно, — и создают иллюзию, и сами верят, что реакция помешала им дать стране нужное благо. Личной ответственности на них не лежит никакой. Оценку себе ищут в газетных отзывах.)

В первом же адресе на имя монарха эта неврастеническая Дума разговаривала с Верховной властью ультиматично, та отвечала Думе наставительно, как подчинённому учреждению. *Друзья слева,* сплочённые кавказские социал-демократы, ражигали кадетов, и Дума требовала амнистии террористам и цареубийцам, сама отказываясь вынести моральное осуждение террору. И так это прочно сидело в кадетах, что кадетский патриарх И. Петрункевич, с миротворчества которого начата эта глава, воскликнул:

> Осудить террор? Никогда! Это была бы моральная гибель партии!..

Однако этой 1-й Думе и этому кадетскому большинству всё ещё серьёзно предполагалось поручить сформировать правительство и дать вести Россию. Шли тайные переговоры при Дворе, сновали и встречались министры, так же тайно встречался с ними Милюков, «управлявший Думою из буфета и журналистской ложи», ибо не попал депутатом её. Милюков уже рвался получить премьера, но переговоры оказались тщетны, кадеты отказывались отречься от всеобщего принудительного отчуждения земли, роспуск Думы всё более проступал — и на эту роль, заменить Горемыкина на посту премьера и распустить 1-ю Думу, Верховной властью был определён... Шипов.

И что ж? Противник конституции, всех партий вообще, а кадетской в частности, заявил Государю, что роспуск уже собранной, пусть агрессивной Думы представляется ему несправедливым и даже преступным. С 17 октября он, по высочайшему повелению, как и все подданные, принял конституцию и считает нужным быть верным ей, и ничего другого не ждёт и от самого Государя. По его мнению, Дума была бы много умиротворена, если бы правительство продолжало развивать начала Манифеста, а не отступало от них. Теперь уже возглашены и Основные Законы, по которым власть разделяется впредь между Государем, Думою и Государственным Советом, и в тронной речи объявлено, что день открытия Думы есть день обновления нравственного облика русской земли. Равно не может Шипов принять на себя и руководство предлагаемым коалиционным правительством, но считает, что очень отвечало бы духу времени правительство, возглавленное кадетами: оно вырывало бы их от антигосударственных элементов, из безответственной оппозиции и делало бы государственной партией. Может быть, они сами тогда распустят Думу, чтоб освободиться от левого крыла. На вопрос Государя о возможном главе такого правительства Шипов ответил, что самым влиятельным, талантливым и эрудированным среди кадетов надо признать Милюкова, однако в нём слабо развито религиозное сознание, то есть сознание нравственного долга перед Высшим Началом и перед людьми, а потому, стань он премьером, его политика вряд ли способствовала бы духовному подъёму населения. Кроме того он слишком самодержавен и будет подавлять товарищей. Шипов рекомендовал Муромцева.

Но захваченные резким левым вихрем и с лево-свёрнутыми головами, способны ли были кадеты взять на себя то государственное бремя? Министр внутренних дел Столыпин уверен был, что — не смогут, что свалят под откос. Человек действия, он не мог допустить такого опыта: пусть несут, куда понесут, когда все вместе разобьёмся — тогда поймём.

Под влиянием Шипова Государь как будто и склонился создать кадетский кабинет, но лишь неделю думал так. Тем временем террор продолжался. Тем временем встревоженные кадеты осудили Милюкова, до сих пор скрывавшего от фракции свои тайные переговоры с министрами. Тем более вздыбилась фракция против тормозных усилий Милюкова задержать такой нео-парламентский приём, как воззвание к народу по аграрному вопросу (в постоянной заботе кадетов будоражить крестьянство): обратить в их пользу земли казённые, удельные, кабинетские, монастырские, церковные и принудительно отобрать частновладельческие!

66-летний премьер Горемыкин, умеренный, вяловатый, со спокойствием, отработанным долгой службой, ничему не удивлённый, ничем не взволнованный, ибо всё в истории повторяется, и сила одного человека недостаточна, чтобы её повернуть, — все эти месяцы видел, что с этой Думой работать никак не удастся, но продолжал невозмутимо работать, поскольку так сложились обстоятельства и пока того хотел Государь. Теперь же Дума переступила через край, а у Государя, как видел Горемыкин, было желание, но не хватало решимости Думу разогнать: мелькали ужасные видения 1905 года, которые могли взметнуться с ещё большею силой. И тогда старик решился на самое большое усилие своей жизни: с фамильным образом он приехал на приём к Государю и вместе с ним молился о Господнем содействии и просил повеления себе — распустить Думу, уйти в отставку, а бразды передать из своих усталых рук в твёрдые руки молодого решительного Столыпина. И получив таковое повеление, он отправился к себе, отдал распоряжение о роспуске, сам же сказался в нетях и не велел прислуге искать и звать себя ни по какому вызову. Действительно, в тех же часах Государь усумнился в отчаянном решении и вызывал Горемыкина передумать — а Горемыкина нигде не было.

Столыпин же успокоил Думу, встревоженную слухами (распустят? остаемся в креслах сидеть, как бывало римский сенат! апеллируем к стране, вся страна поднимется! да никогда не посмеют!), — в воскресенье 9 июля расставил солдат близ Таврического дворца, повесил большой замок на двери, а по стенам — царский манифест:

> Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного...

И — что же теперь было кадетам? И — как же им перед революционною Россией? С воскресного утра кинулись собирать депутатов, а тем временем в запертой квартире на пыльном рояле набрасывали новое Воззвание, и Винавер находил, что в проекте Милюкова

> нет стихийной негодующей силы, а надо, чтобы крик возмущения прозвучал как блеск молнии.

Окончательно составили воззвание Винавер с Кокошкиным. Но из воззывов Милюкова так и осталось: не платить податей! (впрочем, прямые налоги составляли ничтожную часть бюджета) — и не давать государству рекрутов! (впрочем, их набор наступит лишь в ноябре).

А уж раньше было задумано у них на случай разгона: всем ехать на вольную финляндскую территорию, в Выборг. Оглядчивые депутаты-крестьяне, к кому и было всё милюковское воззвание, увы, не поехали, ни один. Поехало около трети Думы, самые пылкие (из них человек тридцать скрылись потом). В тот же воскресный вечер открыли заседание в отеле Бельведер, и председательствовал всё тот же благообразный непременный Муромцев. Приехали и трудовики (легальные эсеры), и социал-демократы (однако, *резервируя вооружённое восстание*).

Выступали: Кокошкин, бессменный Петрункевич, Френкель, Герценштейн, Йоллос, и лидеры трудовиков Брамсон, Аладьин, — и все пылали негодованием, и никто не мог предложить разительной меры, убийственной для правительства. Такой манифест, какой получался, — за него народ не прольёт крови, увы.

Объявить себя Учредительным Собранием? Присвоить себе функции правительства? Считать себя полной Думой и отсюда не расходиться?

Жорданя (с-д): Хоти здесь — треть Думы, но именно те, которые по праву являются...

Рамишвили (с-д): Ещё недавно мы были уверены, что не вернёмся домой без земли и воли. Но *(презрительно)* вы на решительные средства не пойдёте.

(Трудовики): Дело народа — в руках самого народа! Армия с оружием в руках... защищать дело свободы! Правительство — больше не правительство! Повиноваться властям — преступно!

Но — что же делать? Опять оставалось: не платить податей и не ставить рекрутов. (Не желая замечать, что эти удары — по всему государству, а не по правительству.)

— Всеобщую забастовку?

— Вооружённое восстание?

— Мы не можем призывать к восстанию, это будет провал конституционализма в России.

Винавер (к-д): Ехать назад в Петербург и пусть нас там целиком арестуют — это будет хороший символ и возбудитель для общественной борьбы.

Настроение падало.

Гредескул (к-д): В конце концов мы не призываем ни к чему страшному: пассивное сопротивление, вполне конституционно. Есть ещё мера: призвать народ воздерживаться от казённого вина...

(Кто знает русские привычки, хорошо посмеётся.)

Нет, падало настроение. До разгона казались себе и противнику страшными. А вот — ощущение банкротов. Усилились разногласия. Обсуждали постатейно. И, может быть, никакого Выборгского воззвания принято бы и вовсе не было, не явись в гостиницу губернатор: господа, надо немедленно закончить заседание, ведь Выборг — крепость, в любую минуту могут объявить на военном положении...

Да, да, да! Нельзя злоупотреблять гостеприимством финских друзей. Что ж, подчинимся непреодолимой силе...

Поспешно надевал пальто и уходил из президиума несбывшийся президент или премьер-министр России.

Муромцев: Многие из тех, кто подписал Выборгское воззвание, совсем не согласны с ним...

Уже спорить времени не осталось, а проголосовали чохом всё как есть и приняли:

НАРОДУ ОТ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГРАЖДАНЕ ВСЕЙ РОССИИ!
...КРЕПКО СТОЙТЕ ЗА ПОПРАННЫЕ ПРАВА!
ПЕРЕД ЕДИНОЙ И НЕПРЕКЛОННОЙ ВОЛЕЙ НАРОДА
НИКАКАЯ СИЛА УСТОЯТЬ НЕ МОЖЕТ.

Выборгское воззвание никого не увлекло, никого не испугало, и даже жалкостью своей успокоило власти: они-то ждали революции.

Так закончился первый экзамен новосозданной Партии Народной Свободы — проигранным первым русским парламентом, где кадетам так легко досталось и так легко упустилось большинство.

ТЫ ВАШЕ'Ц, Я ВАШЕ'Ц — А КТО Ж ХЛЕБОПАШЕЦ?

(Продолжение следует)



ОЛЕГ ВОЛКОВ



ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

РАССКАЗ

I

Идти по тропинке, едва натоптанной в рыхлом снегу, было тяжело, и Юрий Юрьевич с усилием переступал ногами в чиненых-перечиненых валенках с задранными носами. Дорога шла в гору, и он то и дело останавливался, чтобы перевести дух.

Улицы в городке не очищались, и домишки тонули в сугробах. С карнизов низких крыш чуть не до земли свешивались фестоны смерзшегося снега, похожие на потеки глазури на пасхальном куличе. И было очень тихо. Ни с базарной площади под горой, ни с соседней главной Петровской улицы не доносилось ни звука. Городок погрузился в синеватые сугробы и затих... Так замирает с наступлением холодов всякое существо, если ему нечем согреться и подкрепить силы.

Городок же зяб и голодал. В обиход внедрился немыслимый паек в четверть фунта невесть из чего замешенного хлеба — с лузгой и осев-

К счастью, не перевелись еще на Руси писательские судьбы, отражающие саму историю Отечества. Олег Васильевич Волков — петербуржец, потомок адмирала Лазарева, современник Л. Толстого и В. Короленко, однокашник В. Набокова по Тенишевскому училищу... Бурное кипение революционной эпохи, трагические годы, проведенные в сталинских лагерях (с 1928 по 1955), многотрудная борьба за Правду и Человека, счастливые мгновения познания истины — весь богатейший жизненный опыт воплотился в страницы многих и многих книг прозы, публицистики, переводов...

Коллектив редакции «Нашего современника» и читатели журнала сердечно поздравляют Олега Васильевича с 90-летием и желают ему здоровья, счастья, новых творческих успехов.

нями,— подозрительно темного, без сытного запаха испеченного теста. Окрестные пейзане давно выменяли у горожан все, что могло распалить неискушенное представление деревенских баб о роскоши и достатке, и перестали наезжать с возишками дров и мерками картофеля: в городе стало нечем разжиться. Даже торбу с пригоршней тощего овса для лошади приходилось навешивать с оглядкой.

Так что когда со станции донесся одинокий и жидкий свисток паровоза, Юрий Юрьевич удивился — все в городе знали, что и железную дорогу сковал зимний паралич: рельсы погребены под снегом и локомотивы в депо стоят обындевевшие, мертвые. Говорили про горстку неразбежавшихся железнодорожников, пытающихся возродить жизнь на станции. Они пилили на городском кладбище березы и носили их на себе к пустым топкам. Но в ту глухую, темную и голодную зиму мало было в городе упрямцев, способных верить в возможность что-то наладить. И редкие неугомонные чудаки, упорно чего-то добивающиеся и без толку тормошившие горожан, чтобы не дать заглохнуть тепливщейся еще в городе крохотной живой искорке, рассматривались большинством как принадлежащие к новой, чуждой породе настойчивых и цепких, но вовсе не знающих жизнь людей. Они, нарушив ее извечное течение, силятся его выправить, но уже по-своему, для чего все ломают, переделывают и переименовывают. А на самом деле безнадежно зорят Россию, бессильные справиться даже с тем, что умел спокон веку делать любой полуграмотный лавочник или купец: кормить народ, доставлять ему керосин и соль. Обыватели дрогли в потемках своих нетопленых домов, вспоминая как волшебный сон времена, когда в любой лавке были мука, сахар и керосин и в тупиках на станции стояли составы груженных всяким добром красных вагонов с пломбами... А на низкой и широкой деревянной платформе возле двухэтажного станционного здания, обсаженного шелестящими тополями, по вечерам, к приходу пассажирского поезда, собиралась на гуляние сытая городская публика. Именно сытая, благополучная, покойная за завтрашний день!

Прохожих почти не встречалось. Юрий Юрьевич, миновав заколоченную водокачку, пошел по Старообрядческой улице, проложенной по выгону. Стало и вовсе пустынно. Возле домишек с прикрытыми ставнями снег замел следы, так что и не разобрать было — в котором из них живут, а где в пустых горенках поселились холод и сырость.

Надо думать, что в городе проживали и немногие прозорливцы, давно угадавшие грядущее разорение и принявшие меры. Но эти особенно настойчиво выставляли свои обноски и жаловались на оскудение: голодными и в старье должны были ходить все, чтобы не попасть в нераскаянные буржуи.

У обшитого почерневшим тесом домика, ступени крыльца которого погребла куча снега — вровень с медными ручками двери,— Юрий Юрьевич, настороженно оглянувшись, шмыгнул по еле видному следу, тянувшемуся во двор с притворенными створками ворот.

2

С наступлением сумерек работа в учреждениях прекращалась. Но в этот день Борис Кирсанов отпросился у своего начальника, апатичного и сонного главного бухгалтера, пораньше, чтобы успеть засветло в подгородную деревню за картофелем. Но ни в какую деревню он не пошел, а прямиком направился к себе на окраину города, где снимал крохотную комнатку у угрюмого, подозрительного каретника. Тот просиживал целыми днями — зимой у окошка и на лавке перед домом в теплое время,— все выглядывая исчезнувших заказчиков. Своего жильца он не замечал. Вначале было заходил получать с него договоренную помесячную плату, потом же, когда обесцененные деньги окончательно

утратили свое назначение — все равно купить на них ничего было нельзя, а копить тем более глупо,— он и вовсе перестал обращать на него внимание.

— Живи знай,— отмахнулся он от Кирсанова, стремившегося както узаконить свое бесплатное проживание.— Коль обойдется все, на место встанет, тогда и рассчитаешься!

Впрочем, заметив, что жилец прекратил топить свою печь, стал ежедневно приносить к его двери вязанку дров — их у каретника был запасен полный сарай.

Так что в горенке Кирсанова пахло жилым духом. И когда он входил к себе с улицы, да еще после нетопленого помещения упродкома, где было холоднее, чем на дворе, и все сидели не раздеваясь, закутанными во что попало, ему казалось, что у него здесь, несмотря на убогость обстановки,— уютно. Затворив за собой дверь, он чувствовал себя отгороженным от мира, ощетинившегося угрозами и ловушками. На людях Кирсанову было теперь всегда не по себе. Когда в конторе подходили к его столу — по делу или так,— он отвечал спокойно, но внутри у него комом подкатывало к горлу сосущее, томительное ожидание.

Часы одиноких размышлений в своем углу были и тяжелы, и отрадны. Спадало напряжение, отодвигалась дневная суета, и Борис постепенно отходил в непотревоженной тишине и сумерках. Он забывал про язвившие тревоги, про хмурые свои дни — и начинал жить в некоем воображаемом мире. Мир грез отгораживал от действительности надежнее, чем бревенчатые стены комнаты и сугробы за окном...

Жил Кирсанов в полном одиночестве — без родных, знакомых, переписки. Вынуждала к этому осторожность. Он был прописан в городке под чужим именем. Перебрался Борис сюда с Юга еще до окончательного разгрома белого движения. Тут прежде жили родственники его отца, да[illegible]о исчезнувшие. Работать он устроился в одном из новоявленных учреждений, что в начале двадцатых годов плодились как грибы в любом городке или поселке.

Исключение составляли редкие свидания с дядей Юрой, братом его матери, музыкантом Юрием Юрьевичем Ржевским. То ли в поисках не дающейся лучшей доли, то ли убегая от собственных страхов и опустошенности, тот бестолково, лихорадочно переезжал с места на место, пока не застрял в этом городке в силу полного своего оскудения. Выписывая в упродкоме хлебные карточки, Борис наткнулся на его фамилию. Поколебавшись — у Юрия Юрьевича была репутация человека неуравновешенного, беспокойного,— он отыскал своего дядю. В чем впоследствии раскаялся...

Свои собственные невзгоды Кирсанов переносил как нечто привычное: семь лет на войне к ним приучили. Но мысль, но сердце, все искавшие оправдания, не находили ни выхода, ни покоя...

Борису прежде всего была нужна Россия. Жизнь на чужбине казалась ему горше смерти, и он навсегда отверг для себя эмиграцию. Не в ладу с собой был он и в стане белых! Не мирилась совесть с русским штыком, направленным против своего же русского. За готовностью зарубежных финансовых воротил помочь чудилось недоброе, проглядывала их корысть. Само собой, были неприемлемы и лозунги, выставленные на острие шашек буденновцев. За ними мерещился страшный и чуждый мир, где клокотала разожженная безответственными политическими авантюристами «классовая» ненависть. Экспроприация имущих классов привела к невиданной хозяйственной разрухе. Страна была отдана на поток и разграбление. Словом, правды не было ни у белых, ни тем более у красных — а впереди анархия, нищета и обескровленная страна. Ей уже не воспрять и не объединиться вокруг светлого стяга...

Эти обложившие сознание тупики заставляли искать точку опоры, и Кирсанов находил ее в прошлом. Понемногу и незаметно для себя он освобождал его от всего темного и несправедливого, что приоткрылось ему после объявления войны и последующих событий. Образы минув-

шего, вобравшие всю тоску заблудившегося человека, тоску по душевному ладу и возможности во что-то уверовать, окутались романтикой и засияли дивным блеском... Его собственная карьера военного воскресала в виде возвышенного рыцарского служения исторической русской правде.

Кирсанов заново переживал свои ощущения на смотрах и парадах, дворцовых приемах в царские праздники, в знаменательные дни Романовских торжеств... Вот когда в полном блеске и славе воссияло триединство — народность и вера, осененные венцом Мономаха! То были почти галлюцинации — у Бориса текли по щекам слезы, он воочию видел переполненный театр, сверкающую шитьем и золотом публику — и монарха, приветливо отвечающего на восторженные клики... А со сцены несся радостный благовест колоколов московских соборов, славивших Российскую православную державу и ее царей...

3

Однако именно в этот день, когда Кирсанову нужно было рано вернуться домой и быть одному, у него в комнате оказался посетитель: за вплотную придвинутым к окошку столом сидел — так и не сняв пальто — Юрий Юрьевич. Он исподлобья взглянул на племянника:

— Не ждал гостя? По нынешним временам это скотинка обременительная: всего лучше каждому дотлевать на своем навозе. Но так уж пришлось — добрел до тебя, и вот уже с час сижу — дожидаюсь...

— Ты бы, дядя, хоть разделся,— предложил Борис, входя в роль хозяина.— У меня тепло.

— Ты счастливчик, а я вот мерзну в своей конуре. Хозяйка предлагает перейти к ней, но я отказываюсь — слуга покорный! Пусть возьмется кормить, тогда, пожалуй, соглашусь... Такая противная баба — вся в складках желтого жира...

— Ты шутишь, дядя?

— Ничуть. Наступило вожделенное карамазовское «все дозволено». Всякие эти морали, нравственные кодексы, предрассудки — по боку! Я дохну с голоду: целый вечер аккомпанирую в пролеткульте за тарелку жидкой бурды. И это без хлеба!.. Свой паек я забрал вперед... Тут не то что к похотливой старухе в постель ляжешь... Да, ты меня извини... я нечаянно выдвинул в столе ящик, там был кусочек хлеба... Я не устоял. Надеюсь, ты себе принес?

— Нет, ничего... Пустяки все это, пожалуйста... На войне и не так доводилось, привык.— Борис попробовал улыбнуться. Впрочем, Юрий Юрьевич говорил, не поднимая головы, разглядывая что-то на столе и барабаня по нему пальцами.

— Как-то на днях, уже после Николы, мне повезло,— продолжал Ржевский, все так же напряженно и зло.— Я высидел у знакомых тарелку каши. Они и так, и этак намекали, а я сижу как прирос — врете, думаю, сядете при мне обедать! Мялись, а пригласили. Хозяйка накладывает, а я тарелку держу — не отнимаю, знаю, что воспитание не позволит отстранить... Муж на меня глядел, словно собирался ударить, а ведь земцем был, мужиков бесплатно лечил... Ха-ха! Я съел и тотчас встал... поблагодарил изысканно, по-французски...

— Ты на себя клевещешь, дядя...

Борис успел снять поношенную солдатскую шинель и сидел против гостя на кровати, в гимнастерке с обшитыми сукном пуговицами и аккуратно стянутой ремнем.

— Нисколько... Я тебе удивляюсь. Ты еще молод — небось и сорока нет? Силен, вполне мог бы устроиться — мужчины сейчас в цене. А то на кого стал похож...

Борис взглянул в зеркальце, стоявшее на столе. Видеть свое постаревшее лицо и обильную седину стало привычно. Но вот глаза провалились еще глубже. Правда, и у дяди отчаянно скверный вид: одутловатые щеки, налитые, синеватые мешки под глазами, блестящие зрачки — все говорило о постоянном голодании. Живыми были только пальцы, особенно правой руки, ни на минуту не прекращавшие бег по краю столешницы.

— Если уж до сутенерства докатиться, то для чего жить дальше?

— На этот вопрос тебе сейчас никто не ответит — ручаюсь! В самом деле — жить дальше совершенно и бесповоротно не для чего: все полетело к черту! Ну, идеалы, положим, немногого стоят, аллах с ними. Но не стало мыла, нельзя рюмку водки выпить. Хотя бы под огурец, я хожу без исподнего белья — вот это, брат, уж такое свинство, что надо бы тут же себя истребить... Но на пути великое «но»!.. Страшно, друг, ух как страшно расстаться даже с этим подлым подобием жизни, пусть в ней ничего не осталось... Кстати, я на днях узнал: в нашем Кедрове — зорище. Дом, оранжерею, все службы сожгли, парк вырубили...

— А тетя Марфуша?

— Она еще в прошлом году померла. Ко мне сюда пробиралась, да по дороге и захворала... Тиф...

Юрий Юрьевич помолчал. Снова заговорил уже спотыкливо, глухо, без привычного ёрничества:

— Когда ты еще кадетиком к нам приезжал, она тебя все баловала, ватрушками кормила. Сердце у нее жалостливое было — как же, сирота, без отца рос. А теперь вот видишь — меня выручать поехала, хоть я ее и бросил... Я думаю: лучше, что так получилось, а? Только мучилась бы со мною пуще прежнего... Кто я теперь? Эхма... Впрочем, я ни о чем не жалею,— Юрий Юрьевич перешел на привычный тон.— Хоть напиши Джиоконду, сочини Девятую симфонию или воспитай Гракхов, хоть займись растлением малолетних и шантажом — всем награда одна. И то, что Россия пошла теперь к чертовой матери — неважно. Рушились Римы, рассыпались испанские империи, где никогда не заходило солнце. На их месте опять что-то громоздилось. И на развалинах России вызреет какой-нибудь новый... спрут... страшное, людоедское государство...

Борис молчал — дяде было бесполезно возражать, когда он говорил так желчно и запальчиво. Да и как было, после его циничных высказываний, приоткрыть свою святая святых, где все было так непрочно, хрупко и — это он про себя отлично знал — обманчиво!

— Хозяин, должно быть, самовар ставит — ты брусничного чаю выпьешь со мной? Только ничего к чаю нет — даже сахарина...

— Нет, гран мерси, горячей воды я и дома чересчур много пью — для иллюзии: все будто за столом. Оттого, должно быть, и отекаю. Да и пора в окаянный клуб. Где-то по ордеру получили три аршина кумача, из купеческого особняка разбитый рояль, две пальмы притащили — и разводят культуру... Все разрушили, а теперь — ха-ха! — подавай им снова Пушкина, Бетховена, Микеланджело... Слова, слова. А на деле всех, кто не по-ихнему думает,— задушить готовы... Должно быть, слышал — вчерашней ночью снова аресты были. У моих соседей в квартире засаду устроили, кого-то искали... Не уехать ли тебе в губернский город или в Москву? Там легче затеряешься. Тут же всем про всех знать надобно — соглядатаи везде, шпионы. Ненавистники...

— Палка о двух концах, дядя: где люднее, там легче наскочить на знакомого... Паспорт у меня настоящий — умершего в тифозном бараке красноармейца. Да и что толку переезжать? Всюду одно и то же: враждебная, неприемлемая жизнь. Такие, как я, обречены.

— Тебе виднее, Боря, только мне было бы спокойнее. Да и ты один у меня остался — брат Пьер давно во Франции, твоя мать ушла в скиты, к сектантам... Ну, прощай, нам пока лучше не видеться... Я пришел предупредить, и потом, Боря, в случае чего... обо мне ни гугу...

— Напрасно, дядя, с моей стороны тебе ничего не угрожает, будь покоен.

— Ты, Боря, боевой офицер,— вдруг вырвалось у Юрия Юрьевича,— а я вот больной, развинченный интеллигент. Боюсь... Всего боюсь. Только представлю себе их подвалы, фанатиков-чекистов, ночные допросы с пытками — и трясусь от страха. Ведь я для них белая кость, помещик...

— Положим, поместья у тебя никогда не было — это все знают. Сколько лет был учителем музыки — жил на «трудовой заработок», как теперь пишут в анкетах. Хотя сейчас мало в чем разбираются. Ожесточение и злоба утробные, слепые. Впрочем, у белых в контрразведке тоже всего было.

Проводив дядю, Борис ощутил некоторое облегчение. Он даже усмехнулся, вспомнив, как тот вставлял в разговор французские слова. Этого за ним прежде не водилось.

4

Тепла, прихваченного из комнаты, хватило ненадолго. Пройдя с сотню шагов, Юрий Юрьевич стал дрогнуть, да так, что постукивал зубами. Волнами поднималась неуемная дрожь. Мельком вспомнилось, как бывало, озябнув в лесу, на облаве, начинал энергично топтаться на месте, прыгать, с размаху охлопывать себя руками в меховых рукавицах. А сейчас и шагу прибавить не в силах. Юрий Юрьевич даже не замечал, что непроизвольно довольно громко охает в такт приступам озноба.

А впереди — холодная, пустая, как сарай,— зала пролеткульта с роялем, приткнутым к стене, блестящей от инея. Когда набиралось много народу — крикливого, требовательного, невоспитанного,— этот иней таял, и по пятнистым обоям стекали струйки, как сбегают они по стеклам в небольшой дождь. Отсыревший, расстроенный инструмент звучал отвратительно, и было одинаково противно играть на нем Шопена и аккомпанировать Интернационалу, по всякому поводу исполняемому публикой. За такое ежевечернее мучительство полагался талон на обед в городской столовой. Едва съев жиденькую бурду, Юрий Юрьевич начинал мечтать о порции следующего дня, причем всегда надеялся, что это будет большая миска густого, обжигающего супа...

Вообще мечтания о еде целиком владели Юрием Юрьевичем. Бывший гурман грезил не обильными блюдами и закусками: венцом всех мечтаний был простонародный черный хлеб — сытный, душистый, с хрустящей корочкой. К нему и сводились все гастрономические фантазии. Наесться бы им до отвала!..

Юрий Юрьевич шел, не замечая дороги, домов, прохожих. Он в сотый раз и на все лады перевертывал в уме услышанный от знакомого рассказ, как тот, будучи вызван в свидетели в ВЧК, разжился у следователя ковригой хлеба. Юрий Юрьевич не сомневался, что то была плата за дачу нужных показаний. Правда, знакомец уверял, что попросил в шутку, а следователь возьми да сунь ему за пазуху: отнеси, мол, детям! И Юрий Юрьевич мучительно терзался: как бы поступил он, доведись ему очутиться перед выбором — получить «иудину плату» или отказаться от ковриги хлеба?

— До чего плох стал, батюшка! — услышал он вдруг над ухом огорченный старушечий возглас, — идешь и народ не видишь!

Юрий Юрьевич растерянно взглянул на старушку в меховом пальто, загородившую ему дорогу, но не нашелся с ответом. Обошел ее, ступив в снег, и поплелся дальше.

Рядом с дорогой потянулась глухая стена архиерейского подворья с запертыми железными воротами. В нем помещалась уездная ЧК. О ней по городку шелестели зловещие слухи.

Сейчас калитка в воротах была отворена. Часовой, в добротных валенках и полушубке, подпоясанном ремнем с кобурой, разговаривал с красноармейцем. Шинель на том была порвана, обмотки сползли на ботинки, одна рука забинтована. В другой он держал повод подседланной лошади; она устало тянулась мордой к сугробу и хватала губами снег. Тут же стояло двое крестьянских дровен. Подводчики оправляли на конях сбрую, угрюмо поглядывая на сытого привратника.

В дровнях было по двое седоков в деревенских зипунах. Юрий Юрьевич обомлел, заметив, что руки их заведены за спину и связаны веревками. Два мужика лежали ничком, так что не было видно лиц, третий крепко спал, неудобно скрючившись на боку. Лишь один из пленников сидел, сильно нагнувшись и раскачиваясь всем туловищем, словно унимая боль. Лицо и лысая непокрытая голова были темно-багровыми.

Юрий Юрьевич пустился бежать, спотыкаясь и всхлипывая.

Подгонял его непостижимый, животный страх: рядом с ним оказались люди — такие же живые люди, как и он,— которых несколько узлов веревки обратили в наловленных зверей! У Юрия Юрьевича было такое ощущение, что, задержись он у подворья подольше, и ему так же заломят назад руки, свяжут их. Он почувствовал себя обреченным, как скот в загоне возле бойни. Ноги у него подкашивались.

Потом, в зале, сидя за роялем и механически что-то играя, Юрий Юрьевич думал, могут или нет поступить с ним как с наловленными мужиками? И чем больше он думал, тем такая вероятность рисовалась неизбежнее. А вдруг откроется, что он родственник белого офицера, скрывающегося в городе? Ведь Борю рано или поздно все равно разоблачат. Тогда уж и ему несдобровать.

Юрий Юрьевич рисовал себе, как его поведут связанным, подталкивая сзади, по ступенькам монашеских подвалов, и он, не оборачиваясь, услышит, как конвоир расстегивает кобуру и достает пистолет... Говорят, всех стреляют в затылок... Вот щелкнул предохранитель...

Пальцы замерли над клавишами. Юрий Юрьевич поднял голову и обвел взглядом залу. Совсем не помня, что он только что исполнял, Юрий Юрьевич сыграл первые такты Двадцать третьей сонаты Бетховена, да и сбился. Вдруг он порывисто встал и стремительно пошел вон из клуба.

На дворе стемнело, и Юрий Ржевский шел ощупью. Что-то, гораздо сильнее его воли, неумолимо подталкивало его...

5

Окончательно погас дневной свет, и в комнате стала кромешная тьма. Кирсанов лежал на жесткой койке навзничь: с ногами — на железной спинке, руками — закинутыми за голову. Одним упругим движением он встал и завесил окошко старым пледом. Потом чиркнул шипящую зловонную спичку и засветил коптилку — фитиль, вставленный в жестяную самодельную трубочку, укрепленную в горлышке пузырька с керосином. Крохотный желтый огонек чуть раздвинул темноту и обозначил призраки вещей. На низком потолке задвигалась огромная тень головы Бориса.

Он вышел в холодные сени, отделявшие его каморку от хозяйской половины,— там все было мертво. Лишь слабо доносилось, как торопится маятник кухонных часов. Борис постоял во дворе. Казалось неправдоподобным, что эти непроглядные потемки и тишина прячут тысячи жизней, ничем себя не выдававших. Точно напуганные зверьки в норах. Завешенное окошко зияло чернотой. Кирсанов плотно затворил ставни, накинул железный запор и вернулся к себе, ежась от холода. Свою дверь на этот раз он запер на закладку. Долго стоял, чутко прислушиваясь, потом торопливо перекрестился и решительно шаг-

нул за шкаф. В потемках он нащупал ручку кожаного ручного сундука и, приподняв его, вынес на середину комнаты. Все делал бесшумно, чтобы не скрипнула половица.

Руки у него сильно дрожали, когда он, достав из кошелька ключ, повернул его в медных замках сундука.

Сверху лежала бархатная скатерть, сильно пахнувшая нафталином. Кирсанов ее откинул: под ней тускло блеснули серебряное шитье и черный лак.

Борис разделся до белья и, волнуясь и торопясь, надел темно-синие бриджи с желтым кантом и тугим корсетом такого же цвета, обулся в легкие офицерские сапоги с мягкими голенищами. Руки скользили по коже, срывались, и все никак не удавалось натянуть сапог до конца. При каждом движении ноги тихонько звякал репеек на шпоре. Наконец справившись, Борис встал и сразу почувствовал себя легко и красиво обутым. Корсет заставил вспомнить о выправке. Вдруг и сильно нахлынули давно не испытанные приподнятость, веселое возбуждение, всегда сопутствовавшие приготовлениям к тем датам, когда офицерам надо было надевать парадную форму. Именно на сегодня, 24-е декабря — рождественский сочельник,— приходился один из самых знаменательных дней его офицерской жизни. В этот день его славный драгунский полк торжественно, с сознанием исключительности совершаемого обряда, справлял — вот уже вторую сотню лет! — свой полковой праздник.

В утро этого дня возле Бориса особенно усердно суетился денщик Тимоша, услужливый и застенчивый, непохожий на солдата, словно наделенный девичьей душой... Смертельно раненный при переходе через Буг, он на глазах Бориса свалился с седла и, исчезая в стылых осенних волнах, взглянул на него виновато, точно извинялся, что — вот, оставляет его и не сможет вечером сушить промокшую одежду и сапоги...

Борис сунул руку в косой карман бриджей. В нем — батистовый платок, еще сохранивший аромат его прежних духов. И болезненно сжалось сердце, и он едва удержался, чтобы не прижать платок к лицу и не дать волю горю...

Потом пальцы стали твердо, уже не путаясь, застегивать крючки галстука, освоились с жестким прикосновением шитья колета, расправили запутавшиеся шнуры аксельбантов. Все было помятое, слежалось и приобрело незнакомый запах, но — боже! — сколько дорогих воспоминаний жило в этих реликвиях, в этих эмблемах доблести и чести... Пусть сейчас, при жалком свете коптилки, они выглядят мишурными нарядами опереточного гусара... Но — прочь малодушие! Вопреки всему, наперекор самой жизни и здравому смыслу, он встретит — как подобает, в парадной форме! — освященный традицией праздник. И пусть небо видит, что не все еще погибли, не все сдались. Он, ротмистр Кирсанов, адъютант полка, никогда, и в нынешние разброд и шатание, не совершил поступка, пятнающего честь мундира. И не утратил права его надевать...

Борис оглядел мундир. Давно ли, кажется, впервые надев его после производства, он любовался белыми обшлагами с картушами и серебряным шитьем, опоясывал шарф — символ офицерской власти... На плечах чудесно, словно их облили своим блеском все надежды молодости, сияли эполеты с золотым вензелем шефа — генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича Старшего.

При нем полк в 1877 году за двукратный переход через Балканы заслужил Георгиевские ленты на штандарте. А кто теперь опишет и оценит подвиги, какие совершили Астраханцы в войну 1914 года? Расскажет про трижды за три года обновленный состав командиров и рядовых? На дне сундука лежит стопка исписанных листков — летопись последних дел Астраханского полка. В ней нет описания лихих кавалерийских атак. Никто уже не ходит со знаменем впереди полка, увлекая за собой солдат, и баталисту не найти тут сюжета для ярких и блистательных полотен. Исчезли плюмажи, ментики, белые перевязи... В грязных холодных окопах сидят измученные люди с землистыми лицами, серые и одинаковые; военное ремесло сводится к умению зарываться в землю и поражать невидимого противника. Каким маскарадом кажутся эти петушиные мундиры и средневековые кирасы, когда стрекочут пулеметы и смерть настигает за десятки верст!

Но вот случайная подробность снова переносит Бориса в мир, где форма не была ни игрой, ни маскарадом... Он ощутил даже воодушевление, некий особенный подъем, когда застегивал пряжку портупеи и вдоль бедра повис тяжелый палаш. Теперь он вооружен. Он снова воин, способный защищаться и нападать!

Вспомнилось, как в теплушку, в которой он ехал из родного городка, нагрянул продотряд. Куда спрятать драгоценный сундук, с великой опаской и преданностью сохраненный кучером матери? Борис сунул пистолет в мусор в темном углу набитого мешочниками товарного вагона, а мундир готовился выдать за театральную бутафорию. Но что сказать про остро отточенный офицерский клинок? За него могли, по выражению того времени, «шлепнуть» тут же, на железнодорожной насыпи!

По счастью, отряд наткнулся на мешок с мукой и, занявшись им, не завершил обыска. По существу, и этот палаш с золоченой гардой и в блестящих ножнах — уже не оружие: это, в лучшем случае, символ рыцарского служения воина.

Одевание подходило к концу. Борис с трудом натянул сильно севшие и пожелтевшие замшевые перчатки и взял каску, показавшуюся неправдоподобно тяжелой. Надевать ее надо долго: она должна сидеть очень прямо, плюмаж — приходиться поперек головы и серебряный орел точно над левым ухом. Он застегнул подбородник, потом еще раз чуть надвинул каску на лоб — боже упаси завалить ее назад!

С тяжелой каской на голове нельзя не выпрямить стан, не вытянуть гордо шею. Из-под козырька ее поневоле смотришь на мир повелительно и надменно, чувствуешь себя неизмеримо вознесенным над его буднями. В сильном возбуждении Борис сделал несколько нервных шагов, повернулся. Зазвенели шпоры, конец палаша глухо застучал по полу. Чтобы успокоиться, Борис сел на табурет. И посмотрел на себя в зеркало.

Тень от каски закрывала верхнюю часть лица. Серебряные чешуйки подбородника обрамляли его снизу: в полутемном зеркале оно выглядело мертво-синим, как у покойника. Под усами напряженно кривились губы — Борису не случалось подмечать у себя такого напряженного, едва не исступленного выражения. Всмотревшись, он различил свои зрачки — неподвижные и расширенные. Словно под знакомой каской он увидел незнакомое лицо...

Кирсанов на секунду зажмурился, рывком поднялся. Было тихо, и он слышал, как шипит и потрескивает крохотный фитилек. Так горит в руке восковая свеча, когда стоишь в церкви заутреню. Или на панихиде...

Не прошло и десятка лет, как Борис стоял в толпе военных, сановников и придворных под необъятным куполом Исаакиевского собора. Снаружи, над колоннадами, по четырем углам собора, горели чаны со смолой, уподобляя его языческому капищу. По лестницам и вдоль прохода для царской семьи выстроены шпалеры кавалергардов и конногвардейцев в золотых шлемах и алых супервестах с вышитыми орлами. Великолепный храм в дыме кадильниц. Сверкают парча облачений и драгоценности на митрах и диадемах, тысячи огней, блеск и сияние... И надо всем плывут торжественные звуки ликующих пасхальных песнопений.

Не сулило ли это еще новые триста лет царствования потомкам вон того невидного, скромного человека с бородкой, стоящего с семьей

на возвышении, о здравии и благополучии которого должна молиться вся Россия? С невиданной пышностью свершался обряд многовековой давности, каждое слово и каждый жест которого повторялись сотней поколений священников и монахов. Любой напев или возгласие слышали и Киевская, и Суздальская Русь... Могло ли это сгинуть, исчезнуть, как видение, за несколько коротких лет? Между тем уже тогда лежали на складах интендантства пули, которыми должны были пять лет спустя убить низложенного самодержца, царицу, их четырех дочерей и болезненного, хилого мальчика — единственного наследника, величайшее упование династии! Их страшная смерть с горсткой преданных слуг в полуподвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге представлялась Борису неискупимым грехом России.

Как глухо теперь в ней, придавленной ужасом и дерзостью неслыханных дел! Даже и в этом городке, похороненном снегами... Но, может быть, где-нибудь еще уцелели, прячутся вот такие, как он,— верные ее сыны, готовые жертвовать жизнью? Им, может, еще удастся найти друг друга, объединиться и, начертав на своем стяге святые слова: «За веру, царя и отечество», восстановить Российскую державу с мирным, справедливым правлением? Борис знал, что бредит, но отказаться от своего бреда не мог — он поселял в душе высокие порывы.

Рука легла на эфес палаша... Если бы можно было выхватить из ножен сверкающий клинок и мчаться, мчаться, поражая и гоня перед собой орду нечестивых, всю мразь века, кричать «ура», пока хватает в легких воздуха! Впереди трубачи на рыжих конях оглашают поле звуками боевых труб, за ними скачут грозные эскадроны, топот и пыль, храпят лошади, бряцает оружие, трепещут флажки на пиках... Но куда, зачем? А может, там, впереди, окажется, как в «Войне и мире», холм с группой всадников — свитой обожаемого императора, отца своих верноподданных... Ура, еще раз ура!

И выйдет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат! —

шепчет Борис. Губы побелели, пальцы крепко сжимают рукоять палаша, а глаза впиваются в потемневший образ в углу комнаты под самым потолком. На нем — еле различимый золотой ободок вокруг стершегося лика и один строгий миндалевидный глаз.

Резкий стук в ставни раздался вдруг, и одновременно заспешили шаги за стеной, послышались бряцание щеколды на заднем крыльце и громкие голоса. Кто-то подошел к двери, сильно на нее навалился, потом стал колотить. «Прикладом или рукояткой нагана»,— подумал Кирсанов.

— Проверка документов! Отворяй! Живо! — И снова сильный толчок в дверь.

6

Борис замер, лихорадочно соображая. Он отстегнул портупею и тихонько положил палаш на стол. Потом на носках подошел к кровати — слабо, едва слышно звякнула шпора — и достал из-под подушки револьвер. Снял каску и оставил на смятой постели. Что дальше?

Под окном топчутся, скрипит снег — очевидно, приникли к ставням и стараются разглядеть что-нибудь в щелку; этот путь отрезан. Судя по шуму, в сенях тоже несколько человек. Трое, четверо? Во всяком случае, патронов у него намного больше, чем их может там оказаться.

Снова удары в дверь, крики:

— Отвори, а то хуже будет! Все едино, мы знаем, что ты тут. Не играй в прятки!

Называют фамилию, под которой живет Борис. Пришли, конечно, за ним — это отнюдь не случайная проверка по городу. Он стоит тихо, с бьющимся сердцем, ничем не выдавая своего присутствия.

Можно бы высадить пару досок в низком потолке и уйти на чердак. Но дальше как? Не лучше ли отозваться, отложить закладку, а потом с пистолетом и клинком проложить себе дорогу? И не из таких передряг приходилось выбираться! Надо лишь действовать смело и проворно: если свалить одного-двоих, то, воспользовавшись растерянностью остальных, легко убежать и скрыться в темноте... А дальше? Куда деться в кавалерийском колете? Придется ворваться в какой-нибудь дом, достать платье, переодеться. Может быть, снова стрелять и убивать... Кирсанову вспомнилось, как он оглушил, а потом добил красноармейца — доверчивого и неопытного, которому поручили вывести его из станицы и мирно расстрелять в овраге. Они шли рядышком, разговаривали. Заметив, что конвоир стал невнимателен, Борис остановился как бы зашнуровать ботинок, подобрал камень и ударил им паренька по темени...

— Взломаем, хуже будет! Все равно не уйдешь! — грозил голос за дверью.

Тянуть нельзя. Они могут послать за подкреплением, осадить дом и дождаться утра. За дверью тот же голос распорядился поискать лом или тяжелое полено. Неминуемая опасность вернула Кирсанову самообладание, и он стал почти спокойно раздумывать, как поступить.

Вот он спасется ценой нескольких русских жизней — а для чего? Как продолжать жить дальше? И главное, зачем? Так очевидно, что навеки ушло все, что было дорого и необходимо. Тому доказательство эти деревенские парни с винтовками, обложившие его, как волка. Да они и убеждены в том, что он хуже зверя и что, поймав офицера, они избавят народ от врага. Нет, спасшись сам, он ничего не спасет из того, во имя чего стоило бы жить дальше. Ведь Россия — это не только его Россия, с помазанником Божиим и блестящим воинством, но и Россия этих самых обольщенных мужиков, которые вот уже три года остервенело бьются, чтобы не допустить возвращение таких, как он. Бьются — босые и в рваных шинелишках, без пушек и выучки, против отборных войск с гаубицами и танками... И не хотят покориться, слепо поверив в рай, который им посулили большевики. Так где же выход?

А вот он: быть достойным своего мундира. Не запятнать белоснежный плюмаж, пусть время и превратило его в бутафорию. Надо быть честным до конца.

Кирсанов, уже не таясь, твердо, даже чеканя шаг, подошел к столу — в сенях загалдели люди,— взял пистолет и, направив дуло в сердце, нажал гашетку...

Осветив лицо мертвого Кирсанова ручным фонарем, начальник отряда долго в него вглядывался:

— Никакой это не Горелов, а ротмистр Кирсанов Борис... Борис... дальше позабыл. Его в доме дяди, помещика Ржевского, Борей больше звали... Борей...

— А ты откуда, товарищ Шустов, так близко его знаешь? — спросил стоявший с ним рядом щуплый человек в штатском и большой меховой шапке, пытливо вглядываясь в лицо начальника.

Тот взглянул на него через плечо, хотел было ответить, да промолчал и отошел к двери. Комиссар продолжал остро смотреть ему вслед.

В комнату внесли лампу. Поперек горницы, в натекшей на пол небольшой луже крови, лежал навзничь Кирсанов. Ярко блестели эполеты и шитье обшлагов.

Москва, 1958.

ПОЭЗИЯ

Отечественный архив

Запрета нет на крылья

Река равнинная, широкая и река бурная, горная. Это Пушкин и Лермонтов. Но это и две наши замечательные поэтессы на излете уже послеблоковской российской поэзии: Анна Ахматова и Марина Цветаева. Юность почти всегда отдает предпочтение Цветаевой, но с годами, со зрелостью, взоры (и души и сердца) все чаще и уверенней обращаются к Ахматовой. Наше счастье состоит в том, что у нас есть и то и это.

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу
Я утверждаю, что невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем,
И не моя вина, что я с рукой
На площадях стою за счастьем.

Переберите все мое добро,
Скажите (или я ослепла?),
Где золото мое, где серебро?
В моих ладонях горстка пепла.

И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых,
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

Эти стихи отчеканены из золота. Золото не ржавеет (потому оно и называется благородным металлом), не истончается, не исчезает, пролежав даже и в сырой земле хоть сотни, хоть тысячи лет. Съедается ржавчиной крепкое железо, сталь, зеленеет медь, крошатся камни, но золото остается золотом.

Впрочем, сейчас уже можно не доказывать, что поэзия Марины Цветаевой — это наше золотое достояние. После лет и десятилетий непечатания, неиздавания (что само по себе уже есть дикость и преступление) Марина Цветаева стала доступной для отечественного читателя. Однако есть страницы в ее творчестве, которые по «идейным», по «идеологическим» соображениям по-прежнему обходятся стороной издательствами. Там написаны слова (сочетания слов), которых как бы не выдерживает наша бумага. Она как бы корчится, скрючивается, обугливается и чернеет от начертания этих огненных слов.

Но ведь это — Марина Цветаева! Можно ли вообразить, что какие-либо страницы любого классика (Байрона, Гете, Данте, Петрарки, Киплинга, Овидия) утаивались от людей из побочных политических соображений? Это только мы издаем (издавали?) с изъятиями сочинения Гоголя (скажем, глава о Литургии в «Выбранных местах из переписки с друзьями»), письма Чехова, «Дневники писателя» Достоевского; даже исхитряемся изымать строки из факсимильного издания (фотоиздания) словаря Даля. Как долго мы будем утаивать многие стихи Марины Цветаевой? Вечно? Но это просто смешно. Как мы сейчас понимаем, ничто не вечно...

Да, речь идет в первую очередь о поэтической тетради Цветаевой 1917 — 1921 годов под названием «Лебединый стан». Да, это воспевание и восхваление Белой Гвардии. Да, в те страшные годы гражданской войны и террора она своим полным и пылким сердцем была не на стороне «комиссаров в пыльных шлемах» (буденовках), не на стороне армии, главнокомандующим которой был Троцкий, но на стороне армии с золотыми погонами. Не будем сейчас судить, что это было: ошибка молодости? Вина? Беда? Временное заблуждение? Крик души? Ведь люди в погонах были для нее не чужие, не гунны, нахлынувшие из дальних степей, не орда времен Чингисхана, не германцы, не иноземцы какие-нибудь. Это были ведь россияне, которые учились в гимназиях, учились в пажеском корпусе, ходили в театры, сочиняли прекрасные романсы, как, например, Булахов, или прелюды, как, например, Рахманинов, или стихи, как, например, Гумилев, пели, как Шаляпин, танцевали, как Анна Павлова, писали, как Иван Алексеевич Бунин, Иван Шмелев, Борис Зайцев или Куприн... А еще раньше сражались под командованием Скобелева на Балканах, а еще раньше сражались под командованием Кутузова, Багратиона и генерала Раевского под Бородином. Участвовали в знаменитом Брусиловском прорыве...

Кроме того, «Лебединый стан» — это факт русской поэзии, это прекрасные, впервые публикуемые у нас стихи Марины Цветаевой.

Вл. СОЛОУХИН.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА



ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН

* * *

На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

Москва, 18-го января 1918 г.

* * *

Над церковкой — голубые облака,
Крик вороний...
И проходят — цвета пепла
и песка —
Революционные войска.
Ох ты барская,
ты царская моя тоска!

Нету лиц у них и нет имен, —
Песен нету!
Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись, Москва,
на вечный сон!

Москва, 2-го марта 1917 г.

* * *

За Отрока — за Голубя —
за Сына,
За царевича младого Алексия
Помолись, церковная Россия!

Очи ангельские вытри,
Вспомяни, как пал на плиты
Голубь углицкий — Димитрий.

Ласковая ты, Россия, матерь!
Ах, ужели у тебя не хватит
На него — любовной благодати?

Грех отцовский не карай на сыне.
Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка —
Алексия!

4-го апреля 1917 г., третий день Пасхи.

Юнкерам, убитым в Нижнем

Сабли взмах —
И вздохнули трубы тяжко —
Провожать
Легкий прах.
С веткой зелени фуражка —
В головах.

Глуше, глуше
Праздный гул.

Отдадим последний долг
Тем, кто долгу отдал — душу.
Гул — смолк.
— Слуша-ай! Ка́-ра-ул!

Три фуражки.
Трубный звон.
Рвется сердце.
— Как, без шашки?
Без погон
Офицерских?
Поутру —
В безымянную дыру?

Смолкли трубы.
Доброй ночи —
Вам, разорванные в клочья —
На посту!

17-го июля 1917 г.

Корнилов

...Сын казака, казак...
Так начиналась — речь.
— Родина.— Враг.— Мрак.
Всем головами лечь.
Бейте, попы, в набат.
— Нечего есть.— Честь.
— Не терять ни дня!
Должен солдат
Чистить коня...

4-го декабря 1917 г.

(НВ! Я уже тогда поняла, что это: «Дз. и солдат должен чистить своих лошадей!» (Москва, лето 1917 г. — речь на Московском совещании) — куда дороже всего Керенского (как мы тогда говорили).

* * *

Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!
Распродавайте — на вес — часовни,
Монастыри — с молотка — на слом.

Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!

Стойла — в соборы!
Соборы — в стойла!
В чертову дюжину — календарь!
Нас под рогожу за слово: царь!
Единодержцы грошей и часа!
На куполах вымещайте злость!
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит — Расу:
Черная кость — белую кость.

Москва, 9-го марта, 1918 г.
Первый день весны.

Дон

1

Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твое дело:
Белое тело твое — в песок.

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым виденнем тает, тает...

Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть —
Вандея — Дон.

11-го марта 1918 г.

2

Кто уцелел — умрет,
кто мертв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были вы? —
Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет:
— На Дону!

— Что делали? — Да принимали
муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг
напишут слово: Дон.

17-го марта 1918 г.

(Сбоку приписка М. И. Цветаевой: НВ! мои любимые. — Ред.)

3

Волны и молодость — вне закона!
Тронулся Дон.— Погибаем.— Тонем.
Ветру веков доверяем снесть
Внукам — лихую весть:

Да! Проломилась донская глыба!
Белая гвардия — да! — погибла.
Но покидая детей и жен,
Но уходя на Дон,
Белою стаей летя на плаху,
Мы за одно умирали: хаты!
Перекрестясь на последний храм
Белогвардейская рать — векам.

Москва, Благовещение 1918 г. —
дни разгрома Дона.

* * *

Идет по луговинам лития.
Таинственная книга бытия
Российского —
где судьбы мира скрыты —
Дочитана и наглухо закрыта.

И рыщет ветер, рыщет по степи:
— Россия! — Мученица! —
С миром — спи!

17-го марта 1918 г.

* * *

Трудно и чудно — верность до гроба!
Царская роскошь — в век площадей!
Стойкие души, стойкие ребра,—
Где вы, о люди минувших дней?!

Рыжим татарином рыщет вольность,
С прахом равняя алтарь и трон.
Над пепелищами — рев застольный
Беглых солдат и неверных жен.

29-го марта 1918 г.

* * *

...О, самозванцев жалкие усилья!
Как сон, как снег,
как смерть — святыни — всем.
Запрет на Кремль?
Запрета нет на крылья!
И потому — запрета нет на Кремль!

Страстной понедельник 1918 г.

Андрей Шенье

1

Андрей Шенье взошел на эшафот.
А я живу — и это страшный грех.
Есть времена — железные —
для всех.
И не певец, кто в порохе — поет.
И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце —
смертный грех.
Не человек — кто в наши дни —
живет.

4-го апреля 1918 г.

2

Не узнаю в темноте
Руки — свои иль чужие?
Мечется в страшной мечте
Черная Консьержерия.

Руки роняют тетрадь,
Щупают тонкую шею.
Утро крадётся как тать.
Я дописать не успею.

4-го апреля 1918 г.

* * *

Это просто, как кровь и пот:
Царь — народу, царю — народ.

Это ясно, как тайна двух:
Двое рядом, а третий — Дух.

Царь с небес на престол взведен:
Это чисто, как снег и сон.
Царь опять на престол взойдет —
Это свято, как кровь и пот.

24-го апреля 1918 г., 3-й день Пасхи

(а оставалось ему жить меньше трех месяцев!).

* * *

Белизна — угроза Черноте.
Белый храм грозит гробам и грому.
Бледный праведник грозит Содому
Не мечом — а лилией в щите!

Белизна! Нерукотворный круг!
Чан крестильный! Вещие седины!
Червь и чернь узнают Господина
По цветку, цветущему из рук.

Только агнца убоится — волк,
Только ангелу сдается крепость.
Торжество — в подвалах
и в вертепах!
И взойдет в Столицу — Белый полк!

25-го мая 1918 г.

* * *

— Где лебеди? — А лебеди ушли.
— А вóроны? — А вóроны —
останись.
— Куда ушли? — Куда и журавли.
— Зачем ушли?
— Чтоб крылья не достались.

— А папа где? — Спи, спи,
за нами Сон,
Сон на степном коне сейчас приедет.
— Куда возьмет?
— На лебединый Дон.
Там у меня — ты знаешь? —
белый лебедь...

27-го июля 1918 г.

* * *

Колыбель, овеянная красным!
Колыбель, качаемая черныю!
Гром солдат — вдоль храмов —
за вечерней...
А ребенком вырастет — прекрасным.

С молоком кормилицы рязанской
Он всосал наследственные блага:
Триединство Господа — и флага,
Русский гимн —
и русские пространства.

В нужный день,
на Божьем солнце ясном,
Вспомнит долг дворянский
и дочерний —
Колыбель, качаемая черныю,
Колыбель, овеянная красным!

(Моя вторая дочь Ирина — родилась 13-го апреля 1917 г., умерла 2-го февраля 1920 г. в Сретение, от голода, в Кунцевском детском приюте.)

26-го августа 1918 г.

* * *

Над черною пучиной водною —
Последний звон.
Лавиною простонародною
Низринут трон.

Волóчится кровавым вóлоком
Пурпур царей.
Греми, греми, последний колокол
Русских церквей!

Кропите, слёзные жемчужинки,
Трон и алтарь.
Крепитесь, верные содружники:
Церковь и царь!

Цари земные низвергаются.
— Царствие! — Будь!
От колокола содрогаются
Город и грудь.

26-го сентября 1918 г.
день Иоанна Богослова.

* * *

Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне — белы-лебеди!

Знамя, шитое крестами, в саван выцвело.
А и будет ваша память — белы-рыцари.

И никто из вас, сынки! — не воротится,
А ведет ваши полки — Богородица!

12-го октября 1918 г.

Але

В шитой серебром рубашечке,
— Грудь как звездами унизана! —
Голова — цветочной чашечкой
Из серебряного выреза.

Очи — два пустынных озера,
Два Господних откровения —
На лице, туманно-розовом
От Войны и Вдохновения.

Ангел — ничего — всё! — знающий,
Плоть — былинкою довольная,
Ты отца напоминаешь мне —
Тоже Ангела и Воина.

Может — всё мое достоинство —
Зà руку с тобою странствовать.
— Помолись о нашем Воинстве
Завтра утром, на Казанскую!

5-го июля 1919 г.

* * *

С Новым Годом, Лебединый стан!
Славные обломки!
С Новым Годом — по чужим
местам —
Воины с котомкой!

С пеной ý рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом — битая — в бегах
Родина с ладонью!

Приклонись к земле — и вся земля
Песнию заздравной.
Это, Игорь,— Русь через моря
Плачет Ярославной.

Томным стоном утомляет грусть:
— Брат мой! — Князь мой! —
Сын мой!
— С Новым Годом, молодая Русь
Зà морем за синим!

Москва, 31-го русск. декабря 1920 г.



Круглый стол

ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ...

Чернобыльская катастрофа (с одной стороны) и ослабление ведомственной цензуры (с другой) сделали свое дело: прессу затопила волна выступлений против ядерной энергетики. Авторы, как правило, единодушны — необходимо приостановить и пересмотреть амбициозную программу строительства АЭС. Однако... строительство на запланированных объектах форсируется, планы создания ядерных гигантов в непосредственном соседстве с человеческим жильем не пересматриваются. Единодушие публичных выступлений — это единодушие экологов, бессильных перед молчаливой солидарностью ядерных энергетиков. Организуя «круглый стол», редакция журнала стремилась свести лицом к лицу защитников окружающей среды и представителей ведомств. Мы хотели услышать аргументы двух сторон и предоставить общественности возможность выбора. Надеемся, этот замысел удался. Хотя, приходится признать, только лишь отчасти. Не все представители ведомственной науки рискнули представить свои выступления на суд читателей. Так, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией Института прикладной геофизики Госкомгидромета СССР И. К. Дибобес, защищавший интересы ядерщиков более рьяно, чем они сами, в последний момент наложил вето на публикацию собственного выступления. И все же позиции двух сторон обозначились достаточно четко. Читателям решать, чьи аргументы убедительнее. Но сегодня — в условиях глубочайшего экологического кризиса — на общественности лежит и куда более ответственная задача: добиться того, чтобы реально восторжествовала позиция здравого смысла.

МИХАИЛ АНТОНОВ

Нравственные уроки катастрофы

Как вещество-катализатор, не участвуя непосредственно в химических реакциях, многократно повышает их интенсивность, так и аварии космической силы, происшедшие на планете в последние годы, показывают: наша эпоха действительно переломная, и нам, всему человечеству, жить так, как жили до сих пор, нельзя. Я бы даже сказал, что атомный катаклизм в Чернобыле — это самое важное событие новой эры. Оно действительно ознаменовало (в гораздо большей степени, чем любая прежняя война или революция) разделение истории человечества на две принципиально разные стадии: до него и после него, хотя мы еще далеко не все это осознали. Наступила новая эпоха истории человечества, когда требуется не только новое политическое мышление, переход экономики на интенсивный путь развития, психологическая перестройка, но и переосмысление всего исторического опыта рода людского, его грядущих судеб.

Пока в качестве главного урока из аварии в Чернобыле выступает требование повышения безопасности АЭС и т. п. Однако в дальнейшем — и чем дальше, тем острее — перед нами неизбежно будут вставать вопросы о ее нравственных уроках. С этой точки зрения мне и хотелось бы оценить высказывания тех специалистов, которые выступают за дальнейшее развитие атомной энергетики.

Но предварительно надо заметить, что в отношении Чернобыля слово «авария» совершенно не подходит. По самым скромным подсчетам в результате этого «несчастного случая» выброшено в атмосферу радиоактивных веществ в 90 с лишним раз больше, чем при взрыве атомной бомбы над Хиросимой. Следовательно, чернобыльский взрыв по своим последствиям равнозначен крупномасштабной ядерной войне, от которой в той или иной степени пострадали миллионы людей чуть ли не во всех концах планеты. Повторение такой катастрофы может оказаться гибельным для всего живого на Земле. А ведь от такого исхода мы все совсем недавно были буквально на волоске. В «Комсомольской правде» за 19 апреля 1989 года приводится высказывание шефа исследовательских служб норвежской армии Пера Торесена о возможных последствиях пожара, приведшего к гибели советской атомной подводной лодки в Северном море: «Если бы пожар вспыхнул в отсеке, где находились реакторы подводной лодки, то мы тогда наверняка имели бы дело с новым Чернобылем».

Думается, норвежский специалист недооценил возникшую опасность. Чернобыльская АЭС стоит на земле, и ее аварийный энергоблок удалось, пусть и с немалыми затратами и жертвами, замуровать в бетонный саркофаг. Его в случае повреждения (вполне возможного, а точнее — неизбежного за тысячелетия, которые он должен служить, пока там будут распадаться радиоактивные вещества), надо надеяться, удастся упрятать в новый, еще более гигантский саркофаг, и так до бесконечности. А вот атомная подводная лодка лежит на дне моря, на большой глубине, и ее никаким саркофагом не укроешь. Так что любая авария, приведшая к гибели атомной подводной лодки, грозит человечеству куда большими бедами, чем Чернобыль.

В свете сказанного можно оценить как малообоснованное предложение академика А. Д. Сахарова строить новые АЭС глубоко под землей. Земная толща только кажется сплошным мертвым массивом, на деле же там идет своя жизнь, поднимаются и опускаются грунтовые воды, текут подземные реки, идут сложнейшие геотектонические процессы, и рано или поздно радиоактивные вещества, захороненные в ней (в случае аварии на АЭС), выйдут в вышележащие слои, где они будут представлять смертельную опасность для всего живого.

Никакого «мирного» атома быть не может, распад атома — это смерть; при ядерном взрыве — немедленная, при атомной энергетике — постепенная, почему ее угроза многими и не осознается. Даже работающая без аварий АЭС выделяет в окружающую среду радиоактивные вещества, которые, постепенно накапливаясь, повышают радиационный фон. Недавно «Комсомольская правда» сообщала, что сейчас все продукты питания в той или иной степени заражены радионуклидами. Разве так обстояло дело до Хиросимы и атомной энергетики? А радиоактивные отходы будут испускать смертоносное излучение тысячи и даже миллионы лет, и никакие контейнеры и могильники не спасут от него наших далеких потомков. Между тем атомная энергия не нужна. Если устранить «самоедский» характер экономики, а также огромные потери энергии в сетях, производстве и быту, то примерно треть имеющихся энергетических мощностей в стране окажется излишней.

Известно, что в США, например, прекращено строительство и проектирование новых АЭС, в Италии, Швеции и Австрии решено вывести из эксплуатации существующие. На этом фоне грандиозная программа дальнейшего строительства АЭС в СССР (где они, как правило, размещаются в густонаселенных районах и у берегов крупнейших рек) представляется следствием если не злого умысла, то, по крайней мере, вопиющей некомпетентности ведущих специалистов в области атомной энергетики, как и утверждающих эти людоедские проекты инстанций.

Мне могут возразить, что в Японии или Франции атомная энергетика развивается. Это так, на то есть причины, требующие особого рассмотрения. Не исключено, что и в этих странах отношение к АЭС изменится. Замечу лишь, что Япония — страна, населенная почти исключительно японцами, людьми с прочными национальными и общинными традициями, а потому, можно сказать, гарантированная от попыток террористов или шантажистов захватить АЭС. Успехи Японии на новейших направлениях научно-технического прогресса позволяют ей рассчитывать на создание гораздо более эффективной, чем проектируемая в США, системы СОИ, надежно обеспечивающей АЭС от нападения извне. У нас же обстановка совсем иная: межнациональные отношения крайне обострились, нарастает социальная напряженность, Демократический союз, судя по сообщениям печати, прямо призывает к тому, чтобы устраивать аварии, в том числе и на АЭС, а достижениями в области микроэлектроники и т. п. мы пока не блещем. Разумно ли нам при столь разных обстоятельствах равняться на Японию, а не на страны, более близкие нам?

А теперь о нравственных уроках Кыштыма (засекреченной в течение долгого времени атомной аварии 1957 года) и Чернобыля.

Прежде всего как отражается развитие атомной энергетики на условиях, или, как ныне принято говорить, «качестве» жизни людей?

Еще несколько лет назад многих успокаивали высказывания академиков А. П. Александрова (например, в вышедшей в 1981 году под его редакцией книге «Ядерная энергетика, человек и окружающая среда»), М. А. Стыриковича и ряда других ученых о том, что предприятия ядерной энергетики обеспечивают наиболее «чистое» производство энергии и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, а потому можно смело сооружать «атомные котельни» разного рода непосредственно в городах. Считали приемлемой степень риска аварии на АЭС, оцененную, с подачи Запада, как «один раз в миллион лет» и понятую чуть ли не так,

будто миллион лет человечество может спать спокойно. Сейчас чаще вспоминают предостережения академика Доллежаля (главного конструктора реактора первой в мире АЭС) и доктора экономических наук Ю. Корякина («Коммунист», 1979, № 14), академика П. Л. Капицы и других специалистов, мнением которых, однако, в свое время пренебрегли. Допустим, что долговременные последствия уже происшедших в мире аварий на АЭС окажутся не очень страшными; что удастся обеспечить надежную защиту АЭС от террористов и шантажистов; что будет найден (сколь бы это ни было маловероятно) безопасный способ захоронения твердых и жидких радиоактивных отходов, масса которых (с учетом зараженной земли, а также воды, использованной при дезактивации техники и пр.) будет измеряться миллионами тонн и т. п. Но и тогда — согласится ли человечество жить, постоянно ощущая себя сидящим на пороховой бочке, могущей взорваться при малейшей неосторожности каждого из населяющих планету миллиардов людей? Не окажется ли такое постоянное напряжение, невыносимое, как утверждают психологи, для отдельного человека, неподъемным и для всего рода людского, не приведет ли оно к распаду нравственных основ жизни общества? Не возобладают ли в обществе настроения, выражающиеся формулой: однова живем, значит, все дозволено? С учетом этих обстоятельств на будущее атомной энергетики, кажется, еще никто не посмотрел, а они ведь могут оказаться решающими. Я говорю не вообще об отказе от достижений науки и техники, в частности — от применения радиоактивных изотопов в медицине и пр. Речь идет только о ядерной энергетике — этой атомной бомбе замедленного действия.

Увы, крупнейшие специалисты-атомщики — академик Е. П. Велихов и другие инициаторы создания Ядерного общества СССР — стоят за дальнейшее быстрое развитие атомной энергетики и стараются убедить в своей правоте правительство. В этом отношении они оказались не лучше массы современных обывателей, живущих по принципу «после нас хоть потоп», более того — выступают как авангард, как образованная часть обывательщины. Все это лишний раз свидетельствует о том, что в конце XX века огромное большинство людей стало равнодушным к высшим вопросам человеческого бытия, утратило высокое понимание смысла жизни, космического человеческого призвания, осознание достойного места человека в мироздании. Люди все чаще забывают о своей главной обязанности — передать своим потомкам Землю в лучшем виде, более благоустроенной, облагороженной и огражденной от опасностей, чем приняли ее от предков.

Особенно сильно заметен нравственный упадок в нашей стране. Дело здесь в том, что многие десятилетия духовные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении тысячелетия и разом в свое время отброшенные как ненужный идеалистический хлам, замещались другими, заимствованными с Запада и, при всей их распространенности, оставшимися чуждыми душам наших соотечественников. А отсутствие духовного стержня в человеке невозможно возместить никакими профессиональными знаниями. Человек — не животное, которое может смотреть только вниз и получать самое большое удовольствие, когда опускает рыло в корыто с пойлом, — он должен думать не только о преходящем, о своих сиюминутных потребностях и выгодах, но и о вечном, а потому ему надо поднимать иногда взор свой и к небу. Достойно человека лишь то, что его возвышает и облагораживает, делает добрее, милосерднее, терпимее, а не то, что его опошляет и оскотинивает. Забвение этих ценностей и ведет к утрате настоящих качеств, к подмене их потребительским психозом, на котором и паразитируют сторонники атомной энергетики.

Трагедия Чернобыля показала, что равнодушие и халатность, черствость и ненависть все более становятся ныне таким же источником опасности, как и война. Если мы хотим выжить, нам надо заново оценить такие качества подлинной человечности, как милосердие и любовь. В старину говорили, что Бог не запрещает ничего, кроме греха, и не требует ничего, кроме любви. Атомная энергия — это распад, это грех, она так же несовместима с любовью, как гений со злодейством. Исходя из нравственных установок, в противовес недавно созданному Ядерному обществу СССР и было образовано Советское антиядерное общество, президентом которого был избран М. Я. Лемешев.

Наконец, нельзя не сказать о роли международной атомной мафии, навязывающей народам гибельные для них проекты ради собственных корыстных выгод. Но пора, наконец, задуматься и мафиози над тем, что в случае вселенской катастрофы погибнут все люди — и нищенски бедные, и сверхбогатые, что отравление окружающей среды приведет к гибели потомков каждого нашего современника, в том числе и самого обеспеченного. Разве и самый корыстный мафиози не любит своих детей и внуков, разве смирится он с тем, что будет проклят собственным потомством?

Главный нравственный урок Чернобыля в том и заключается, что спастись мы можем только вместе. Надо откинуть все мелкое и сиюминутное, что нас разъединяет, и осознать то вечное, что должно всех объединять: необходимо отвести от человечества угрозу катастрофы, и прежде всего — преждевременной гибели от соблазнов, связанных с «мирным» атомом.

В прошлом народы нашей страны накопили большой опыт разумного, экологического ведения хозяйства. А в более глубокой древности именно русскими и византийскими мыслителями были глубже, чем где-либо еще, проработаны вопросы правильного взаимоотношения человека, хозяйства и природы, и именно эти давние национально-корневые идеи послужили основой взлета русской философской и общественной мысли на рубеже XIX—XX веков. Это бесценное духовное богатство нами полностью утрачено: мы, советские люди, сейчас ведем хозяйство так, что постепенно разоряем свою страну, превращая один ее регион за другим в зоны, непригодные для обитания человека. Арал и Прикаспий — неопровержимые тому доказательства. Мы хозяйствуем, совсем не имея философии хозяйства, которая наряду с нравственной философией составляла когда-то славу русской философии. Даже и начиная осознавать эту печальную истину, о которой неустанно твердят экологи и лучшие писатели, мы все же по сей день главные усилия направляем на обеспечение самостоятельности предприятий, введение хозрасчета и самофинансирования, что, естественно, в большинстве случаев *усилит* хищническую направленность экономики. А ведь пора бы нам подумать о спасении страны, самих себя, своих детей и внуков, — это было бы свидетельством того, что в нас постепенно пробуждается та духовность, об утрате которой так скорбел Ф. М. Достоевский. Пресловутый ведомственный интерес, за приверженность которому мы так остро критикуем министров, в действительности в не меньшей степени движет и рядовым работником, предпочитающим свою сиюминутную выгоду и мелкую льготу всем соображениям о будущем страны и человечества. И пока мы не осознаем того, что, в частности, утверждает западногерманский ученый Р. Баро (в книге «Логика спасения». Штутгарт, 1987) о том, что человечество стоит перед выбором: либо духовное возрождение человечества, либо всеобщая скорая гибель; более того, пока не сделаем правильный выбор в пользу Духа и Жизни, — до тех пор вряд ли можно утверждать, что из трагедии Чернобыля извлечен главный нравственный урок. А чтобы сделать этот выбор, надо возродить духовные ценности, накопленные нашим народом за тысячу с лишним лет его исторической жизни, ибо только они могут стать надежным заслоном на пути стереотипов и сил торгашества, компрадорства и прагматизма, вооружить людей пониманием высших целей жизни, что может послужить вдохновляющим примером для всего мира. Если же преобладающей останется психология временщиков и прагматиков, то при сохранении атомной энергетики второй, вернее — с учетом Кыштыма — третий, на этот раз последний Чернобыль совершенно неизбежен, вопрос лишь в том, произойдет он сегодня или завтра, у нас или за пределами нашей страны. Чернобыль показал: какой бы сложной ни была техника, ее качество и то, как она служит человеку, зависит от человека и прежде всего от его внутреннего мира, уровня нравственности и понимания им духовных ценностей.

Е. И. ИГНАТЕНКО,

начальник Главного научно-технического управления Минатомэнерго СССР, доктор технических наук

Экологическая безопасность человека и ядерная энергетика*

Экологическая безопасность человека — термин, получивший широкое распространение на страницах политических газет и журналов, в научных статьях и монографиях. О безопасности говорят политические деятели, представители науки и общественности. Каждый исследователь, желающий быть современным, занимается безопасностью. Каждый специалист придает термину «безопасность» до такой степени различное значение, что неспециалисту становится трудно определить, что же такое безопасность. Примем такие определения: **экологическая безопасность человека — степень защищенности любого человека от чрезмерной опасности.** Степень защищенности человека характеризуется продолжительностью его жизни.

На протяжении всей истории своего существования человечество, развивая экономику, создавало социально-экономическую систему безопасности. В этих условиях экологическая **безопасность человека определяется уже не экологическими факторами, а уровнем развития экономики,** социальными отношениями в обществе.

Основную опасность для человека на современном этапе развития общества представляют недостаточный уровень

---

* Выступление подготовлено на базе материалов из научных работ И. И. Кузмина, М. А. Сидорова, Б. Б. Батурова и В. М. Болдырева.— Авт.

развития экономики и несовершенство социальных структур.

...Как обеспечено электрической энергией население в странах с максимальными уровнями обеспечения безопасности (с наиболее высоким уровнем жизни)?

В Швеции на одного жителя приходится 15 тыс. кВтчас/год. При этом 50% электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. В США на одного жителя приходится 10 тыс. кВтчас/год, при этом в резерве имеется 30% мощностей. В СССР — 6 тыс. кВтчас/год на одного человека. При этом мы имеем резерв мощностей всего 3% при условии, что устойчивая работа энергосистем гарантируется при резерве мощностей не меньше чем 15, а удельная энергоемкость нашего валового продукта как минимум на 30% выше, чем в США.

Очевидно, что **для повышения уровня экологической и социально-экономической безопасности населения в нашей стране**, наряду с массовым внедрением энергосберегающих технологий, нам **потребуется нарастить мощности наших электростанций еще в 2—2,5 раза**, чтобы выйти на показатели, освоенные передовыми в техническом отношении странами. Мы все знаем, что без энергетики ничего быть не может в настоящее время — или мы вернемся назад к каменному веку, или мы будем пользоваться электричеством... Чтобы обеспечить себе нормальный образ жизни, мы должны обеспечивать рост мощностей,— как бы это нравилось кому-то или не нравилось.

Развитие науки и техники, обусловленное потребностью развития экономики, повышая социально-экономическую безопасность, одновременно привело к появлению новых видов опасности как для здоровья населения, так и для окружающей его среды.

В настоящее время ядерная энергетика в глазах общественного мнения — наиболее спорный источник энергии. Одно из объяснений этого факта состоит в том, что опасности, сопровождающие развитие ядерной энергетики, не сопоставляются с повседневной опасностью, существующей в нашем обществе, и поэтому преувеличиваются.

Мало кто знает, что дополнительные дозы облучения население получает за счет проживания в домах, построенных из материалов, в которых присутствует природный радон. Есть территории, где концентрация радона так высока, что десятки миллионов жителей нашей планеты получают за год такую же дозу радиации, которой подверглись жители окрестностей Чернобыльской АЭС после аварии 1986 г. В некоторых домах дозы облучения превышают предел, допустимый для работников ядерной промышленности.

Бытует представление, что ядерная энергетика гораздо опаснее угольной. Как показывают данные, полученные академиком АМН СССР Л. А. Ильиным, если ядерные источники энергии заменить источниками, базирующимися на сжигании угля, то риск для здоровья населения и окружающей среды возрастает в несколько сотен раз. Даже по такому фактору, как радиационное воздействие, **АЭС менее опасна, чем, например, ТЭС, работающая на угле.** Дозы облучения населения вблизи АЭС в нормальных условиях в десятки раз ниже (в зависимости от сорта угля), чем дозы облучения вблизи ТЭС. В угле имеется природный уран и продукты его распада, среди которых наиболее опасен радон. Радон вместе с дымовыми отходами ТЭС выбрасывается в окружающую среду и создает дополнительную дозу облучения населения, проживающего в районе расположения ТЭС. Высок уровень загрязнения естественными радиоактивными веществами отходов металлургических заводов, особенно шлаков. В качестве примера приведу некоторые данные за 1987 год, характеризующие здоровье населения в г. Нововоронеже, где уже 25-й год работают атомные энергоблоки, и в г. Воронеже, в котором используется ТЭЦ на органическом топливе и широко развиты химико-технологические производства. Смертность детей до одного года в Нововоронеже составляет 5 человек на 1000 детей, а в Воронеже эта величина в полтора раза выше. В Воронеже общая смертность детей в 1,8 раза выше, а заболеваемость населения — в 1,4 раза.

Однако наряду с указанными проблемами интенсивное сжигание органического топлива ведет к повышению концентрации углекислого газа в атмосфере Земли. С этим явлением связаны климатические изменения, проявление которых уже отмечается учеными многих стран и следствием **может стать затопление океаном обширных густонаселенных участков суши** и, самое главное, может привести к снижению концентрации кислорода в воздухе. Уже в следующем столетии могут оказаться затопленными такие города, как Ленинград, Лондон, Шанхай, Буэнос-Айрес и многие другие, а также такие страны, как Голландия, большая часть Бельгии, прибрежная зона Китая и обширные районы нашей страны.

Несмотря на широкое внедрение во всем мире энергосберегающей техники и технологии, годовое потребление человечеством первичных топливно-энергетических ресурсов превысило 10 млрд. т условного топлива. При потреблении 20 млрд. т условного топлива в год в виде органического топлива, что по прогнозам ученых может наступить в 2010 году, потребление кислорода из атмосферы превысит нижнюю границу оценки его воспроизводства в природе. Во многих промышленно-развитых странах эта граница уже пройдена. Экологические последствия такого нарушения баланса производства и потребления кислорода для человека и всех форм жизни растений и животных в настоящее время трудно предсказуемы. Известно, что если снизить содержание кислорода в воздухе от нормальных 20—21% до 17—18%, то для человека наступит удушье и смерть.

Однако может быть, есть возможность ограничения роста потребления органического топлива, а вместе с ним и природного кислорода при сохранении темпов развития цивилизации на планете? Есть! Их три. Это — энергосбережение, нетрадиционные источники энергии и ядерная энергетика.

Энергосберегающая политика в нашей стране не может быть альтернативой увеличению производства электроэнергии. Несмотря на это, после 1985 года в СССР идет снижение удельного веса капитальных вложений в атомную энергетику.

О нетрадиционных источниках энергии говорят, как правило, когда обсуждают энергетические проблемы XXI века. Практически как неисчерпаемый источник энергии следует рассматривать только энергию процессов деления и синтеза атомного ядра и энергию солнечной радиации. Два других источника — энергия приливов и геотермальная энергия в силу их ограниченности — не могут служить основой перспективного энергетического обеспечения. Другие виды энергии — гидроэнергия, энергия ветра — ограниченны и на длительную перспективу не могут рассматриваться как основа электроэнергетического обеспечения. Так, например, даже по самым оптимистическим оценкам энтузиастов ветроэнергетики энергии ветра в США достаточно для производства только приблизительно четвертой части прогнозируемой на конец века потребности страны в электроэнергии.

Сегодня нетрадиционные источники энергии, несмотря на их экологическую привлекательность, **также не могут служить альтернативой развития электроэнергетики на органическом топливе.**

В настоящее время в условиях нормального функционирования АЭС трудно представить более безопасный источник энергии как с точки зрения количества отходов, так и с точки зрения уровня загрязнения окружающей среды. По этому поводу на Генеральной Ассамблее ООН **генеральный директор МАГАТЭ Х. Бликс** заявил: «Я думаю, с полным основанием можно сказать, что, за исключением Чернобыля, имевшего существенные последствия, риск для здоровья и окружающей среды, связанный с выработкой электроэнергии на атомных станциях, так и остается риском, тогда как повседневное и ставшее обычным использование для выработки электроэнергии угля и нефти имеет серьезные экологические последствия».

За последние годы в мире произошло несколько аварий с необычайно высоким уровнем человеческих жертв и материальных потерь. Например: 1) 25 февраля 1984 г. в Мексике в результате взрыва емкостей со сжиженным газом на газохранилище, расположенном вблизи столицы государства — Мехико, 452 человека погибли, 1000 пропали без вести, 4248 — ранены; 2) 4 декабря 1984 г. в Индии на заводе, производящем удобрения, расположенном в черте г. Бхопал, в результате аварии произошла утечка смертоносного газа (метилизоцианата). Погибло более 2000 человек и пострадало свыше 100 тыс. человек. Оценка величины компенсации по расчетам специалистов достигает 50 млрд. долларов.

Эти аварии, не связанные с ядерной энергетикой, и аварии в ядерной энергетике **мало зависят от типа техники** — атомная ли это станция, газовое хранилище, химический реактор или буровая по добыче нефти. Сравнительный анализ аварии на ЧАЭС с другими крупными авариями как в ядерной энергетике (например, на американской АЭС «Три-Майл Айленд»), так и в других отраслях промышленности позволяет выявить их подобие. Причины и масштабы подобных аварий главным образом определяются общепромышленной тенденцией роста единичных мощностей технологических блоков и поведением персонала, управляющего этими блоками.

В заключение по вопросу, можно ли создать безаварийную реакторную установку, — положительный ответ дать нельзя, хотя вероятность такой аварии можно сделать ничтожно малой. Однако какой бы малой ни была величина этой вероятности, этот вопрос будет волновать население всегда, так как всегда можно будет предположить, что если вероятность возникновения аварии составит единицу за 10 млн. лет, то почему бы ей не случиться сегодня. И какие бы математические выкладки ни производились, убедить людей в обратном практически невозможно. Поэтому одновременно нужно будет отвечать на второй вопрос, который вытекает из первого: **а можно ли сделать так, чтобы при авариях на реакторных установках население, проживающее вокруг этого объекта, не пострадало? На этот вопрос можно ответить утвердительно.**

Поэтому, принимая все меры к снижению вероятности аварий, приводящих к разрушению или повреждению реакторных установок, мы **должны обеспечить настолько малое поступление радиоактивных веществ в окружающую среду**, чтобы не был нанесен ущерб ни ей, ни населению. И это возможно.

Таким образом, мощные ядерные энергетические установки должны работать, располагаясь под герметичными колпаками или в герметичных полостях под землей. Последнее дороже и не всегда надежнее с точки зрения удержания радиоактивности, однако психологически более эффективно действует на население.

Эти принципы нашли широкое применение как у нас в стране, так и во всем мире, и все современные АЭС создаются на этой основе, а в случае, когда атомные энергоблоки у нас расположены вблизи городов (атомные котельные), помимо защитной железобетонной оболочки, рассчитанной на падение самолета и взрывные воздействия различной силы, предусмотрено дополнительное заключение реакторной установки в специальный страховочный корпус внутри обо-

лочки, рассчитанный на воздействие, равноценное разрушению основного корпуса реактора.

Слабореактивные отходы, составляющие основную массу, у нас в стране хранятся пока на территории тех станций, где они образовались и еще не представляют серьезной проблемы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения их размещения. В перспективе планируется создать для них хранилище, расположенное в местах, удаленных от населенных пунктов.

Высокорадиоактивные отходы (отработавшее топливо в количестве 20 т/год на один блок-миллионник) увозятся с территории АЭС в специальных контейнерах, рассчитанных и испытанных по нормам МАГАТЭ на различные воздействия (падение с высоты 9 м на стальную опору, длительное пребывание в пламени и др.), на заводы по переработке ядерного топлива, где отходы такого производства остекловываются и помещаются в специальные могильники.

В будущем по мере накопления опыта проведения восстановительных ремонтов реакторного оборудования, — а их технологии уже разработаны (например, отжиг корпусов), — сроки службы АЭС будут продлеваться до 50—80 лет.

Анализ показывает, что людей, выступающих против атомной энергетики в соответствии с мотивами, которыми они руководствуются, можно разделить на 5 групп.

Первая группа — это люди, которые плохо знают состояние с энергообеспечением в нашей стране, достоинства и недостатки различных способов производства энергии, в том числе степень их экологического воздействия на окружающую среду и население. По своему социальному составу это в основном рабочие, студенты, молодежь. Количественно она представляет абсолютное большинство по сравнению с другими четырьмя группами вместе взятыми. Выступая против атомной энергетики, представители этой группы руководствуются естественными чувствами нормальных людей, стремлением обезопасить себя, своих детей, свою Родину. У них нет обоснованной позиции, руководствуются они в основном эмоциональными факторами, поэтому когда они понимают реальную ситуацию, то перестают быть противниками атомной энергетики. С этой группой населения следует вести широкую разъяснительную работу, которая у нас еще плохо поставлена. К этой же категории противников атомной энергетики, мне кажется, относятся Алесь Адамович и Борис Олейник.

Вторая группа — это некоторые высокопоставленные руководители и ученые, потерявшие после Чернобыля чувство реальности по отношению к атомной энергетике. До Чернобыля они, как правило, были большими энтузиастами ее развития, но теперь, боясь ответственности и исходя из условия, что деньги, вложенные в отрасль, — народные, а не собственные, настаивают и способствуют принятию различных, часто недостаточно обоснованных решений. К этой группе относится ряд ученых институтов Академии наук, которые предпочитают хранить молчание в широкой прессе по поводу развития атомной энергетики, хотя прекрасно понимают ее необходимость.

Практически реальную помощь нам в этой части оказали лишь член президиума АН СССР академик А. Сахаров, заявивший в интервью горьковской газете «Ленинская смена»: «Тем не менее, я считаю, что атомная энергетика необходима, и в первую очередь в связи с тем, что постоянно истощаются природные запасы топлива, газа и нефти», а также известный киевский хирург академик Н. Амосов, который в передаче по телевидению отметил, что он не против атомной энергетики, но за то, чтобы мощность реакторов была поменьше (интуитивно — это правильное понимание проблемы).

Есть третья группа людей, которая делает себе имя на проблемах борьбы с атомной энергетикой. Им не важны социальные проблемы, которые будут решены с пуском мощных источников тепла и электроэнергии, им важно показать себя. В этом процессе они готовы представить специалистов по энергетике, и прежде всего атомной, этакими Сатурнами — «пожирателями своих детей». Люди, относящиеся к этой группе, — политические игроки, которым безразлична судьба энергетики и народного хозяйства в целом, а также тех городов и областей, в которых они функционируют. Их не устраивает разговор по существу, не интересуют аргументированные доводы, для них главное — было бы побольше крика и шума, и, по их мнению, все способы для этого хороши. Такую линию проводят некоторые молодежные газеты («Ярославский комсомолец», «Ленинская смена» и др.), а также, например, работник Академии МВД доцент Б. Куркин. И хотя Б. Куркин скромно пытается прикрыться фиговым листком наивной некомпетентности, он знает, что делает, производя впечатление на широкого читателя своими трактатами, популяризирующими имя автора, хотя большинство его доводов не имеют под собой никакой научно-технической основы, а в ряде случаев или ошибочны или же имеют элемент подтасовки.

Четвертая группа противников атомной энергетики — это люди, отстаивающие местнические интересы. Так, член-корреспондент АН УССР Г. Поликарпов пишет (газета «Керченский рабочий» от 24.05.88): «Крым нуждается в электроэнергии — это не вызывает сомнения. Где же выход? Находясь в единой энергетической системе, Крым получает энергию мощной многоблочной Запорожской АЭС. Расстояние от нее до Крымского полуострова немногим больше, чем от строящейся АЭС до г. Симферополя. Опыт зарубежных стран, получающих электроэнергию от соседей, говорит о выгоде такой переброски».

Если говорить о зарубежном опыте, то следует напомнить, что в США, в Калифорнии, работает 5 АЭС, а во Флориде, которая для американцев играет такую же роль, как у нас Крым, имеется 4 АЭС, способствующих экологической чистоте этих регионов (как бы это ни казалось противоестественным Б. Олейнику). Кроме того, территория Калифорнии в геологическом отношении является рифтовым разломом, подверженным сейсмическим воздействиям.

Если же рассматривать размещение АЭС в Крыму с точки зрения Украины, то это наиболее подходящее место, так как в этом районе для отвода тепла можно использовать морскую воду (в республике дефицит пресной воды), занимаются малопригодные для сельского хозяйства солончаковые земли, имеет место дефицит электроэнергии. Но для этого площадка должна, естественно, соответствовать и другим инженерно-геологическим параметрам. Запорожская же область и так экологически перегружена, но это мало волнует крупного эколога члена-корреспондента АН УССР Г. Поликарпова.

Пятая группа противников атомной энергетики — это националистически настроенные люди, о которых почему-то не принято говорить, для которых борьба против атомной энергетики служит ширмой для консолидации, — в том числе с целью подрыва нашей экономики. Не исключаю, что **в их рядах могут быть враги нашей страны**. Ни для кого не секрет, что энергетика — хребет экономики, подрыв и разрушение которой может иметь непредсказуемые последствия для страны и ее отдельных регионов. Эти методы четко просматриваются в действиях националистических сил всех мастей.

Безопасная атомная энергетика не может быть безопасной без «зеленого» движения, но дискуссии должны быть корректными.

Б. Куркин: — Евгений Иванович, извините, но есть один момент, который меня просто убивает. Вот мы говорим: экспертиза, эксперты. Но возникает вопрос — почему решение о том, строить или не строить Крымскую АЭС, отдается на откуп западным экспертам? И кто принимает это решение? Я вас спрашивал об этом раньше, вы сказали, что не знаете, кто принимает решение.

Е. Игнатенко: — Нет, почему, — мы принимаем. Министерство!

Б. Куркин: — Хорошо. Но почему вы не доверяете, предположим, независимым экспертам? И почему вы отдаете решение вопросов, непосредственно относящихся к нашей национальной государственной безопасности, нашему потенциальному противнику?

Е. Игнатенко: — Мы проверяем.

Б. Куркин: — Проверяем... Хорошо. Вы можете представить себе ситуацию, когда вопрос о стратегической оборонной инициативе будет решаться не американскими экспертами, а представителями Министерства обороны СССР? Вы можете представить себе эту ситуацию? Я — не могу. Далее. Кто будет отвечать, если в Крыму произойдет катастрофа? Вы? Правительство? Политбюро? Или японцы?

Е. Игнатенко: — Не волнуйтесь, я на все отвечу.

А. Онегов, писатель: — Да не будете вы отвечать ни за что.

Б. Куркин: — Вот об этом и речь. За Чернобыль, извините, никто не ответил! Ответили, как говорится, мелкие сошки... Скажите, почему цензура вычеркивает вопрос о Кыштыме? Вся мировая пресса знает, **что** это такое. Велихов, будучи в Японии, вынужден был признать: да, говорит, **было**, а цензура вырубает. А ведь это **ВОПРОС**, который возникает у любого человека, когда говорят о радиоактивных отходах. Я расскажу ему про Кыштым, и, простите, все ваши идеи о том, что в вашем хозяйстве все безопасно, — это все ярославскому, архангельскому мужику потом уже не объясните*.

—————

БОРИС КУРКИН

Последний звонок

Быть или не быть ядерной энергетике в нашей стране? Чтобы ответить на этот жгучий, безотлагательный вопрос, необходимо рассмотреть наиболее важные ее проблемы — физического, технического и социально-политического свойства.

Первая — это хранение и переработка радиоактивных отходов (РАО) атомных станций. Стандартный блок-миллионник каждой АЭС дарит человечеству за пять лет 300 тонн отработанного топлива, в котором содержится 12 тонн высокорадиоактивных отходов. Но где и как хранить — в течение миллионов лет! — сотни и тысячи новых «чернобылей», увы, никто в мире еще не знает. Разрабатываются самые экзотические

* «Круглый стол» проводился до публикаций о ядерной аварии в Кыштыме.

проекты удаления РАО, в частности, выброс их на Солнце, ибо безопасное хранение их на Земле в течение миллионов лет попросту невозможно. Остается лишь гадать, в какую умопомрачительную сумму обойдется нам доставка отходов на Солнце. Однако что будем делать, если ракета с контейнером РАО потерпит аварию?

Серьезность ситуации в ядерной энергетике усугубляется тем, что наша страна мало-помалу превращается в хранилище РАО стран — членов СЭВ, Финляндии, а возможно, и иных западных стран. Кроме того, мы строим АЭС на Кубе, будем строить АЭС в Индии и соответственно принимать РАО с этих АЭС. Кстати, мы — единственная страна, которая принимает у себя РАО из-за рубежа. Помимо этого, мы экспортируем в страны — члены СЭВ, Австрию и Финляндию электроэнергию, вырабатываемую на наших АЭС, оставляя себе РАО.

Планируется экспорт нашей атомной электроэнергии в КНР и КНДР («Новый мир», 1989, № 4, с. 199). Кроме того, мы проектируем совместно с ФРГ высокотемпературный реактор (ВТГР), по отзывам советских и зарубежных специалистов — очень ненадежный. Этот опасный реактор предполагается построить в Димитровграде Ульяновской области. Однако технологии переработки его топливных отходов до сих пор нет, и неизвестно, когда она будет создана.

Неясно, например, как поведут себя геологические формации, в которые предполагается захоронить РАО. Эти формации должны отвечать требованиям высокой сейсмостойкости, водонепроницаемости и т. д. Советские специалисты указывают по крайней мере дюжину условий, которым должен отвечать грунт. Причем все эти условия, как это ни прискорбно, главные!

О нерешенности проблем надежного хранения и захоронения РАО свидетельствуют и выводы комиссии президиума АН СССР, работавшей в январе 1989 года, куда входили, в частности, академики Б. Н. Ласкорин, В. И. Субботин, А. С. Никифоров, профессор Г. Н. Яковлев — ведущие специалисты в данной области. И вообще оспаривать тезис о нерешенности проблем РАО, как это делают, например, К. В. Сухоручкин или Б. А. Семенов, это все равно что оспаривать таблицу умножения.

Правда, ответработники атомных ведомств, в частности бывший зампред Государственного комитета по атомной энергии (ГКАЭ) Б. Семенов и директор Института атомной энергии (ИАЭ) им. И. В. Курчатова, вице-президент АН СССР Е. Велихов, пытаются убедить нашу общественность в выгодах сих «негоций». Если верить т. Велихову, то отработавшее топливо — это ценнейший продукт, лишенный каких-либо вредных примесей (собственно РАО), а по Семенову — мы можем здорово повысить наше благосостояние, принимая на хранение отработавшее топливо (в сущности, те же РАО) с иноземных АЭС. Неясно только, на что рассчитана такая грубая дезинформация: на полную ли безграмотность нашего народа или на его полное безгласие?

Очевидно, в данном случае мы имеем дело уже с «отходами» нравственного порядка. И пусть все-таки т. т. Семенов и Велихов расскажут нам поподробнее о страшной катастрофе на хранилище РАО под Челябинском в 1957 году, получившей название «уральской Хиросимы», и о том, как мы продолжаем губить свои артезианские колодцы, закачивая в них высокоактивные РАО.

Кстати о «выгоде» вечного хранения смерти на нашей Земле: Б. Семенов обещает нам получение около миллиарда долларов за 30 лет (на один энергоблок-миллионник). Хочется спросить его, а куда делись 176 млрд. долларов, полученных нами за продажу нефти всего за 10 лет (с 1974-го по 1984 г.)? Не получится ли вновь, что всю страну распродадим, а сами останемся на радиоактивной помойке?

Не менее сложна и проблема демонтажа самой АЭС, а также предприятий по производству и переработке ядерного топлива, ибо они после определенного срока службы также превращаются в «ядерные отходы». Следует подчеркнуть, что атомные станции действуют уже много лет, остановлены первый и второй блоки Белоярской АЭС, Армянской АЭС, первый блок Нововоронежской АЭС и Ровенской АЭС, а концепция демонтажа АЭС еще только на стадии разработки! Остановлен для переработки «распухшей» графитовой кладки и первый блок Ленинградской АЭС. Судьба этих объектов весьма неопределенна: денег на их демонтаж чернобыльские ведомства не отпускают.

«Дешевизна» атомной электроэнергии — это ловко скроенный миф, которым прикрывают от взоров общественности гигантские расходы на демонтаж атомных станций, на захоронение и вечное хранение РАО, не говоря уже о баснословных суммах, отпускаемых на строительство новых АЭС. Так, за последние 15 лет стоимость так называемого послереакторного цикла, включающего в себя удаление из реактора отработанного топлива, его транспортировку, химобработку и хранение, увеличилась в десятки раз. Однако отходы с АЭС стран — членов СЭВ и Финляндии мы принимаем бесплатно. А сколько стоит закупленный в ФРГ высокотемпературный реактор?

Не будем забывать и о том, что при транспортировке отработанного топлива и РАО постоянно присутствует риск катастрофы, особенно если учесть, что доставлять их к местам хранения будут по железным дорогам за тысячи километров.

Вторая нерешаемая проблема — это «абсолютная» безопасность работы АЭС, а также предприятий по производству

и переработке ядерного топлива. Абсолютной безопасности ядерно-энергетических объектов, разумеется, не существует, а посему над нами дамокловым мечом повседневно висит риск нового Чернобыля.

Риск новой ядерной катастрофы весьма велик — это признают и сами работники атомных ведомств (см.: «Новый мир», 1988, № 9, с. 173). Причину сего они усматривают в крайне низком качестве строительства и эксплуатации советских АЭС. С этим нельзя не согласиться. Как свидетельствует пресса, нам явно не хватает квалифицированных операторов, год от года ухудшается подготовка специалистов в области атомной энергетики. Нет соответствующих тренажеров, низка трудовая дисциплина. Сплошь и рядом операторы АЭС (с тем чтобы не останавливать реактор и не срывать плановых заданий) отключают защитные системы реакторов. И все это — уже *после* Чернобыля!

Более того: аварии на наших ядерно-энергетических объектах до сих пор скрываются не только от общественности, но даже и от работников АЭС. Спрашивается, как можно в таких условиях анализировать ошибки оперативного персонала, дабы не допускать их впредь (см.: «Коммунист», 1989, № 4, с. 94)? В этой связи многие специалисты считают, что при нынешнем весьма низком уровне технологии, организации и дисциплины труда в ядерной энергетике мы просто не можем позволить себе роскошь этой тотально взрывоопасной отрасли.

Нелишне будет напомнить, что, по подсчетам американских специалистов, прямые и косвенные убытки от аварии на АЭС «Тримайл Айленд» составили 130 млрд. долларов! А ведь эта авария не идет ни в какое сравнение с чернобыльской.

Нелишне будет напомнить, что подпись директора ВНИИ АЭС А. Абагяна наряду с автографом Ю. Израэля, стоит под заключением экспертов Правительственной комиссии о причинах аварии на Чернобыльской АЭС, в котором говорится, что суммарный выброс продуктов деления (ПД) составил 3,5% общего количества радионуклидов в реакторе на момент аварии. (Исходя из этих данных и был сделан расчет, из которого следовало, что реактор выбросил около 63 кг ПД.)

Однако, как явствует из «Чернобыльской тетради» Г. У. Медведева («Новый мир», 1989, № 6), в атмосферу было выброшено и испарилось около 50 т (!) ядерного топлива.

Эксперты Правительственной комиссии, в которую помимо А. Абагяна входили также академик Л. Ильин, профессор А. Гуськова, И. Кузмин, А. Хрулев, профессор Ю. Сивинцев, к. т. н. В. Сухоручкин, нынешний председатель ГКАЭ А. Проценко и многие другие, занизили данные о катастрофе в невообразимое число раз! Иными словами, лгали стране самым непристойным образом, приговаривая при этом, что ничего страшного, в сущности, не произошло. Как говорится, страна должна знать своих «героев»!

В высшей степени неудовлетворительными являются и принципы размещения АЭС. Они расположены вблизи крупных городов, в истоках рек. Так, вся Волга, а вместе с ней и вся Россия, оказывается «заминированной» ядерными зарядами замедленного действия. АЭС строятся на эталонных черноземах, глине, карстовых грунтах, что является совершенно недопустимым.

Особую тревогу вызывает строительство исключительно дорогих атомных станций теплоснабжения (АСТ) в Архангельске, Горьком и Воронеже. Эти станции посажены в непосредственной близости от больших городов. В случае катастрофы на Горьковской АСТ в зону ядерного бедствия попадет весь огромный промышленный центр с населением в полтора миллиона человек, что на деле будет означать сокрушительный удар и по промышленности страны в целом. Авария в Воронеже лишит нас в эпоху Продовольственной программы, помимо жизненно важных промышленных предприятий, еще и прекрасных черноземов. Любопытно, что никто из ответработников чернобыльских ведомств не смог удовлетворительно объясниться по поводу альтернативных вариантов отопления Архангельска, Воронежа и Нижнего Новгорода.

Теперь о последствиях Чернобыля.

В бедственном положении оказались жители Могилевской, Гомельской, Житомирской, Брянской и ряда других областей. Нечем лечить пораженных радиацией людей: отсутствуют соответствующие медицинские препараты. Через *три года после Чернобыля* выяснилось, что... жить во многих районах уже просто нельзя. Об этом шла речь и на Съезде народных депутатов СССР. Однако средств на отселение людей, по официальным данным, нет. В прессе появились сообщения о том, что «большинство из тех, кто около трех лет работает в зоне поражения, не проходили диспансерных медицинских обследований», а многим, получившим дозу облучения, «не фиксируется связь «букетов» заболеваний с ионизирующим излучением или хотя бы с участием в работах по ликвидации аварии» («Известия» от 2.04.89). Огромному числу пострадавших людей не оказана медицинская помощь. Они брошены на произвол судьбы. Может быть, жизнь человеческая и впрямь не есть предмет первой необходимости («Комсомольская правда» от 11.05.89)?

Следует отметить, что это кощунственное, если не преступное, отношение к людям — явление не случайное. Оно — результат инструктивного письма Третьего главного управления Минздрава СССР, подписанного т. Шульженко. Так, в письме говорится о необходимости за-

секречивания сведений **об аварии на Чернобыльской АЭС, о результатах лечении пострадавших, а также о степени радиационного поражения персонала, участвовавшего в ликвидации последствий на ЧАЭС.** (Об этом письме шла речь в программе «Взгляд» 7 апреля 1989 года.) Что не может не вызывать у людей чувства законного возмущения.

Все это дает основания полагать, что **ядерная энергетика в ее нынешнем виде не имеет в нашей стране права на существование.**

В этой связи наше общество должно выяснить свои реальные энергопотребности, определить, сколько же энергии нам в действительности нужно? Увы, мы этого не знаем и, учитывая существующую организацию нашей социально-экономической жизни, никогда не сможем узнать в принципе.

Действительно, можно ли толком знать, каковы будут энергоаппетиты печально знаменитого Минводхоза-Минводстроя, Минтяжмаша или того же Минатомэнергопрома? Мы должны наконец понять, что **нужна не Энергетическая программа, а программа повышения благосостояния народа.**

Мы по-прежнему тратим энергии на единицу произведенного продукта больше всех и остаемся бедной страной. А резервы энергосбережения огромны. Это — внедрение газо- и парогазотурбинных установок с высоким (50% и более) кпд, ветряных и солнечных энергоустановок, дешевых бесплотинных модульных ГЭС, а также ТЭС с принципиально новой технологией сжигания топлива. В ФРГ, Японии уже действуют ТЭС на угле, которые по чистоте, равно как и по составу выбросов, являются экологически чистыми (Вдогонку за прогрессом. — «Социалистическая индустрия» от 19.02.89). Разработаны такие ТЭС и у нас, однако ведомствам невыгодно внедрять новую технику. Еще в 1975 году американцы закупили у нас лицензии на технологии подземной газификации угля, которые у себя мы никак не хотели внедрять.

Следует помнить, что в настоящее время наши АЭС способны дать всего лишь около 12 процентов всей производимой в стране электроэнергии. Из-за нашей неразумной социально-экономической организации, порождающей колоссальное энергорасточительство, ядерную энергетику, точнее, затраты, связанные с ее осуществлением, по остроумному замечанию профессора Ю. И. Корякина, можно квалифицировать как экономическое наказание для страны, неспособной организовать энергосберегающую технологическую политику, как меру вынужденно-принудительного ядерного «осчастливливания» нашего народа. Не случайно ряд представителей атомных ведомств выступают с идеей замораживания строительства АЭС на 15 — 20 лет — до тех пор, пока не будут созданы безопасные реакторы нового поколения и не будет решена проблема хранения РАО.

Если общество решит, что ядерная энергетика ему нужна, то тогда потребуется и четкая система правового регулирования строительства и эксплуатации ядерных объектов. **Ведомственное «законотворчество» в этой области привело к трагедиям. Это лжезаконотворчество необходимо остановить.** Поэтому уже сейчас назрела острая необходимость скорейшего принятия четкого и ясного Закона о ядерной энергии, который был бы разработан в условиях гласного квалифицированного парламентского и всенародного обсуждения.

Н. П. ДУБИНИН,

действительный член Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии

Генетические последствия радиации

Мы переживаем время, когда экологические проблемы приобрели угрожающий характер как для отдельных регионов, так и для всей планеты. Изменяется климат, атмосфера, литосфера. Эти изменения оболочки Земли, вызываемые деятельностью человека, становятся столь глубокими, что во многих регионах угрожают здоровью людей. Дальнейший рост нарушений в биосфере поставит под вопрос само существование человечества. Видя исчезновение ряда животных и растений, отравление человека нитратами, пестицидами, ртутью, радионуклидами и другими вредными веществами, страдая от новых заболеваний, сегодня уже многие люди понимают, сколь велика экологическая опасность и что второй по значению после угрозы ядерной войны является угроза экологической катастрофы. По мере хода научно-технической революции экологическая напряжен-

ность все возрастает. Обязанность государства, общества, науки — вернуть природе способность саморегуляции на основе естественных процессов и остановить разрушение биосферы.

Сейчас налаживается всесторонний анализ характера и степени нарушений в биосфере, организуется повсеместный контроль атмосферы, воды, почв, климата. К сожалению, гораздо меньше исследуется влияние этих негативных изменений на биологические особенности человека и других организмов. Во многих случаях коренным недостатком этих исследований является непонимание той огромной роли, которую играет загрязнение среды в развитии наследственных генетических нарушений. Мутагены — вредные химические соединения, ионизирующие излучения и др. — способны проникать в клетки и искажать их генетическую программу (мутации). Когда поражение затрагивает ДНК в зародышевых клетках человека, гибнут эмбрионы или появляются люди, имеющие наследственные дефекты. С другой стороны, мутации в клетках тела организма (соматических клетках) вызывают рак, нарушения иммунной системы, укорачивают жизнь. Вся сумма искажений генетической информации человека, подрывающих наследственное здоровье населения, объединяется под названием генетического груза. Генетические нарушения могут оказать громадное влияние на судьбы человечества.

Основными вопросами экологической генетики являются: а) каков уровень генетического груза у населения? б) какова зависимость роста объема генетического груза от усиления экологического напряжения в окружающей среде? На эти вопросы мы не имеем точных ответов, однако некоторые факты подлежат обсуждению.

Влияние генетического груза на экономику, трудовые и оборонные ресурсы каждой страны очень велико.

Наиболее явно оно проявляется при рождении детей с разного рода генетическими отклонениями в виде физических и психических дефектов. Таких детей рождается 10 процентов. То есть из миллиона детей 100 000 рождается с разными отклонениями от нормального развития. В каждой большой стране число людей, подверженных воздействию генетического груза, исчисляется десятками миллионов. Кроме того, растет число случаев пограничной патологии. В пяти крупнейших капиталистических странах число людей с неврозами, психозами составляет в среднем 13 процентов всего населения, причем заболевания такого рода далеко не всегда выявляются своевременно. Научным комитетом по действию атомной радиации ООН с участием ведущих специалистов мира по радиационной генетике принято, что удвоение частоты мутаций при остром облучении возникает при действии 30 рад. Если человек подвергается хроническому действию малых доз радиации в течение репродуктивного периода (30 лет), то суммарная доза радиации, способная удвоить частоту мутаций, равна 100 рад. Такие воздействия безусловно осуществятся в случае развязывания ядерной войны. У людей, переживших такую войну, зародышевые клетки будут поражены, что приведет к гибели человечества. Постепенное повышение уровня фона радиации в окружающей среде происходит под влиянием радиоактивных отходов, при бытовом и медицинском использовании ионизирующих излучений, при работе АЭС и т. д. Радиационный фон резко повышается на территориях, охваченных последствиями аварий, происходящих с источниками ионизирующих излучений.

В свете этих данных совершенно не отвечает истинному положению дел позиция Министерства здравоохранения СССР, выраженная руководителями Института биофизики этого министерства (Л. А. Ильин, К. И. Гордеев). Они заявляют, что в загрязненных радиацией районах после взрыва в Чернобыле «вероятность появления людей с отдаленными последствиями облучения ничтожна» и что «здоровье людей в этих районах, и особенно детей, характеризуется лучшими показателями, чем в чистых — контрольных — районах».

На самом деле генетические последствия в загрязненных районах неизбежны. Их величина зависит от дозы радиации, полученной каждым из районов. **Любое повышение радиации влечет за собой то или иное поражение наследственности человека, соответствующее дозе радиации.**

Если принять заведомо заниженную оценку величины радиационного фона (его величина определяется только по изотопу цезия, другие изотопы не принимаются в расчет), то все равно общая площадь с радиацией выше допустимых доз составляет более 10 тысяч квадратных километров. На этой территории находится 640 населенных пунктов с населением более 230 тысяч человек. Для населения этих районов и ряда других мест будущее связано с генетическими последствиями, с увеличением числа раковых болезней от радионуклидов, выпавших при аварии Чернобыльской АЭС.

Один из участников «круглого стола» И. К. Дибобес заявил, что Дубинин якобы пришел к выводу, что от развития атомной энергетики не может быть генетических последствий. Непонятно, откуда это взято. Еще работая в Научном комитете ООН по действию атомной радиации, я представил материалы о генетической опасности от радионуклидов, выпадающих на Землю при взрывах ядерных бомб в атмосфере. Запрещение этих испытаний Генеральной Ассамблеей ООН опиралось на учет их генетической опасности.

Главный тезис адептов развития атомной энергетики состоит в утверждении экологической безопасности АЭС и других подобных устройств. Такое утверждение основано на том, что если рассчитать количество долгоживущих радиону-

клидов, выбрасываемых всеми АЭС на все пространство нашей страны, то доза добавочной радиоактивности составляет очень малую часть естественного фона радиации. Однако этот расчет не учитывает заметяой разницы в объеме выбросов радионуклидов разными АЭС. Так, для Чернобыльской АЭС эксплуатационные выбросы составляют в сутки 4000 кюри, а у Нововоронежской — 100 кюри. Поэтому т. Игнатенко и приводит данные по Нововоронежской, а не по Чернобыльской АЭС. Нашими оппонентами не учтены также выбросы радионуклидов на разных этапах ядерно-энергетического цикла и роль отходов АЭС в загрязнении биосферы радионуклидами.

В 1988 году вышел сборник научных трудов «Радиоэкологические исследования в зоне АЭС» (Свердловск, Уральское отделение АН СССР). В выводах по Белоярской АЭС отмечено, что сбросы дебалансных вод АЭС в Ольховскую болотно-речную экосистему привели к тому, что появились достаточно высокие концентрации радиоактивных изотопов цезия, превышающие контрольные участки в десятки раз по воде и на два порядка величин по донным отложениям. Повышенные концентрации в водной фазе отмечаются и для трития. Свободно живущие рыбы накапливают радионуклиды. Прибрежные болотные образования служат своеобразным природным экраном на пути миграции радионуклидов, благодаря чему на расстоянии свыше 300—500 метров от берега содержание изотопа цезия в почвах и растениях не превышает фонового уровня (с. 8).

При изучении обстановки на Южно-Украинской и Армянской АЭС сделан вывод: «Отведение жидких отходов АЭС в водоемы, вода которых используется для орошения сельхозугодий, требует внимания как службы радиологической безопасности атомной электростанции, так и государственного санитарного надзора», поскольку «часть детского населения может получать дозы облучения, равные пределу» (с. 107—108).

Общий вывод радиоэкологических исследований в зоне АЭС гласит: «В результате значительного расширения атомной энергетики, связанного с переводом энергетической базы многих стран мира на ядерную основу, на всех этапах полного ядерно-энергетического цикла повысилась вероятность загрязнения окружающей среды за счет неизбежных, хотя и строго контролируемых, выбросов радионуклидов в эту среду... Все это создает потенциальную возможность загрязнения как биосферы в целом, так и сферы сельскохозяйственного производства» (с. 108).

Таким образом, нет сомнений, что АЭС постепенно загрязняют биосферу радионуклидами. Грозная обстановка складывается при авариях. Авария в Чернобыле — не только национальная, но и общечеловеческая беда. Радиоактивность в 30-километровой зоне была высокой. Из этой и других опасных зон эвакуировано население и скот. След радиоактивности прошел по территориям Могилевской, Гомельской, Киевской, Житомирской и Брянской областей. Население многих сел, где повышен фон радиации, необходимо постоянно обеспечивать чистыми завозными продуктами, но в большинстве сел и деревень это не делается. У населения, проживающего на этих территориях, конечно, будут возникать генетические последствия и повысится число раковых заболеваний. Но трудно еще сказать — в какой мере, поскольку нет точных данных по уровню потребления населением радионуклидов (внутренний фон за счет питания, дыхания и от внешнего воздействия). Все разговоры о том, что население этих территорий, благодаря усилиям медицины, даже более здорово, чем население вне радиоактивных следов, являются необоснованными. Поскольку радионуклиды сохраняются в биосфере, то в соответствии с дозами, которые накапливаются из года в год, **потомки будут испытывать давление возрастающего генетического груза и раковых заболеваний.**

В связи со взрывом на АЭС Чернобыля встает ряд законных и тревожных вопросов. Почему качество строительства АЭС столь низкое и почему для АЭС принимают столько бракованного оборудования? Почему на АЭС работают некомпетентные специалисты? Почему до сих пор ряд АЭС использует уран-графитовые реакторы, которые, вопреки утверждению А. П. Александрова, являются наименее безопасными и экономичными? Именно такой реактор был поставлен в Чернобыле в 135 километрах от Киева. Еще более 15 лет тому назад высказывались предупреждения о возможной взрывоопасности этого типа реактора, что и реализовалось в Чернобыле в 1986 году. Почему АЭС, да еще на основе плохих типов реакторов, построены в густонаселенных регионах, в сейсмически опасных зонах?

Чернобыль нанес крупный материальный ущерб государству, здоровью населения и вызовет генетические последствия. Этот взрыв привел всю проблему атомной энергетики в кризисное состояние. Около Ленинграда, Нововоронежа и в других местах работают АЭС, вызывающие у населения ядерный стресс. Под давлением общественности закрыта Армянская АЭС, приостановлено строительство Краснодарской АЭС, идет серьезная критика в адрес Крымской АЭС, принято решение о невозобновлении строительства третьей очереди Чернобыльской АЭС.

Является ли трагедия Чернобыля уникальной и не повторится ли она в новом месте? Конечно, сейчас вопросы безопасности АЭС находятся под пристальным вниманием, для этого затрачиваются значительные средства. Однако полной уверенности в светлом будущем, увы, нет. По сообщениям ТАСС, только за один 1987 год на американских АЭС в результате различных неполадок произведено 430 экстренных остановок реакторов. Персонал АЭС допустил 492 нарушения установленных норм эксплуатации. У нас аварий не меньше, просто они скрывались Министерством атомной энергетики. В истории эксплуатации АЭС был ряд аварий с радиоактивными выбросами.

Особую тревогу вызывает строительство АСТ — атомных станций теплоснабжения. АСТ решено поставить в ...15 крупных городах! Надо ли нам среди многих наших бед нагнетать еще постоянный страх у миллионов горожан? «Мирный» атом не оправдал надежд человечества, и ядерная энергетика вошла в кризисную полосу своего существования. Она требует постоянного внимания, больших средств и осмысливания. Есть предложения об остановке программы ядерной энергетики, и называется несколько альтернативных источников энергии. В частности, экологически чистым является газ.

Серьезного внимания заслуживают тревожные факты о повышении частоты возникновения мутаций от загрязнений биосферы химическими соединениями. Места, особо интенсивно загрязненные, имеются в США, СССР, Японии и в других странах. Показано, что в этих условиях растет число спонтанных абортов, мертворождений, число новорожденных с дефектами развития, раковыми заболеваниями и т. д. Анализ с помощью тест-систем-дрозофил, бактерий и растений показал, что введение в биосферу химических соединений приводит к повышению мутагенности среды.

Генетический груз населения увеличивается под влиянием мутагенно активных компонентов пищи и атмосферы.

В последнее время в связи с разрушением фреонами озонного слоя все больше и больше лучей ультрафиолета проникает к поверхности Земли. Так появляется новый могущественный, опасный для жизни мутаген. Недопущение загрязнителей в биосферу требует тотальной экологизации промышленности и сельского хозяйства. Она может быть осуществлена путем введения безотходных производств, освобождения Волги и других равнинных рек от плотин, развития биологических методов борьбы с вредителями и т. д.

Нет сомнений, что современное поколение людей испытывает на себе повышенное давление мутаций. Это давление растет вслед за быстрым ростом количества мутагенов в биосфере. Загрязнение окружающей среды принимает катастрофические масштабы. Так, в текущее время в атмосферу поступает около 5,5 миллиарда тонн двуокиси углерода ежегодно — в 3 раза больше, чем в 1950 году. Увеличение количества мутагенов в среде ведет к повышению частоты мутаций. Нельзя допустить удвоения частоты возникновения мутаций. В этом случае для наследственности человечества наступят катастрофические последствия. Мутаген — это конечный во всей техногенной цепи разрушительной деятельности человека его враг, непосредственно атакующий наследственность. Недаром постепенное накопление мутагенных загрязнителей среды сравнивается с замедленным действием ядерных бомб.

Предстоит еще огромная работа по исследованию генетических эффектов, порождаемых загрязнением биосферы радиацией, пестицидами, химическими мутагенами, тяжелыми металлами — при их воздействии на человека, популяции растений, животных и микроорганизмов. Большое значение для генетики и всей науки будет иметь исследование тех популяций и видов, которые оказались под повышенным давлением мутаций, вызванным загрязнением биосферы. Однако до сих пор эти исследования не проводятся с нужной глубиной и размахом. Настало время оценить по-настоящему, не пряча глаз, не только глобальные масштабы экологической угрозы, но и то, каким образом загрязнение биосферы ведет к необратимым отрицательным изменениям в наследственности человека.

С 1976 года работает советско-американская комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Я являюсь советским сопредседателем проекта «Биологические и генетические последствия загрязнения среды». В ноябре 1988 года, находясь в США, комиссия этого проекта выработала совместное соглашение о проведении в своих странах генетического мониторинга в острозагрязненных районах, что позволит учесть максимально возможное число патологий эмбрионов и новорожденных и оценить рост генетического груза в зависимости от степени экологического напряжения.

Еще 20—30 лет тому назад все мы не придавали нужного значения экологической опасности. Приходится сожалеть, что государственного понимания значимости генетической проблемы во всем ее грозном значении пока нет. Генетический мониторинг начался в 1989 году. Я не сомневаюсь, что фундаментальные экогенетические исследования и выработка практических рекомендаций по охране наследственного здоровья населения станут со временем одним из центральных направлений всей работы по проблемам экологии. **Охрана генофонда человека, недопущение его взрыва со стороны мутагенных загрязнителей среды должно стать одной из главных забот нашего государства и науки. Без охраны генофонда нельзя обезопасить здоровье людей, без здорового генофонда нельзя и думать о самом существовании и дальнейшем прогрессе человеческого общества.**

А. А. АБАГЯН,
генеральный директор научно-производственного объединения «Энергия» Минатомэнерго СССР,
директор Всесоюзного научно-исследовательского института по эксплуатации АЭС,
член центрального правления Ядерного общества СССР, член Совета управляющих Всемирной ассоциации операторов АЭС,
доктор технических наук, профессор

Чернобыль — не основание для вето на атомные станции

Товарищи! Я был в числе тех специалистов, которые сразу же после аварии на Чернобыле туда прибыли на самолете. Сразу же! Нас ночью вывезли туда для ликвидации последствий этой аварии. Поэтому я представляю, что это такое. Далее, я был в числе специалистов, делегированных в Вену — в МАГАТЭ — для того, чтобы объяснить мировому сообществу, всем специалистам, а также прессе, **что** там произошло. И мы неделю отвечали по пять часов — специалистам и по два — прессе, **что** там произошло. То, что там тогда произошло, это действительно страшно, это действительно совершенно уникальная вещь. Если хотите, я могу это вам рассказать, если есть в этом потребность. Но не надо об этом сейчас рассказывать: это несчастье атомной энергетики, несчастье данного типа реакторов. Меры, которые сейчас приняты, исключат аварии подобного типа. Кстати, для сведения — за рубежом реакторы типа Чернобыльского не строятся и не используются. Они используются только для других — военных — целей. Весь мир в основном развивается из другого типа реакторах, которые и у нас есть.

Что меня беспокоит? Я сегодня внимательно слушал выступающих. Я понимаю все, что беспокоит вас, вы ставите вопрос о стратегии выживания. Мы же л ю д и все! Между прочим, у меня тоже четыре внука. И я их очень люблю,— так же, как и вы. И, кстати, очень думаю об их будущем. И мне кажется очень о п а с н ы м тот накал антиатомный, который возник после Чернобыля. Это естественная реакция людей, переживших Чернобыль. Все это так, но запрет атомной энергетики приведет к тяжелым экологическим последствиям. Я вам должен сказать, что под нажимом общественного мнения — и в основном под этим — сейчас атомная программа свернута. Закрыли здоровую, совсем здоровую АЭС в Армении. Она выдержала 6 баллов: мы сразу туда прибыли после землетрясения — даже царапинки на ней не было. Если бы 10 баллов, то какие-то элементы ее разрушились бы. Правда, я вам должен сказать, что вообще ничего катастрофического не было бы, так как на Армянской АЭС другой тип реактора. Чернобыля бы там не было. У меня там живет много родственников, я их очень люблю и уважаю. Когда меня спрашивают, я говорю, что не надо было ее закрывать! Ибо это экологически чистый и независимый от социальных катаклизмов источник энергии. Но я понимаю этих людей: они просят. Ну раз они п р о с я т, давайте пойдем на это. Вот был мой ответ. Я не могу назвать себя экологом, но, наверное, человеком могу назвать. Мне кажется, экологические последствия гонений на атомную энергетику будут плачевными. Наверное, большинство искренне это делает. Я бы хотел в это верить. Я к чему призываю: нам нужно сделать комплексную взвешенную оценку всего. Ведь здесь **экологическая** проблема и **социологическая** — все мы люди: согласятся ли наши люди? Я с вами согласен: давайте проповедовать философию ограничения — может быть, вы согласитесь и, может быть, я соглашусь. Я говорю: м о ж е т б ы т ь. Согласится ли наша система в целом? Поэтому — **вопрос номер один: нужна ли дополнительная энергия, нужна она или нет?** Все, что вы говорите, оно правильно, оно искренне. Да, нетрадиционные источники: солнце, ветер и т. п. надо использовать. Однако одна солнечная станция, мощностью одного атомного блока — гигаваттного — это девяносто квадратных километров, это десять километров на десять зеркал. Я читал публикации, что эти ветростанции низкую частоту генерируют, которая негативно воздействует на все живое. Я обращаюсь к писателям подойти очень взвешенно: что мы делаем. Так же нельзя! Да, был Чернобыль — вы сейчас мне ответите и правильно скажете, — но я-то знаю причины Чернобыля. Я хочу вам сказать: ну давайте определимся! Нужна ли дополнительная энергия? Это первое.

Второе. Как это наращивать, исходя из реальности? Мы все довольно хорошо можем говорить о прошлом, критиковать это прошлое. Достаточно хорошо можем говорить о далеком будущем и совсем тяжело — о том, что делать сейчас. Вот есть переходный период между светлым будущим, тяжелым, жутким прошлым. А вот что с е й ч а с делать? Страны, которые сильно развивают атомную энергетику, в частности Франция, — они экологически самые благополучные. Они держат закрытыми тепловые станции — здоровые, крепкие станции, работоспособные, они их не эксплуатируют, потому что атомная энергетика экологически чище. Я понимаю, вы сейчас мне опять вериете Чернобыль. Вы мне это верните! Поэтому **наша задача — в первую очередь обеспечить безопасность этой действующей энергетики** и тем самым способствовать решению экологической проблемы: к а к нам выходить из положения. Оттого, что мы говорим, что нам плохо, и правильно перечисляем эти вопросы — эта часть необходимая, но не достаточная. Надо потом сказать, а что же дальше делать? Так вот, мне кажется, что эта проблема комплексная. Важно — как люди хотят жить. Вот выступал товарищ, представитель народов Севера — писатель Сайги. Он очень правильные вещи говорил. А ведь сейчас, к у д а нас гонят: поскольку выхода нет, необходима дополнительная энергия, требуется дополнительная добыча нефти и газа, что отрицательно скажется на экологии Севера.

Я поэтому и задаю вам вопрос номер один: скажите, обществу нужна дополнительная энергия или нет?

Голоса: «Это дискуссионный вопрос!», «Очень дискуссионный!». «Нужна!», «Ясно, что не нужна!», «Нужна, но не от атомной энергии».

А. А. Абагян: — Очень дискуссионный. Но это — основной вопрос.

Но надо провести все экологические и экономические исследования, не основываясь на эмоциях только, а сделать расчеты.

О. В. Волков, писатель: — Сегодня сказали, что наше спасение — только в угле и атоме. Уголь исчерпывается, а атом...

А. А. Абагян: — Ну, по сегодняшним нашим расчетам это действительно так— уголь и атомные станции. Если же мы сейчас запретим атомные станции, мы сделаем страшные экологические нарушения.

Н. А. Лебедева, доктор геолого-минералогических наук: — Пожалуйста, объясните: в студенческие годы мы изучали Армению как передовую нашу республику по использованию малых рек, — там же сплошные водопады и малые реки, на которых стояли и работали десятки малых ГЭС. Почему их свернули?

А. А. Абагян: — Это большая ошибка! И это надо учитывать. (Общее возбуждение, шум, смех.) Но нужны расчеты — к чему я и призываю!

В. Н. Морозов, доктор медицинских наук: — Так кто же мешает вам — директору института, их делать? Десятилетиями! И почему вы не задумались об этом раньше, почему вы только сейчас заговорили об этом и к кому вы апеллируете?

А. А. Абагян: — Я апеллирую к прессе, которая нагнетает антиатомные настроения. Тем самым она не дает возможности объективно, экологически разумно развивать всю нашу технологию. Вот о чем я говорю.

А. Г. Трусов, кандидат физико-математических наук: — Простите, пожалуйста, а не есть ли это самый легкий выход: вместо того, чтобы затруднить себя решением сложных задач, продолжать работать по линии гигантизма?

А. А. Абагян: — Видите ли, я ведь от чего только лишь предостерегаю? Я предостерегаю от экстремальных заявлений: запретить атомную энергетику, развивать только ветряные, развивать только солнечные, малые. Все это — я не говорю «только» — это все надо посмотреть в комплексе. А начать надо с того, чтобы спросить людей — к чему нас призывают писатели: вы как хотите жить? К а к хотите жить?

М. В. Черкасова, эколог: — Мы хотим вы-жить. Мы — за безопасность.

А. И. Крылов, эколог, кандидат философских наук: — Может быть, вы читали книгу Барбары Уорд и Дюбо, в которой сказано, что есть предел строительства атомных станций, ибо даже без взрывов и прочих аварий атомная промышленность создает радиационный фон такой, что он погубит все человечество.

А. А. Абагян: — Нет, не читал.

А. И. Крылов: — Второе. Признаете ли вы эффект синергизма, то есть одновременного воздействия химизации и радиации на организм? Те факты, о которых сообщила сегодня Мария Валентиновна Черкасова, по всем признакам являются результатом синергизма*.

А. А. Абагян: — Вы знаете, по второму вашему вопросу я не специалист. Я не могу вам тут сказать. Возможно, есть корреляционные вещи, возможно, Дибобес о них знает.

А. С. Онегов, писатель: — В нашей оборонной промышленности мне пришлось создавать методики расчета надежности. Я знаю, что всегда есть вероятность о т к а з а. Когда я сажусь с охотничьими патронами в самолет, мне говорят: нельзя. Я говорю: «Милые люди! Это никогда не взорвется!» Они отвечают: «Е с т ь вероятность того, что в з о р в е т с я. Пропустить вас с патронами нельзя!» Понимаете, в чем дело? Есть ли вероятность взрыва, допустим, атомной станции? Я не задаю вам вопрос, я процитирую статью Л. П. Феоктистова, члена-корреспондента Академии наук, из журнала «Природа», номер один за 1989 год (Феоктистов работает в Физическом институте АН СССР): «Очевидно, что если внезапно из активной зоны реактора удалить все управляющие стержни — вследствие, скажем, какой-то роковой ошибки, то реактор станет надкритичным и, следовательно, взрывоопасным. **В этом смысле никакой из существующих реакторов нельзя отнести к безусловно безопасному».** Я понимаю это не эмоциями, я рассуждаю как инженер: е с т ь вероятность отказа, есть вероятность взрыва. А вы мне говорите: она очень незначительна. И предлагаете мне внести в дом атомную бомбу.

А. А. Абагян: — Нет, этого вам я не предлагаю.

А. С. Онегов: — Я готов взрываться: я и облучение получал — в Средьмаше ра-

---

* Ряд выступлений не вошел в подборку, так как ораторы далеко отклонялись от основной темы.

ботал, всё это знаю. Но люди не хотят взрываться! Я им сотой части не говорю того, что знаю. Но они говорят: мы хотим жить без атомной энергии. Вот как тут быть? — вы скажите.

А. А. Абагян: — Тут выступал один товарищ, который говорил, что усиленное внимание к атомной энергетике отвлекло общественность от химических дел, от других дел, которые на самом деле на порядки опаснее, чем атомная энергетика. Ведь основная моя мысль какая? Давайте оптимально посмотрим. Не надо этих крайних утверждений, — давайте посмотрим, что надо. Я понимаю ваше состояние. Кстати, у меня совершенно случайно оказалась запорожская газета. В Запорожье и ТЭЦ есть и АЭС. Я за то, чтобы люди знали обстановку, надо им давать, конечно же, максимум информации. Чтобы они знали, что творится, что такое АЭС. Запорожская АЭС — одна из самых больших наших станций. В газете опубликованы данные о радиационном состоянии воздушного бассейна — на текущий момент и до пуска АЭС. Если хотите, я вам цифры зачитаю. Их значения — фоновые, то есть как было до строительства АЭС, так и осталось: АЭС ничего не добавила. Там это регулярно публикуют. Я, например, считаю, что такие данные надо публиковать и в центральной печати, пусть люди знают. Дозиметры? Я согласен: пусть все имеют дозиметры, идут и измеряют.

А. Л. ЯНШИН,
действительный член Академии наук СССР,
почетный советник Президиума АН СССР,
председатель Научного совета по проблемам биосферы АН СССР,
народный депутат СССР

Парниковый эффект и стратегия энергетики

Владимир Иванович Вернадский в конце жизни начал разрабатывать учение об эволюции биосферы и неизбежности превращения ее под влиянием научной мысли и коллективного труда человечества в новое состояние, которое он назвал ноосферой — сферой человеческого разума. Ученый скончался 6 января 1945 года, за 4 месяца до конца Великой Отечественной войны. С тех пор прошло более 40 лет. За это время сбылось предсказанное В. И. Вернадским овладение атомной энергией, человек преодолел границы биосферы, вышел в космос и уверенно в нем работает, узнал состав пород Луны и Венеры, даже в какой-то мере спутников Юпитера и Сатурна. Созданы новые отрасли полупроводниковой, электронной, полимерной и микробиологической промышленности, мощная вычислительная техника. За этот сравнительно короткий срок общий ежегодный объем различных производств на Земле возрос в денежном выражении, по существующим оценкам, приблизительно в сорок раз.

В ходе происходящей на наших глазах научно-технической революции не только количественно возросли старые, но появились принципиально новые виды негативного воздействия человеческой деятельности на биосферу, породившие новые глобальные экологические проблемы, которые В. И. Вернадский не мог предвидеть. Многие из этих проблем взаимосвязаны, и включение их в разрабатываемую Академией наук СССР Программу биосферных и экологических исследований считаю особенно важным.

Сегодня я хотел бы прояснить ситуацию с парниковым эффектом, на который особенно «напирают» защитники атомной энергетики, видя в теплоэлектростанциях один из главных его источников, а в АЭС — средство предотвращения экологического кризиса.

Еще в 1962 году известный советский климатолог и метеоролог М. И. Будыко впервые опубликовал свои соображения о том, что сжигание огромного количества разнообразных топлив, особенно возросшее во второй половине XX века, неизбежно должно привести к увеличению содержания в атмосфере углекислого газа, а оно, как известно, задерживает отдачу поверхностью Земли в космос солнечного и глубинного тепла, то есть производит тот же эффект, который мы наблюдаем в застекленных парниках. Вследствие этого эффекта средняя температура приземного слоя атмосферы должна постепенно повышаться.

Выводы М. И. Будыко заинтересовали американских метеорологов. Они проверили его расчеты, сделали свои и к концу шестидесятых годов пришли к твердому убеждению о существовании и нарастании парникового эффекта в атмосфере Земли.

С тех пор прошло два десятилетия, и сейчас в этих выводах уже никто не сомневается. В 1956 году по многим сотням измерений вдали от городов и промышленных центров содержание углекислого газа в нижней части атмосферы оказалось равным 0,028 процента. Вторая массовая проверка состава атмосферного воздуха в 1985 году показала 0,034 процента, сегодня — 0,035 процента. Ученые полагают, что к середине XXI века содержание углекислого газа в атмосфере удвоится, а это, несомненно, должно привести к глобальному потеплению. Оно оценивается величиной от 1,5 градуса близ экватора до 4 градусов в высоких широтах.

О возможных последствиях такого потепления сообщали многие газеты и журналы, причем распространилось мнение, что оно грозит большими бедствиями. Это мнение особенно укрепилось после издания в 1987 году на многих языках доклада Международной комиссии во главе с премьер-министром Норвегии госпожой Гро Харлем Брунтланд. В нем, в частности, сказано: «...трудно представить себе проблему с более глобальными последствиями для человеческого общества и естественной окружающей среды, чем парниковый эффект».

В докладе высказывается опасение, что парниковый эффект может вызвать в ближайшие десятилетия подъем уровня Мирового океана на 25—140 сантиметров, в результате чего «будут затоплены низкорасположенные города и сельскохозяйственные районы и многие страны могут рассчитывать на то, что их экономические, социальные и политические структуры будут серьезно нарушены» («Наше общее будущее», гл. 7, с. 9). Эти опасения были вызваны предположением, что при повышении температуры воздуха растают материковые льды Антарктиды и Гренландии.

Однако такое предположение нельзя считать обоснованным. Как свидетельствуют данные буровых скважин, прошедших всю толщу ледникового щита Антарктиды, последний образовался около 35 миллионов лет назад и выдержал с тех пор несколько эпох потепления климата Земли, при этом гораздо более значительного, чем ожидаемое от парникового эффекта, в том числе—среднемиоценовую эпоху (около 20 миллионов лет назад), когда содержание углекислого газа в атмосфере приближалось к 0,1 процента, а средняя температура воздуха была на 5—6 градусов выше современной. В те далекие времена под теперешним Якутском росли леса грецкого ореха, ископаемые плоды которого описаны академиком В. Н. Сукачевым.

Следовательно, в Антарктиде парниковый эффект может привести к некоторому расширению лишенного льдов оазиса Бангера, может несколько усилиться откалывание айсбергов от края ледяного щита, но — не более.

О Гренландии нет исчерпывающих данных, но по аналогии с Антарктидой мы можем считать, что и здесь оледенение очень древнее, пережившее ряд эпох значительного потепления. В Гренландии парниковый эффект может лишь немного отодвинуть край ледникового щита — кстати, крайне незначительное отступание его наблюдается и сейчас.

Следовательно, потепление, вызванное парниковым эффектом, не будет сопровождаться значительным таянием льдов Антарктиды и Гренландии и не грозит резким повышением уровня Мирового океана. Оно может измеряться лишь немногими сантиметрами, может быть, первыми десятками сантиметров, что не представляет собою серьезной опасности.

Более точные данные о возможных последствиях парникового эффекта дают палеогеографические реконструкции нашей планеты за последний миллион лет. Ведь именно за это «новейшее» время геологической истории Земли ее климат подвергался очень резким глобальным изменениям. В эпохи более холодные, чем теперешняя, материковые льды покрывали не только Антарктиду и Гренландию, но и всю Канаду и весь север Европы, включая места, на которых стоят Москва и Киев. Стада северных оленей и лохматых мамонтов бродили по тундрам Крыма и Северного Кавказа, где находят останки их скелетов. В промежуточные же межледниковые эпохи климат Земли был значительно теплее, чем сейчас, материковые льды в Северной Америке и Европе таяли и отступали на север, в Сибири вечная мерзлота оттаивала на много метров, морские льды у арктического побережья исчезали, нескончаемые леса, судя по ископаемым спорово-пыльцевым спектрам, шумели по всей современной тундре. По равнинам Средней Азии текли многоводные реки, они заполняли котловину Аральского моря до отметки +72 метра и впадали многими руслами в южную часть Каспия. Пустыня Каракумы представляет собою развеянные песчаные наносы этих древних русел. ,

Мы видим, что в теплые межледниковые эпохи физико-географическая обстановка на всей территории СССР была более благоприятной, чем сейчас. Такой же она была в Скандинавских странах и странах Центральной Европы. Но может быть, эпохи глобального потепления, несомненно благоприятные для территории СССР, создавали тяжелые условия в других климатических поясах Земли? По-видимому, и это не так!

В самом центре Сахары, в юго-восточном углу ее алжирской части, высится горный массив Ахаггар, вершины которого (до 3000 метров) представляют собою недавно потухшие вулканы. В ущельях этого массива сохранились длинные непересыхающие плесы воды, хорошо известные туарегам: они пригоняют сюда на водопой стада верблюдов. В ахаггарских плесах живут крокодилы того же вида, что и в реке Нигер, только измельчавшие из-за скудной пищи. А на космических снимках хорошо видны полузасыпанные песком сухие русла рек, которые тянутся от ущелий массива Ахаггар на юго-запад к излучине реки Нигер.

Иначе говоря, еще сравнительно недавно по пустынной сейчас Сахаре текли реки. Решить вопрос о том, когда это было, помогают знаменитые фрески Тассили, высеченные в песчаниковых грядах, окружающих массив Ахаггар. Эти

фрески создавались в разное время, наиболее «молодые» (около 4 тысяч лет назад) — это эпоха первых династий египетских фараонов. Но наиболее древние — эпоха позднего палеолита. На древнейших фресках изображены слоны, жирафы, бегемоты, различные антилопы и сцены охоты на них. Судя по радиоуглеродным датировкам, эпоха позднего палеолита отстоит от наших дней на 30—35 тысяч лет и соответствует последнему межледниковью, когда климат Земли был значительно теплее, чем сейчас.

Следовательно, во время этого потепления климата Сахара получила значительно больше осадков, чем сейчас, и представляла собою не пустыню, а саванну с обильной фауной травоядных животных и реками. По-видимому, схожими переменами «угрожает» ей и современный парниковый эффект.

Конечно, все сказанное нуждается в обсуждении и тщательной коллективной проверке. Однако очевидно, что для правильной оценки возможных последствий парникового эффекта обязательно должны привлекаться известные сегодня палеогеографические данные о прошлых эпохах значительного глобального потепления климата. Анализ таких данных позволяет думать, что, в противоположность распространенному мнению, **парниковый эффект не принесет климатических бедствий для нашей планеты, а наоборот — во многих странах, в том числе на территории Советского Союза, создаст более благоприятные климатические условия, чем существующие сейчас.**

Если это так, то нужно сделать соответствующие выводы в отношении изменения энергетической стратегии нашей страны. Мы обладаем самыми крупными в мире запасами горючего газа и продолжаем открывать все новые его месторождения в Сибири и Западном Казахстане. Мы снабжаем газом социалистические страны Центральной Европы, а также Австрию, Италию и ФРГ. При сжигании метана не образуется ничего, кроме полезного для нас углекислого газа и паров воды. **Стоимость электроэнергии, полученной на ТЭС с газовым отоплением,** по мнению таких крупных специалистов-энергетиков, как академики М. А. Стырикович и В. А. Кириллин, **приблизительно в 3 раза меньше, чем электроэнергии атомных станций.**

Иногда говорят, что газ сжигать нельзя, потому что это ценное сырье для химической промышленности. Но тогда зачем мы продаем его в капиталистические страны? Ведь лучше было бы получать из него экологически безопасным способом дешевую электроэнергию, что позволило бы нам, во-первых, избежать затопления плодородных речных долин при возведении новых ГЭС и, во-вторых, **придержать строительство АЭС — до создания нового, более безопасного типа атомного реактора (что уже сделано в США) и до решения проблемы захоронения радиоактивных отходов.**

При дальнейшей разработке Энергетической программы страны основную роль должны играть точные экономические расчеты и соображения экологической безопасности. В ближайший период следует, по-видимому, ориентироваться не на новые АЭС, а на новые ТЭС с газовым топливом, целые реки которого текут по десяткам пересекающих всю страну газопроводов.

Горючего газа у нас хватит на 150—200 лет. В случае оскудения его запасов и нехватки его для новых ТЭС в ход должны пойти энергетические угли, которых нашей стране хватит на тысячелетие. Однако это дело более дорогое, ибо сжигать такие угли можно только при условии полного улавливания сернистых и азотных соединений, что в ряде стран, например во Франции и Финляндии, уже осуществлено.

Что же касается гигантской программы строительства 96 новых ГЭС на равнинных реках, то все эти проекты надо остановить — до полной и объективной, научно обоснованной экспертизы. Стоит ли затоплять огромные территории ценных сельхозугодий при катастрофической нехватке земли? В европейской части страны потеряно их под водохранилищами ГЭС 18 процентов. Но вполне приемлемы каскады малых ГЭС на горных реках, а также бесплотинные станции — я видел такие в ФРГ, они прекрасно работают.

В. В. НЕЧАЕВ,
главный инженер Главного научно-технического управления Минэнерго СССР

Мы должны удвоить производство электроэнергии

Серьезное отношение общества к энергетике должно, по-моему строиться с учетом как минимум двух аспектов проблемы: как наилучшим, оптимальным образом снизить негативное воздействие энергетики на природную среду и человека, с одной стороны, и какой должна быть стратегия удовлетворения всевозрастающих энергетических потребностей того же человека — с другой. Последние таковы, что для их удовлетворения с учетом принятых масштабов экономии электроэнергии — более одной трети всего сегодняшнего ее производства за ближайшие 13—15 лет — **нам предстоит вдвое увеличить энергетический потенциал, созданный ранее за все 70 лет советской власти.** И это при средних темпах экономического роста 4,5 процента в год.

При значительном отставании социально-экономических условий жизни в нашей стране вряд ли оправдан и будет популярен лозунг всемерного самоограничения в потребностях, включая и энергетические, высказанный в ряде выступлений в качестве первого постулата закона о выживании. В то же время безусловно необходимо провести жесткую линию в вопросах рационального расходования энергоресурсов, всемерного снижения энерго- и электроемкости национального дохода, но отнюдь не за счет социальных условий жизни трудящихся.

Сегодня при обсуждении экологических проблем в энергетике получилось так, что акцент сделан на атомную энергетику. Однако эти проблемы не менее актуальны и в теплоэнергетике, существуют они и в гидроэнергетике. Я не считаю экологически чистыми нетрадиционные источники энергии.

...За последние два года после чернобыльской трагедии под воздействием общественного мнения и в результате прекращения строительства АЭС с канальными реакторами (реакторы этого типа — РБМК-1000 — установлены на Чернобыльской АЭС) первоначальная структура мощностей, намеченная в Энергетической программе на перспективу, подверглась значительной деформации. Суммарная мощность АЭС пошла вниз: 200, 100 и менее миллионов киловатт. В сложившейся ситуации возникла крайне сложная задача **предельно быстро** разработать альтернативную структуру энергетики, в которой возникший дефицит покрывался бы за счет тепловых и гидроэлектростанций. В главной своей части разработчики Энергетической программы это выполнили.

В связи с этим хотелось бы сделать небольшое отступление и отметить ту исключительно важную роль, которую играет топливно-энергетический баланс в народном хозяйстве. В силу недостатка резервов и в электроэнергетике и в топливных отраслях он сводится планирующими органами с постоянным напряжением. Как и всякий дефицит, нарушение баланса, когда не хватает мощностей или электроэнергии, порождает неустойчивость в экономике и ввергает народное хозяйство в хаос. Такое положение не может быть допущено. Это особенно касается перспективы. Велика инерционность энергетики, сроки ввода мощностей в которой от момента начала проектирования до завершения строительства электростанций охватывают 10—12 лет.

Все это заставляет нас быть весьма ответственными в своих суждениях и действиях именно сегодня, так как допущенные проволочки и ошибки завтра могут оказаться непоправимыми. Поэтому критика в адрес энергетиков должны быть конструктивной и содержать глубокую обеспокоенность за энергетическую перспективу общества, исходить из того, что энергетика как единое целое и **сегодня и завтра будет состоять из тех же ТЭС, ГЭС и АЭС,** которые критикуются. Дело специалистов сделать их предельно чистыми в экологическом отношении и разумно разместить. Дело общественности установить за этим соответствующий контроль.

Сегодня в выступлениях участников много говорилось о возобновляемых источниках энергии. Главная мысль — всерьез заняться проблемами нетрадиционной энергетики. Я хотел бы сразу подчеркнуть: руководством министерства в последнее время предприняты практические меры, чтобы перейти от слов к делу, приступить к развитию в отрасли этого направления. Планируется строительство ветроэлектростанций в двадцати районах страны, в том числе первоочередных в Казахстане, Крыму и на побережье Финского залива, завершен первый этап освоения солнечной электростанции в Крыму и прорабатывается второй этап работ с использованием прямого фотоэлектрического преобразования, по проектам отраслевого института ВНИИПИэнергопром строятся теплонасосные станции. Конечно, здесь немало трудностей экономического и технического порядка. **Мы сильно отстали.**

Но вместе с тем никак не могу согласиться с мнением, что в силу экономической неэффективности, незначительной (до 1%) доли в перспективном балансе нетрадиционная энергетика не заслуживает внимания. Экономические показатели весьма динамичны, они улучшаются вместе с ростом массовости производства — это аксиома. В то же время эти показатели для нетрадиционной энергетики растут. В развитых зарубежных странах в ближайшие годы нетрадиционные энергоисточники окажутся конкурентоспособными по отношению к обычной энергетике. Нам также предстоит пройти свой путь, используя все то лучшее, что уже создано. На первых порах должна быть широко использована система государственных дотаций.

Хотел бы высказать и такую, может быть крамольную, мысль. Со времен плана ГОЭЛРО энергетики стремились к предельной концентрации мощностей и централизации производства электроэнергии и тепла. Это, конечно, принесло свои положительные результаты. Мы можем гордиться, что в стране создана мощная энергетика, занимающая второе после США место в мире. Это позволило решить и ряд экологических проблем, например, закрыто в городах более двух тысяч мелких неэффективных и вредных в экологическом отношении котельных.

Однако нельзя не видеть, что эта концепция имеет и минусы. В ее рамках не остается места для децентрализованной энергетики, куда входят и малые ГЭС, и нетрадиционные возобновляемые источники энергии, о которых уже говори-

лось. В результате в предшествующие годы малые ГЭС вместо модернизации и реконструкции в значительной мере были демонтированы, на многие годы задержалось создание оборудования для солнечной и ветроэнергетики, следствием этого — сегодня еще ряд специалистов пренебрежительно относятся к нетрадиционной энергетике.

В настоящее время положение начинает меняться, проработан специальный раздел в проекте Энергетической программы, подготовлен проект программы по нетрадиционной энергетике. Отрадно, что к этой области деятельности энергетиков проявили интерес некоторые оборонные фирмы. Это, пожалуй, серьезный залог успеха. Назрела необходимость и в уточнении самой концепции дальнейшего развития энергетики.

Возвращаясь к главной проблематике «круглого стола» — экологии и выживанию человечества, месту и роли здесь энергетики, я бы хотел подчеркнуть ее глубоко нравственный характер. Сегодня руководством отрасли в ее штабе — министерстве — создана такая нравственная атмосфера, при которой приоритет отдается решению сложных природоохранных проблем, атмосфера высокой требовательности к себе и к смежникам, от которых зависит решение этих проблем.

В то же время здесь существуют жесточайшие ограничительные экономические рамки. Так, предполагается, что сероочистная установка для энергоблока средней мощности ТЭЦ будет стоить 35—50 миллионов рублей. В ближайшие 10—12 лет таких установок необходимо построить 150, что составит 5—7 миллиардов рублей. Суммируя весь спектр проблем безопасности и экологии в атомной, тепловой и гидроэнергетике, приходим к выводу, что энергетика станет дороже обходиться обществу, то есть нам с вами, на 20—25 процентов, потребует в ближайшие 2—3 пятилетки увеличения расходов на 30—40 миллиардов рублей. Правильно распорядиться такими средствами крайне важно. И в этом деле, как мне кажется, энергетики могли бы большую помощь получить от общественности.

ГРИГОРИЙ МЕДВЕДЕВ

Зеленое движение и атомная энергетика

ОПЫТ КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА

Сегодня, когда Зеленое движение захлестнуло всю нашу страну, протестуя против уничтожения среды обитания человека, когда не только разрушительная деятельность Минводхоза, Минхимпрома, Минэнерго и других экологических агрессоров, но и атомная энергетика заявила о себе как о грозной, противостоящей человеку силе, следует заглянуть в истоки развития атомной энергетики, проследить «откуда есть пошла» эта слепая мощная сила, каков ее генезис. Сделать это необходимо, как мне думается, потому, что отреститься от атомной энергетики, то есть однозначно закрыть ее, сегодня так просто не удастся. Действуют в европейской части СССР 46 атомных энергоблоков, в стадии завершения строительства — 15. Гневный протест Зеленых, вся та тягостная атмосфера, которая нагнетается вокруг «мирного» атома, может и повредить делу, ибо атомные операторы — это живые люди, и резкое снижение престижности их труда может привести к снижению ответственности и даже — к новой ядерной аварии. Будем реалистами: «мирный» атом как неизбежное зло — существует. Это грозная сила, которая может выйти из-под контроля. А с грозной силой надо вести себя продуманно, без суеты и перехлестов.

Но вернемся к истокам... Еще в конце сороковых годов, говоря о первом бомбовом реакторе, И. В. Курчатов подчеркивал, что в нем заложены не только возможность получения материалов для взрывной ядерной реакции, но и мирное будущее атомной энергии. Эти слова были сказаны на Урале, в тяжкие для страны дни создания первой советской атомной бомбы. Потом они нашли свое пророческое воплощение в Обнинске на первой в мире атомной электростанции, позднее — в Сибири, где тепло с бомбовых реакторов перевели на «турбинные хвосты», прекратив охлаждать активные зоны водами рек и озер, которые к тому времени успели изрядно загрязнить радиацией.

Таким образом, «мирный» атом произошел прямым путем от военного атома, прихватив с собой и все его «родимые пятна» как технического, так и нравственного порядка: недостаточную надежность оборудования, и мягко говоря, облегченное отношение эксплуатационников к загрязнению радиацией водоемов и земли.

Для «мирного» атома 1954 год явился этапным: была пущена первая в мире АЭС с уран-графитовым реактором в Обнинске — детище и законная гордость И. В. Курчатова, и началось выдвижение объектов атомной энергетики из Сибири и Урала в европейскую часть страны. Но Обнинская АЭС была лишь первой ласточкой, хотя и в двух ипостасях: свив гнездо в центральной России, она дала жизнь неслыханной дотоле концепции «абсолютной безопасности АЭС». Ведь уже тогда выдвижение АЭС в европейскую часть Союза вызвало у многих серьезные возражения. Мыслящие люди, до которых доходили окольными путями слухи об издержках уральского и сибирского атомного военного опыта (иные из них сами были его участниками), не могли одобрить выбранного пути. Да, уже тогда многие ученые-ядерщики поставили под сомнение не только идею выдвижения АЭС в густонаселенные районы страны, но и концепцию «абсолютной безопасности АЭС». Но И. В. Курчвтов энергичен и неумолим: выдвижение АЭС в европейскую часть страны продолжается. Закладываются Нововоронежская, Белоярская, Ульяновская атомные станции.

Однако даже и в ЦК партии появилась в то время оппозиция идее выдвижения АЭС в западные районы СССР, где сконцентрирован основной генофонд нации и культуры. Начинается борьба. ЦК КПСС принимает решение о перепрофилировании Нововоронежской АЭС в тепловую станцию. Но Курчатов победил и на этот раз. Его победа была столь велика и убедительна, что все оппоненты надолго замолчали. «Мирному» атому стали воскурять благовонный фимиам, и европейскую часть страны заполнили атомные стройки...

Скончался Курчатов... Отстранен от власти Хрущев. Страна стала медленно, но верно погружаться в почти двадцатилетний застой. И атомная энергетика в эту пору, являя собой бесспорные достижения науки и техники, стала — как это ни странно — индикатором всеобщего застоя... Заложили десятки АЭС, а обеспечить их оборудованием не смогли. Резко замедлялись темпы строительства, замораживались колоссальные денежные и материальные ресурсы. Вот они — плоды безответственного, если не преступного планирования. Отечественные заводы в то время производили не более одного-полутора комплектов в год основного оборудования (реактор типа ВВЭР-турбина) и до 0,25 — 0,5 комплекта в год — запорной трубопроводной арматуры и кабельной продукции.

Это и подтолкнуло атомщиков к роковому решению выдвинуть в европейскую часть страны уран-графитовые канальные кипящие реакторы типа РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный — тот самый, что взорвался в Чернобыле), ибо в отличие, например, от реакторов водо-водяных под давлением реакторам этого типа не нужен очень дорогой по изготовлению и монтажу корпус. Поскольку он бескорпусный, его металлоконструкции можно изготавливать на разных заводах, частями доставлять на строительную площадку, здесь укрупнять их и монтировать.

В значительной мере способствовала принятию упомянутого решения и пресловутая концепция «абсолютной безопасности АЭС». Но ведь о «положительных» эффектах реактивности, которыми обладал этот реактор и которые вели в иных случаях к взрывному разгону, было известно уже тогда. Однако концепция «абсолютной безопасности АЭС» р а з р е ш а л а считать, что при успешном управлении этим реактором, при соблюдении всех норм и правил эксплуатации — с учетом заложенных в него штатных защит — реактор РБМК безопасен, особенно — при наличии высокой дисциплинированности персонала и безупречности регламентирующих инструкций. То есть в «идеологию» безопасности реакторов типа РБМК был заложен чисто административно-командный принцип: точно исполняй, что тебе предписано инструкциями, и все будет в порядке. Вопросам г л у б и н н о й безопасности атомного реактора типа РБМК, приданию ему свойств самозатухания при возможных разгонах вообще не было уделено должного внимания. К чему это привело в Чернобыле, мы хорошо теперь знаем...

Справедливости ради нужно сквзать, что идея насаждения атомных станций с РБМК в европейской части страны была выдвинута и кокетливо, в духе фальшиво-издевательского «патриотизма», рекламировалась Минсредмашем как «традиционное (?) р у с с к о е (??) направление в атомной энергетике». (По этой странной логике выходило, что Сибирь и Урал — не Россия.) Ну а раз направление «исконно» р у с с и о е — ему, дескать, и положено обосноваться в центре европейской России (Курская АЭС, Смоленская АЭС) и близких к ней украинских землях. Какая поистине трогательная забота о братьях славянах!

Эта завирально-кощунственная преступная идея теоретически обосновывалась во второй половине 60-х годов, в к началу 70-х была уже оформлена в виде проектного задания. Тогда-то и прозвучала вновь тревога трезво мыслящей общественности — ее выразил академик Н. А. Доллежаль. Он решительно возражал против выдвижения АЭС всех типов, в том числе с РБМК — в европейскую часть Союза. В 1977 году в журнале «Коммунист» Н. А. Доллежаль вторично обратил внимание общественности на недопустимость наводнения европейской части Союза атомными станциями.

Однако это выступление было проигнорировано. Более того, академик А. П.

Александров (автор реактора типа РБМК) попытался дезавуировать его, выступив в журнале «Проблемы мира и социализма». Концепция «абсолютной безопасности АЭС» действовала неотразимо. Н. А. Доллежалю было сделано внушение, он умолк и... был утвержден на роль главного конструктора реакторов типа РБМК, которыми начали спешно «обустраивать» российские и украинские земли. АЭС с РБМК, который эксплуатационники прозвали динозавром, заложили в Чернобыле и Курске, под Ленинградом и Смоленском, в Игналине и Костроме. Наращивалась мощь атомного машиностроения, создавался Атоммаш, расширялся Ижорский завод... Любая попытка протеста против насаждения атомных станций в европейской части страны решительно пресекалась.

В Госатоме и Минэнерго СССР была создана ведомственная цензура, спущены в Главлит объемистые запретительные перечни, и все это во имя утверждения и процветания лживой концепции «абсолютной безопасности АЭС». Вся правдивая информация о негативных сторонах развития атомной энергетики, неполадках и авариях на АЭС процеживалась и иссекалась на этом губительном эшафоте атомной секретности. Выпускались в прессу только панегирики об абсолютной безопасности АЭС и голословные заявления о том, что специалисты, мол, в отличие от общественности, знают, что АЭС абсолютно безопасны. Однако эксперты, хотя и являлись несомненно высококвалифицированными специалистами в своей области, часто не обладали необходимым социальным кругозором и не были, к сожалению, отягощены общечеловеческой нравственностью. Все эти громкие заверения об «абсолютной безопасности АЭС» и тихо шелестящее цензурное сито непроницаемым колпаком накрывали и душили правду об истинном положении дел в атомной энергетике, неизбежных авариях, издержках, о подлинной степени риска ее использовании. Общественность фактически бессовестно обманывали, заверения оказывались ложными. Она это интуитивно чувствовала, что исподволь вызывало у нее кризис доверия к ядерной энергетике, ее апостолам и апологетам.

Но бдительность общественности все же была усыплена. Восторжествовала атмосфера фимиама, похвал и поклонения всесильному и здорово выручающему нашу бюрократию атомному джинну. Ведь каждый вновь вводимый атомный энергоблок позволял экономить до 3 миллионов тонн нефти для перекачки ее на Запад, взамен покупать хлеб, потребительские товары и почивать на лаврах.

К началу 80-х годов в европейской части СССР, можно сказать, как альтернатива росту самосознания и активности народа, вольготно расположился, не спросив у него на то разрешения, мощный атомный комплекс,— этот не сказочный, а вполне реальный Змей Горыныч, полностью огражденный от критики и наделенный грозными карающими функциями против тех, кто попытается сказать правду о его отнюдь не добрососедском характере и буйном нраве.

Если бы мы своевременно воспользовались концепцией добровольного, приемлемого риска, которая предупреждает: реакторы недостаточно надежны, аварии неизбежны, необходимы дополнительные меры безопасности, тщательно продуманное размещение атомных станций, нужна открытость стратегии и тактики атомной энергетики для народа, — дела в отрасли обстояли бы сегодня совсем иначе. Согласно этой концепции, можно достаточно точно определять факторы риска, роль человеческого фактора. Ведь если у атомного оператора нет квартиры, низкая зарплата, ребенок не устроен в детский садик, — возможность аварии на АЭС при прочих равных условиях резко возрастает...

Не признано до сих пор, что у нас в стране фактически не создана еще наука об оптимальном размещении АЭС. Основные принципы размещения сегодня: привязка АЭС к крупным промышленным центрам; при близости АЭС к потребителям — дешевизна линий электропередачи; возможность установить работникам меньшую зарплату, поскольку АЭС расположены в обустроенных землях центральной полосы России и Украины... Во всем здесь отчетливо проглядывает хищный облик ведомственной выгоды. Но все это фактически экономия на безопасности атомных станций. На нашей с вами безопасности...

Народу неизвестны имена конкретных авторов программ размещения АЭС, а надо бы! Хотя организации хорошо известны: Академия наук, Госплан, Энергосетьпроект...

И все это стало возможным при господстве концепции «абсолютной безопасности АЭС» и обеспечивающего его режима неоправданной секретности с ее все новыми и новыми запретительными перечнями на правду об АЭС и о чернобыльских событиях. Один из пунктов такого перечня гласил: **«Не допускаются к открытому опубликованию сведения об истинных причинах аварии на четвертом блоке Чернобыльской АЭС...»**

Сегодня апологеты атомной энергетики тратят много сил на доказательство жизненности своей обанкротившейся концепции «абсолютной безопасности АЭС». В ход пускается все — вплоть до «устрашающих» статистических данных о жертвах курения, потребления спиртных напитков, авиа- и автокатастроф, электротравм, жертв больших строек, аварий на железных дорогах и т. д. Действительно, атомная энергетика по вызванному ею числу смертей в год занимает 20—25 место среди перечисленных причин. Но это в периоды сравнительно нормальной эксплуатации... Принуждение других людей к риску есть покушение на личную свободу. И то и другое всегда находит свое отражение в общественном мнении, которое во все времена более враждебно воспринимает риск по принуждению или риск не по своей воле. Если люди чувствуют себя к тому же беспомощными перед лицом грозящей им опасности, не имея возможности ее контролировать (отсутствие гласности об авариях на АЭС, отсутствие дозиметров и радиометров) либо не располагая средствами защиты от нее, они еще меньше склонны соглашаться с не ими сделанным выбором.

Хотим мы того или не хотим, но атомная энергетика вступает в противоречие с нравственными нормами. Люди задаются естественным вопросом: нравственно ли завещать радиоактивные отходы АЭС, которые не перестанут быть опасными и в далеком будущем, грядущим поколениям? Вопрос о том, нравственно это или нет, возникает еще и потому, что потомки уже не смогут влиять на ситуацию, оставленную им в наследство (то есть будут жить бок о бок с ядерными отходами). Однако этот вопрос о РАО нынешних АЭС решается живущими *ныне* поколениями, которые, собственно, и пользуются плодами ядерной энергетики.

Что же делать? На мой взгляд:

1. Следует решительно отказаться от концепции «абсолютной безопасности АЭС».

2. «Мирный» атом необходимо раз и навсегда отделить от военного.

3. «Мирную» атомную энергетику полностью открыть общественности со всеми ее авариями, проблемами, достижениями и издержками.

4. **Надо безоговорочно признать, что выдвижение АЭС в европейскую часть страны — в густонаселенные районы — было глубоко ошибочным. Прекратить строительство АЭС в центре европейской части СССР.**

5. Следует признать, что атомные реакторы никогда не смогут стать органически безопасными. Отсюда также следует и вывод об их социальной неприемлемости для густонаселенных областей и районов страны.

6. АЭС с РБМК надо остановить, выгрузить ядерное топливо, оборудование реакторов дезактивировать, демонтировать и захоронить. К турбинным блокам АЭС пристроить котельные отделения, работающие на газообразном топливе, с целью использования генерирующих мощностей.

7. АЭС с корпусными реакторами типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) эксплуатировать до выработки ресурса, после чего вывести из эксплуатации. Блоки АЭС, не соответствующие требованиям безопасности, выводить из эксплуатации досрочно по мере ввода заменяющих мощностей.

8. Следует привести в соответствие возможности энергетического машиностроения и атомного строительства. Атомные стройки в центральных областях страны, не обеспеченные материально-техническими ресурсами и оборудованием, закрыть.

9. Высвобожденных таким образом строителей перебросить на возведение жилья и альтернативной энергетики.

10. Следует изучить и тщательно проработать вопрос о возможности строительства атомных станций в зоне пустыни, к примеру на восточном побережье Каспийского моря — в Мангышлакской и Красноводской областях (опыт такого строительства и эксплуатации имеется — АЭС в г. Шевченко), а также на Кольском полуострове на побережье Баренцева и Белого морей. Реализуя эту программу, можно будет создать два мощных энергетических полюса — Северный и Южный, где в достатке охлаждающая вода и очень низкая плотность населения.

11. Необходимо повысить зарплату эксплуатационникам, строителям и монтажникам АЭС, увязав эту меру с повышением профессионализма, качества строительства и монтажа, а также с совершенствованием технических и социально-психологических средств ядерной безопасности.

12. Следует в открытую и серьезно заняться разработкой технологии переработки и захоронения радиоактивных отходов АЭС.

13. В центральные и местные органы Советской власти следует ввести экспертов по АЭС, в обязанности которым вменить организацию согласований проектов атомных станций, предполагаемых для строительства в данной местности.

Энергетические же программы в части, касающейся размещения АЭС, обсуждать всенародно.

Думаю, что, положив в основу своей программы перечисленные положения, Зеленое движение страны сможет перейти от стихийного отрицания атомной энергетики к конструктивной позиции, не ущемляющей интересов государства и способствующей оздоровлению жизни под девизом: «Не разрушать родную Природу, а бережно вписываться в нее техническим прогрессом, дабы обеспечить здоровую жизнь нашим потомкам».

М. Я. ЛЕМЕШЕВ,
эксперт ООН по окружающей среде,
президент Советского антиядерного общества, доктор экономических наук,
профессор, заведующий лабораторией КЕПС при президиуме АН СССР

АЭС — роковой вызов жизни

Я утверждал и утверждаю: осознание необходимости отказа от атомной энергетики с ее нынешним техническим уровнем должно рассматриваться как непременное условие нашего общего выживания. Однако такое осознание — процесс весьма трудный. Он требует преодоления пустившего глубокие корни узкоотраслевого стереотипа мышления. Людям, не обладающим способностью системно анализировать социально-экономическую и экологическую ситуации, преодолеть этот стереотип непросто. Непросто тем более потому, что на протяжении десятилетий им настойчиво вколачивалась мысль об извечном дефиците энергии в стране, о том, что повышение благосостояния народа зависит прежде всего от увеличения производства электроэнергии и что обеспечить рост ее производства без строительства АЭС, дескать, нет возможности.

Это заблуждение настолько глубоко засело в сознании людей, что даже честнейшие из специалистов-атомщиков, каким является и Г. У. Медведев, глубоко уважаемый мною за его высокую гражданственность и мужество, полагают, что без атомной энергетики нам не обойтись. Его предложение выводить атомные энергоблоки, не отвечающие требованиям безопасности, лишь по мере замены их другими мощностями — явно ошибочно. Экономика страны может безболезненно обойтись без атомной энергии (она составляет в общем балансе всего 11%), если отказаться от никому не нужных гигантских энергоемких производств. А таких производств немало: по моим расчетам, от 60 до 80 процентов нашей промышленной продукции не имеет действительной потребительской стоимости. Выпускают ее лишь ради выполнения бюрократических отраслевых планов, парализующих экономику.

Вряд ли повысит нашу безопасность и создание науки о размещении АЭС, как это предлагает Г. У. Медведев. Во-первых, большинство из них уже размещены и их не переместить. Во-вторых, создание двух мощных энергетических атомных полюсов — Северного и Южного — создает лишь иллюзию безопасности, а не подлинную безопасность. Аргумент в пользу такого размещения АЭС, основанный на том, что в этих районах низкая плотность населения, эгоистичен и безнравствен. Запроектированная гибель или просто возможность гибели немногих людей и даже одного человека аморальна и недопустима. В-третьих, удаленность крупных городов и районов с плотной застройкой от АЭС не спасет их от радиоактивного поражения. Об этом убедительно свидетельствует трагедия обширных районов Житомирской, Гомельской и Брянской областей, расположенных за сотни километров от Чернобыля. Воздушные и водные потоки, способные разносить смертоносную радиацию на огромные расстояния, нам не подвластны.

Поэтому единственным условием абсолютного устранения радиоактивной опасности, создаваемой современными АЭС, может быть только полный отказ от них.

Однако на протяжении десятилетий изо дня в день людям внушается мысль о том, что атомная энергетика будто бы неотъемлемая часть современной цивилизации и чуть ли не главное ее достижение, которое, мол, обеспечит нас шансами на выживание. До чернобыльской трагедии атомщики и другие активные популяризаторы и пропагандисты АЭС убеждали общество в том, что оно стоит на пороге «золотого века», что «мирный» атом вот-вот станет неиссякаемым источником энергии и все блага польются к нам широким потоком. И это не просто пропаганда. Идея форсированного роста атомной энергетики была возведена в ранг государственной политики. В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы», принятых XXV съездом КПСС, появилась директива: «Предусмотреть опережающее развитие атомной энергетики в европейской части СССР. Ускорить строительство и освоение реакторов на быстрых нейтронах. Приступить к подготовительным работам по использованию атомной энергии для целей теплофикации» (Материалы XXV съезда КПСС, с. 177).

Дальше — больше. В 1977 году академик М. А. Стырикович писал, что уже в начале XXI века атомные станции будут давать до 50 процентов электроэнергии (Научно-техническая революция и человек. М., Наука, 1977, с. 52). Вот и пошли — с «благословения» высоких авторитетов — расти как грибы атомные монстры — Ленинградская, Чернобыльская, Смоленская АЭС с реакторами-миллионниками типа РБМК, то есть именно с теми, один из которых принес неслыханную до сих пор катастрофу в Чернобыле, потрясшую все человечество. Беда эта случилась в апреле 1986 года, но она не ушла в прошлое. Она с нами по сей день. Она не только с миллионами жителей Киевской, Житомирской областей Украины, не только с населением Гомельской и Могилевской областей Белоруссии, не только с моими земляками из Брянской области России. Беда эта касается всех советских людей и всего мирового сообщества. Колокол

Чернобыля услышан во всем мире. И не просто услышан. Он послужил началом отрезвления миллионов людей от ядерного дурмана, от пустых и опасных обещаний атомщиков, от призрачных надежд на несметные легко достижимые блага, которые будто бы несет нам «мирный» атом.

Справедливости ради надо сказать, что трезвомыслящие люди были и задолго до Чернобыля. Еще в 1922 году В. И. Вернадский (1863—1945) писал: «Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию — такой источник силы, который даст ему возможность строить новую жизнь, как он захочет... Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса. Они должны чувствовать себя ответственными за последствия их открытий» (Вернадский В. И. Очерки и речи. Вып. II. 1922). И такую ответственность многие ученые имели и имеют. Всемирно известный физик академик П. Л. Капица в 1976 году, то есть за 10 лет до чернобыльской трагедии, на годичном собрании Академии наук СССР указывал на возможность крупных аварий в реакторах типа РБМК, на сложность проблем демонтажа атомных станций после их непродолжительной жизни (25—30 лет), на опасность, дороговизну и технические трудности захоронения радиоактивных отходов (Вестник АН СССР, 1976, № 1, с. 18). Увы, это мудрое предостережение не только не было услышано,— оно до сих пор замалчивается апологетами развития атомной энергетики в нашей стране.

Иное дело за рубежом. В Швеции еще в 1980 году был проведен референдум, по результатам которого правительство приняло решение не только не строить новые АЭС, но и демонтировать все имеющиеся. Последняя из них должна быть закрыта к 2010 году (Энергия, 1988, № 5, с. 38).

Позднее аналогичные решения приняли, на основе учета общественного мнения, правительства Австрии, Италии, Бразилии и других стран. Начиная с 1981 года в США, ФРГ, Англии, Швейцарии, Канаде, Бельгии не поступило ни одного нового заказа на ядерные реакторы для АЭС. В ряде стран ведется строительство АЭС, однако это ранее начатые объекты. После Чернобыля за рубежом заложена всего одна АЭС.

К сожалению, нас эта прогрессивная мировая тенденция не коснулась. Атомщики, руководствуясь корыстными ведомственными интересами, по-прежнему навязывают руководству нашей страны курс на развертывание массового строительства АЭС. Произнес я слово корыстными и на минуту засомневался: а может быть, эти люди творят зло и берут тяжкий грех на душу по незнанию, в неведении? Может быть, они не знают о гибельных последствиях форсированного строительства ядерных гигантов? Может быть, напористость атомщиков, достойная лучшего применения, порождается их узкой специализацией и сверхузким кругозором? Ведь говорил же Бернард Шоу, перефразируя древних греков, что «узкий специалист узнает все больше о все меньшем, и так до тех пор, пока не будет знать все ни о чем и ничего обо всем». Однако несмотря на глубокий смысл этого суждения, все-таки мало верится в то, что активность наших атомщиков объясняется их экономическим, экологическим и социальным невежеством: слишком уж очевидна их тенденциозность в оценке значения атомной энергетики. Для ее пропаганды они не останавливаются ни перед чем: умалчивание объективной информации, обман общественности, спекуляция на экономических и социальных трудностях страны, шельмование честных ученых и специалистов, подтасовка данных и социальная демагогия — все пускается в ход. На полную мощность используются неограниченные возможности командно-бюрократической системы в принятии решений и в обработке общественного мнения средствами массовой информации.

Вполне уместно допустить, что атомные магнаты зарубежных стран стремятся получить прибыль, а руководители наших атомных ведомств и учреждений — спасти свое общественное положение, высокие посты и оклады, социальные привилегии и поколебленный престиж. Экологическая же безопасность общества и природы для большинства из них — это задача второго порядка. Для человечества же нет более актуальной задачи, чем выживание. А выживание не только нас с вами, но и ближайших наших потомков как раз и оказалось под большим вопросом.

В 1982 году всемирно известная американская исследовательская фирма «Оук Ридж, Нэшнл Лэбрэтори» сделала математический прогноз аварий на АЭС. Согласно этому любопытному прогнозу, в мире возможна одна крупная авария на 4 тысячи реакторолет, или один раз в 8 лет. Теперь вспомним: авария на острове Тримайл произошла в 1979 году, в Чернобыле — в 1986-м. Похоже, специалисты «Оук Ридж» угадали...

Ну а если темпы строительства АЭС увеличатся? Тогда по мере ввода в эксплуатацию все новых и новых АЭС вероятность катастроф возрастет. По некоторым оценкам, до начала следующего тысячелетия вполне вероятны еще 2—3 аварии типа чернобыльской. Кстати сказать, комиссиями по расследованию обеих аварий установлено: причины их схожи как две капли воды, это — недостатки конструкции АЭС, ошибки операторов.

В апреле 1987 года обследование персонала АЭС Теннесси Вэли Оторити, самой крупной в США, показало, что 14 из 26 операторов и рабочих употребляют наркотики (!). На АЭС Пич Боттом в штате Пенсильвания все операторы были найдены спящими (!) в зале управле-

ния в то время, как реактор работал на полную мощность (НТР: проблемы и решения, 1989, № 8, с. 7). Такова ситуация с пресловутым «максимально высоким уровнем безопасности АЭС» в мире. Но ведь существуют и десятки других причин возникновения аварий, в том числе совершенно не предвидимых и не подвластных ни персоналу АЭС, ни доблестному атомному ведомству. Вспомним хотя бы о том трагическом факте, когда после землетрясения в Армении в непосредственной близости от АЭС упал югославский самолет, доставлявший медикаменты для оказания помощи пострадавшим. Слава богу, что он не угодил в станцию непосредственно! Случись и эта беда, мы потеряли бы не двадцать с лишним тысяч армянских братьев, а практически все население республики с его уникальной многовековой культурой.

Одна только чернобыльская авария, по официальной оценке, нанесла ущерб народному хозяйству в размере 8 миллиардов рублей («Правда» от 15.01.1988). Если учесть и хозяйственную оценку потерянных земель — из-за радиоактивного загрязнения — только в тридцатикилометровой зоне, то общий объем экономического ущерба составит примерно 18 миллиардов рублей. А с учетом затрат на переселение людей из пораженных радиацией районов — 35 миллиардов рублей. Заметим, что эта сумма вдвое превышает *годовой* объем капитальных вложений на жилищное строительство во всей стране (16,3 млрд. руб.) и в 14 раз — годовой общесоюзный объем капитальных вложений в охрану окружающей среды (Народное хозяйство СССР в 1987 году, с. 295, 577).

Таков он — реальный, а не мифический — «вклад» ядерной энергетики в решение экономических и экологических проблем страны. А ведь потери общества на этом не кончаются. Председатель Госкомгидромета СССР Ю. А. Израэль, выступая в «Правде» (20.03.1989) со статьей «Чернобыль: прошлое и прогноз на будущее», отметил, что общая территория загрязнения радиоактивными элементами, в частности цезием-137, составляет около 21 тысячи квадратных километров. Ее дезактивацией в 1989 году занимаются свыше 10 тысяч человек. Пришла ли нашим атомщикам в голову такая, например, мысль: что полезного могли бы сделать эти люди в народном хозяйстве страны? Одно из возможных решений этой дилеммы я могу привести. Тысяча строителей за 15 лет построила современный город Зеленоград на 150 тысяч жителей. Кстати, АЭС с четырьмя реакторами-миллионниками тоже строят в среднем около 15 лет, только на этой стройке занята не одна, а пятнадцать тысяч строителей. Это, как я думаю, наглядная иллюстрация к мифической экономической эффективности ядерной энергетики.

Сейчас атомщики активно развертывают программу строительства атомных станций теплоснабжения (АСТ) в 15 крупных городах. Первой из них и первой в мире станет станция в Горьком, — сооружение ее уже завершается. Два энергоблока этой АСТ с суммарной мощностью 100 мегаватт способны дать тепло и горячую воду почти 400 тысячам жителей. Однако у атомных котельных есть важная особенность, заставляющая насторожиться: они должны располагаться в... непосредственной близости от города. Коллизия, как видим, весьма драматическая: построить АСТ далеко от города — дорого, поскольку возрастает протяженность теплотрасс, увеличатся потери тепла, возрастут затраты; разместить АСТ рядом с городом — тоже очень дорого, поскольку требуются огромные затраты на повышение безопасности реакторов. Каков же выход? По мнению Б. Е. Щербины, бывшего заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя Бюро СМ СССР по топливно-энергетическому комплексу, выхода нет — надо строить.

А на самом деле выход прост. Покажем это на примере той же Горьковской АСТ: она может быть перепрофилирована для работы на природном газе. Специалисты подсчитали: для этого надо лишь пристроить к ее главному корпусу небольшое здание для размещения газовых котлов. А уже сооруженные водоочистка, насосная станция и все хозяйство можно использовать без переделок. Чтобы обеспечить работу станции, надо будет брать всего один процент газа из проложенного неподалеку трубопровода. Затраты же, связанные с переводом на газ, составят 10—15 миллионов рублей, тогда как на завершение строительства АСТ нужно около 70 миллионов рублей («Социалистическая индустрия» от 26.03.1989).

Приблизительные расчеты показывают, что только за счет улучшения теплоизоляции трубопроводов можно на 30—40 процентов уменьшить утечки тепла, идущего на отопление жилых и служебных помещений. Для крупного города подобная экономия может оказаться в 1,5—2 раза больше номинальной мощности АСТ.

Пропагандируя и осуществляя форсированный рост АЭС в СССР, руководители атомных ведомств часто ссылаются на мировую практику развития ядерной энергетики. При этом допускается грубое искажение фактов, дезинформация. Например, председатель Госкомитета СССР по использованию атомной энергии А. Проценко в «Правде» (06.09.1988) в статье «Атомная энергетика: после Чернобыля» сообщает о том, что в настоящее время в мире строится около 100 атомных станций. Но умалчивает о том, что 15 из них строят в СССР («Аргументы и факты», 1989, № 1, с. 8). Ничего не говорится и о том, что атомные станции за рубежом, как правило, имеют 1—2 блока, а в СССР — обычно 4 блока.

Каково же истинное положение с динамикой развития атомной энергетики в мире и в СССР? По имеющимся у меня сведениям, во всем мире строительство АЭС свертывается, а в СССР расширяется. А. Проценко пишет, что в мире действует около 400 атомных блоков. Действительно, число блоков, присоединенных к энергосетям, в настоящее время составляет 417 единиц. Но автор ничего не говорит о динамике нового строительства, а она такова: число реакторов, начатых строительством, по периодам составляло: в 1971—1975 годы — 142, в 1976—1980 — 104, в 1981—1985 — 75, в 1986 году — после Чернобыля — 1 (!) (*Муздыбаев К.* Риск ядерной энергетики. Л., 1988, с. 35). Не правда ли выразительный ряд? **А в СССР в это время начинается строительство нескольких десятков атомных реакторов.** Причем тот же А. Проценко не сообщает точное их число, зато выражает сожаление, что темп их наращивания снизился в последние годы. Не говорит он и о том, что это снижение обусловлено прекращением проектирования и строительства АЭС — из-за высокой сейсмичности мест их расположения — в Грузии, Армении, Азербайджане, Краснодарском крае — и из-за близости к крупным городам — в Минске, Одессе и других. Но автора это не смущает. Свое выступление он завершает на псевдооптимистической ноте: «Альтернатива замедлившемуся росту атомной энергетики одна — ускорение ее развитие».

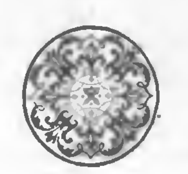
В унисон с мнением руководителей ведомств выступают и «ведомственные» участники «круглого стола». Прежде всего вызывает удивление несерьезность их аргументации в пользу наращивания электроэнергетического потенциала любой ценой. Вот характерное в этом отношении высказывание начальника Главного научно-технического управления Минатомэнерго СССР Е. И. Игнатенко: «Мы все знаем, что без энергетики ничего быть не может в настоящее время: или мы вернемся назад к каменному веку, или мы будем пользоваться электричеством». Но помилуйте, разве кто-нибудь из оппонентов призывает отказаться от электричества? Разве кто-нибудь из них мечтает попасть в каменный век? По-моему, всем очевидно, что это невозможно, даже если кому-то очень хочется. Речь-то идет о другом: как построить экологически приемлемую энергетику, не разрушающую природу, здоровье и саму жизнь людей. Вот что следует обсуждать, а не надуманную дилемму: быть или не быть энергетике? И ответ здесь очевиден: быть. Но — какой?

Второй аргумент т. Игнатенко — недостаточное якобы производство электроэнергии в СССР. Он приводит, на первый взгляд, убедительные цифры. В Швеции производится 15 тысяч киловатт-часов на жителя страны в год, в США — 10, а в нашей стране — только 6. Но что же из этого следует? Почему надо нам обязательно догонять Швецию и США по этому показателю? Ведь объем производства электроэнергии — не самоцель. Важно, чтобы ее производство полностью и эффективно удовлетворяло рациональные общественные и личные потребности в ней. Именно рациональные, а не любые. А с этим дело у нас из рук вон плохо. Приведу лишь два примера. В 1987 году промышленность США потребляла 870 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а СССР — 957, то есть в 1,1 раза больше. Сельское хозяйство США потребляет 50 миллиардов киловатт-часов, а СССР — 160, то есть в 3,2 раза больше. Следует ли из этого, что наши промышленность и сельское хозяйство развиваются более эффективно, чем американские? Увы, нет. Американцы производят значительно больше промышленных и продовольственных товаров, чем мы, и что очень важно — гораздо лучшего качества. (Народное хозяйство СССР в 1987 году, с. 51, 623, 642).

Нельзя согласиться и с тем, что высокий уровень производства электроэнергии автоматически определяет, дескать, и высокий уровень жизни населения. Такие страны, как Япония, Франция, Англия, Голландия, Дания, Чехословакия производят на душу населения меньше электроэнергии, чем СССР, но благосостояние граждан этих государств намного выше, чем в нашей стране (*там же*, с. 629—630).

Поэтому заявление руководителя научно-технического главка Минатомэнерго СССР, *определяющего стратегию развития отрасли*, о том, что «мы должны обеспечивать рост мощностей — как бы это нравилось кому или не нравилось», нельзя расценивать иначе, как сугубо технократически-ведомственное, как доказательство приверженности к истинно бюрократическому затратному принципу хозяйствования. Аналогичных позиций, к сожалению, придерживаются и ответственные работники Минэнерго СССР, выступающие за *удвоение* производства электроэнергии в ближайшие годы. И это не просто настораживает. Это социально опасно, поскольку путь, по которому они продолжают идти и зовут нас идти за собой,— это не просто ошибочный, а гибельный путь.

Материалы подготовлены Г. П. КУШНАРЕВЫМ.



КРИТИКА



Известный историк науки доктор философии Арсений Гулыга обращается к темам, не раз освещавшимся на страницах журнала. Не всегда его трактовка совпадает с той, что привычна для наших читателей. Редакция сознательно вносит в публикации элемент дускуссионности, веря — именно в споре рождается истина. Мы надеемся, что этот спор будет плодотворен, ибо авторами движет любовь к родной земле, стремление послужить Отечеству.

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

РУССКИЙ ВОПРОС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ вопрос всегда был одним из кардинальнейших в истории России, страна возникала и развивалась как «семья народов». Вл. Соловьев, которому принадлежит это выражение, выступал против любого ущемления интересов слабых и новых членов этой семьи. Философ опасался роста великодержавных тенденций, но видел и иную перспективу для русского народа:

> **О, Русь! В предвиденье высоком,**
> **Ты мыслью гордой занята:**
> **Каким ты хочешь быть Востоком:**
> **Востоком Ксеркса иль Христа?**

России выпал жребий Христа. Распятая на кресте двух мировых войн, чудовищной братоубийственной гражданской бойни, не менее чудовищного по последствиям истребления крестьянства, осуществленного под именем коллективизации, бесконечных репрессий и притеснений, русская нация оказалась в состоянии упадка, более того — деградации.

С момента образования СССР Россия была поставлена в экономически неравноправное положение по отношению к другим республикам. Бюджет страны формировался (и формируется) главным образом за счет РСФСР. Из этого бюджета шли (идут) дотации к некогда отсталым народам, которые давно обогнали нас по многим показателям (кроме производительности труда).

Сибирские писатели, обращаясь к Советскому правительству, с горечью констатируют: «Россия оказалась в семье народов СССР на положении Золушки...» Российская Федерация занимает ведущее положение как в развитии экономического потенциала страны, так и в госбюджете СССР, но жизненный уровень в республике самый низкий...

Стало известно, что у нас в Законе о государственном бюджете заложено, оказывается, экономическое неравенство между республиками. Наибольшими льготами пользуются те республики, которые вносят наименьший вклад в общесоюзный бюджет.

По жизненному уровню РСФСР находится на одном из последних мест в стране — признает и «Правда» (22.03.88). Тем не менее в 1990 году республики Средней Азии получат из общесоюзного бюджета (то есть за счет главным образом России) 5,9 миллиарда рублей («Новый мир», 1989, № 5, с. 196).

Уровень образованности всех советских народов безусловно вырос. Но — странное дело — русский народ, некогда наиболее передовой в этом отношении, превратился в одного из самых отсталых. По обеспечению населения специалистами высшей квалификации русские — на последнем месте по Союзу. По числу лиц с высшим образованием на душу населения русские оказались даже среди народов РСФСР на 16 месте в городе и 19-м в деревне.

Исчезло даже самое гордое наименование нации — великороссы. Помните, у Ленина — «О национальной гордости великороссов»? А теперь прилагательное «великорусский» прилагают только к существительному «шовинизм».

Где этот шовинизм? Сегодня, когда русская нация в упадке, нелепо и возмутительно говорить о русском шовинизме. Шовинизм — национальный эгоизм господствующей нации. Где господствует сегодня русская нация? Только в воображении национальных нигилистов и прямых русофобов.

Встает такой вопрос, можно ли нацию, оказавшуюся в состоянии деградации, именовать социалистической? Это прежде всего дискредитирует понятие социализма. Порядок, учрежденный в нашей стране, социологи именуют «казарменным социализмом», тогда и нацию извольте называть «казарменно-социалистической», если вообще имеет какой-либо смысл соотносить состояние нации с общественным строем. По-моему, смысла нет. Неужели миллионы соотечественников, оказавшихся за рубежом, принадлежат иной — капиталистической нации? «Социалистическая нация» — это такой же миф, как и «социалистический реализм», «обострение классовой борьбы» и прочие тоталитарные сталинские лозунги, служившие только затемнению мозгов. А прославлять сегодня «расцвет русской социалистической нации», не взирая на факты («Молодая гвардия», 1988, № 1), — это уже и по меньшей мере легкомысленно. (Автор, впрочем, сам себя опровергает, приводя данные социологов о падении рождаемости: русские скоро станут национальным меньшинством в собственной стране.) Русские вырождаются. Десятки миллионов погибли в результате войн, террора и голода, но даже сегодня в условиях мира и перестройки за три года (с 1985-го по 1988-й) количество русских сократилось на 6 млн. человек (см. «Народы мира». М., 1988, с. 381). Приходится бить тревогу!

Неблагополучны дела и у других народов. Отношения между ними осложнены административным, некомпетентным, порой преступным вмешательством в их жизнь. Говорим о «дружбе народов», а воспитали вражду. Где, когда целые нации подвергались гонениям и депортациям, сгонялись с насиженных мест и отправлялись как преступники на поселение? Для иных превратилась в «тюрьму народов», из которой надо бежать сломя голову. Понять сепаратистские настроения окраин можно и нужно. Национальный вопрос запутан у нас до предела.

Начать с того, что мы живем во власти догматических, совершенно формальных представлений о природе наций. Мы все толкуем о четырех признаках — общность территории, экономики, языка и «психического склада». Пример евреев и цыган, однако, показывал, что можно осознавать себя нацией, не имея ни своей территории, ни общей экономики. Вопрос о национальной территории оказался особенно порочным в последние годы. «Это наша земля»,—говорят армяне в Нагорном Карабахе и требуют присоединения его к своей республике. «Нет, наша»,— говорят азербайджанцы и поднимают руку на армян. «Уходите с нашей земли, мигранты и оккупанты»,— говорят эстонцы русским, забывая, что за землю эту заплачено русской кровью, что в эту землю вложен и русский труд, забывая, что рядом их соплеменники финны спокойно уживаются со шведами; шведский язык обязателен, как и финский, хотя шведов в Финляндии всего лишь пятая часть населения. Россия всегда была общей территорией многих народов.

Вопрос о единстве языка крайне важен для жизни нации, и все же не он определяет ее бытие: швейцарская нация говорит на трех языках; евреи, отправляющиеся на вновь обретенную историческую родину, заново учат иврит. Русские эмигранты во втором и третьем поколении едва говорят на родном языке, но считают себя русскими и тоскуют по родине.

«Психический склад» — это уже нечто более серьезное. Разумеется, речь идет не о каких-то отдельных чертах характера, принадлежащих только данному народу, этого нет, есть некая целостность «народной души», которая входит в более широкое понятие национальной культуры. Единство культуры, понимаемой как система ценностей,— вот главный признак нации. Здесь много иррационального, совершенно необъяснимого, но это реальность, с которой приходится считаться: образ жизни, привычки, традиции, взаимопонимание и взаимодоверие, то, чем мы больше всего дорожим, без чего мы чувствуем себя несчастными. Нация — это организм, частью которого чувствует себя человек от рождения и до смерти, вне которого он теряется, становится незащищенным. Нация — это общность судьбы и надежды, если говорить метафорически.

Разрушение традиционных устоев (веками сложившейся системы ценностей) губительно для нации. Административно-командная система, утвердившаяся в нашей стране, в течение десятилетий только этим и занималась. Целью было «слияние наций», а точнее — превращение народов в безликое, легко манипулируемое быдло. Современные этнические конфликты — прямое следствие такой политики.

Нация — это общность святынь. О религии я буду говорить подробнее ниже, пока отмечу: в былые времена «русский» и «православный» были синонимами. Если ты крещен — все права тебе и полное доверие, никто не станет спрашивать о папе и маме, дедушке и бабушке, вычислять, сколько процентов в тебе «чистой» крови — пятьдесят или двадцать пять. Этот расистский бред — порождение наших дней, «казарменно-социалистических» порядков. Когда появилась в паспорте графа «национальность»? Кто придумал этот порядок, разжигающий националистические страсти?

Барклай-де-Толли, русский патриот, честно воевал с Наполеоном, Тотлебен — герой обороны Севастополя. А у меня друг — русак русаком, но в паспорте стоит «швейцарец» и отчество Фридрихович — на фронт не пустили. Пантелей Михайлович Хаджинов, комиссар стрелкового полка, коммунист с времен революции, был удален в 1942 году с передовой, потому что значился греком (из тех, что всегда жили в Крыму).

Нации не собираются сливаться, но не нужно устанавливать дополнительные перегородки, которых раньше не было. Национальность — вопрос не происхождения, а поведения, того культурного стереотипа, который стал мне родным. Это то, что немцы называют Wahlheimat, «родина по выбору». Каждый сам выбирает себе национальную принадлежность, нельзя в нее затаскивать, нельзя из нее выталкивать.

Предлагаю впредь графу о национальности в паспорте, анкете и т. д. заполнять по усмотрению каждого. И — добро пожаловать в любую нацию, милости просим — в русскую, кто решился разделить ее многострадальную судьбу.

В своих статьях я неоднократно отмечал открытость русской культуры,— русским можно стать, усвоив национальные ценности. И вот дождался многомудрой реплики. «Верно, что русская культура от-

крыта другим культурам, а как они для нее? Действительно, русским можно стать, но обязательно ли становиться?» («Книжное обозрение», 1989, 9 июня).

Автор прав: русским не обязательно становиться, а сегодня и элементарно невыгодно. Хуже русских никто в нашей стране не живет. Что касается образования, ученых степеней и званий — русским в последнюю очередь. Русские в почете только на Западе, не в своей стране. Здесь их костерят шовинистами, в них видят главных носителей командной системы. Ну что ж, никто вам не навязывает «русскость», среди нас можно жить, не сливаясь с нами. И никто вас не тронет, только просьба — поймите нас, не пытайтесь нами командовать, не навязывайте нам чуждые стереотипы поведения, не оплевывайте нашу культуру; не перекраивайте нашу историю: нам она нужна в неискаженном виде.

* * *

Журнал «Октябрь» (1989, № 6) опубликовал повесть В. Гроссмана «Все течет». Написанная в 1963 году, давно изданная за рубежом, она наконец появилась у нас. Повесть сама по себе ординарна — судьба честного коммуниста, ставшего жертвой репрессий при Сталине. Неординарен философский эпилог: герой ведет дневник, где с предельной определенностью выражена мировоззренческая позиция автора. Три момента поражают внимание, действуют как удар молнии. Во-первых, резко негативная оценка Ленина, во-вторых, столь же негативная оценка России и ее истории, в-третьих, рассмотрение Сталина как закономерное продолжение Ленина и всей русской истории.

По первому пункту журнал полемизирует с В. Гроссманом. Автор предисловия Г. Водолазов, выступая за социалистический плюрализм и находя в нем место для повести «Все течет», все же решительно не соглашается с ней. Аргументы, правда, иногда двусмысленны (например, утверждение «Как блистательно сработался Ленин с Троцким в 1917—1923 годах» работает больше на Гроссмана), но позиция его ясна.

Ясна она и по третьему пункту, где речь идет о Сталине. Автор предисловия дополняет автора повести, соглашаясь, однако, в том, что будто бы «сталинизм в каком-то смысле вырастает на народной почве». По второму пункту он молчит. Молчание — знак согласия? Приходится вспомнить об этой поговорке, потому что ныне критика слишком часто прибегает к формуле умолчания. Критик обязан перевести образный язык художественного произведения на язык понятий, но в данном случае и переводить нечего: мысль В. Гроссмана выражена предельно ясно, соглашайся или возрази. О. Кучкина в рецензии на повесть «Все течет» («Комсомольская правда» от 10.08.89) умудрилась умолчать не только о втором, но и о первом пункте. Как будто ничего не произошло: В. Гроссман обличает только сталинские порядки[1].

Но В. Гроссман обличает русскую историю. Дадим ему слово: «Ленинская нетерпимость, непоколебимое стремление к цели, презрение к свободе, жестокость по отношению к инакомыслящим и способность, не дрогнув, смести с лица земли не только крепости, но волости, уезды, губернии, оспорившие его ортодоксальную правоту,— все эти черты не возникли у Ленина после Октября. Эти черты были и у Володи Ульянова. У этих черт глубокие корни.

Все его способности, его воля, его страсть были подчинены одной цели — захватить власть.

Он жертвовал ради этого всем, он принес в жертву, убил ради захвата власти самое святое, что было в России,— свободу. Эта свобода была детски беспомощна, неопытная. Откуда ей, восьмимесячному младенцу, рожденному в стране тысячелетнего рабства, иметь опыт?..» Получается, что в октябре у нас произошла не революция, а контрреволюция. Сегодня историки спорят о том, на какое время падает наш термидор — на тридцать седьмой или на двадцать девятый, а он,— да еще вкупе с «18-м брюмера» — приключился в семнадцатом! Если вспомнить все беды, обрушившиеся на народ позднее, то Гроссман не так уж не прав. Ошибается он только в том, что списывает все за счет «тысячелетнего рабства», будто русский народ закономерно шел к своей трагедии и один только он в ней виноват.

«Неумолимое подавление неотступно сопутствовало тысячелетней истории русских. Холопское подчинение личности государю и государству... Особенности русской души рождены несвободой, русская душа — тысячелетняя раба... Великая раба остановила свой ищущий, сомневающийся взгляд на Ленине. Он стал избранником ее».

Гроссмана, однако, опровергают цифры: на выборах в Учредительное собрание, которые прошли после Октября, эсеры получили 20 млн. голосов, большевики вдвое меньше, власть они взяли путем насильственного переворота, а не парламентским путем, в результате и началась гражданская война, которая была первым актом трагедии, о которой пишет Гроссман, он почему-то об этом молчит.

«Подобно тысячелетнему спиртовому раствору, кипело в русской душе крепостное, рабское начало. Подобно дымящейся от собственной силы царской водке, оно растворило металл и соль человеческого достоинства, преобразило душевную жизнь русского человека.

Девятьсот лет просторы России, порождавшие в поверхностном восприятии ощущение душевного размаха, удали и воли, были немой ретортой рабства... Чем больше становилась схожей поверхность русской жизни с жизнью Запада, чем больше заводской грохот России, стук колес ее тарантасов и поездов, хлопанье ее корабельных парусов, хрустальный свет в окнах ее дворцов напоминали о западной жизни, тем больше росла тайная пропасть в семой сокровенной сути русской жизни и жизни Европы.

Бездна эта состояла в том, что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворилось ростом рабства.

История человека есть история его свободы. Рост человеческой мощи выражается прежде всего в росте свободы. Свобода не есть осознанная необходимость, как думал Энгельс. Свобода прямо противоположна необходимости, свобода есть преодоленная необходимость».

Стоп! Тут пошла философия, и нужно поразмыслить. Гроссман, боюсь, смешивает свободу с произволом: сегодня делаю так, завтре иначе, как моей левой ноге вздумается, и не препятствуй моему «нраву». Так, что ли? Это свобода в понимании подгулявшего купчика: протрезвев, он уже начинает соображать что к чему. Сочленение свободы и необходимости принадлежит не Энгельсу, а Спинозе, было известно и до него. По Канту, свобода есть следование долгу, по Шеллингу — высшим предначертаниям, по Гегелю — исторической необходимости. И все это восходит к Новому завету, а усвоено было Россией как раз тысячу лет назад. Может быть, В. Гроссман имеет в виду христианство, когда говорит о тысячелетнем рабстве России? Но ведь Запад развивался тоже как христианский регион. Христианство — религия свободы. «Раб Божий» — это свободный человек, сознательно следующий евангельскому императиву любви.

Первое произведение русской словесности, которое долгое время скрывали у нас от русского читателя (сейчас опубликовано в нескольких переводах),— «Слово о Законе и Благодати» киевского митрополита Илариона, возникшее на столетье раньше «Слова о полку Игореве», трактует мораль как проблему свободного человека. Ветхозаветные запреты недостаточны, человек должен свободно творить добро — такова центральная идея Илариона.

Литература — зеркало души народа. Не может существовать свободолюбивая литература у народа-раба. А кто усомниться в свободолюбивом, нравственном пафосе русской классики? «В мой жестокий век восславил я свободу», — говорил о себе Пушкин. За свободу страдали и погибали. Достоевский предупреждал в «Бесах» о надвигающемся рабстве как о возможном будущем (но отнюдь не о прошлом) России. А великая русская философия, которая была растоптана и предана забвению! Владимир Соловьев строил свое учение на свободном волеизъявлении, творчестве добра. Бердяев — один из основателей экзистенциализма — выводил свое учение из тысячелетней православной традиции.

Нам тычут в глаза крепостным правом, но оно существовало во всех европейских странах, а в США было рабовладельческое хозяйство в такой жестокой форме, которой не знал даже античный мир. Крепостное право установилось на Руси только в семнадцатом веке, когда уже сложился русский национальный характер, и через двести пятьдесят лет было отменено, всего на пятьдесят лет позднее, чем в Пруссии, и раньше, чем рабство в Америке. Рабства, рабов не было, говорил Пушкин о России. Рабам все равно, кому повиноваться, а русские отбивались от кочевников, сбросили иго татар, изгнали поляков, французов, немцев, пытавшихся подчинить себе Россию. Кстати, по Гроссману, идею свободы в Россию несли «сапоги (?!) бонапартовых солдат» (а тупые русские, вместо того чтобы целовать эти сапоги, побили их носителей). И после этого иные сравнивают Гроссмана с Толстым, автором «Войны и мира». Как только язык поворачивается?!

Полвека государственного террора изуродовали русских больше, чем два с половиной — крепостничества. Было крепостничество, но было и казачество. Такой вольницы не знала ни одна страна. В казаки шли все, кому не по душе был произвол царя и помещиков, кому не сиделось на месте. Воины и пахари, они осваивали окраины государства, укрепляли их, раздвигали границы. Тем, что Россия раскинулась от Черного моря до Тихого океана, она обязана казачеству.

О чем еще напомнить? О том, что во второй половине прошлого века начали складываться в нашей стране основы демократического устройства? Возник суд присяжных, земства, возник парламент? Надо, видимо, напомнить и о крестьянской общине, в которой Маркс видел зародыш социалистических отношений, это была школа не рабства, а общности, соборности.

Россию все любили, когда она вела единоборство с фашизмом. Сталин взывал к русскому патриотизму, а с ним и все те, кто понимал, что Гитлер его в живых не оставит. В. Гроссман не отставал от других: в его корреспонденциях, статьях, рассказах военного времени патриотическая нота звучала явственно. Все помнят его роман «За правое дело». Что произошло? Откуда русофобство, другого слова не нахожу?

* * *

О русофобстве разговор особый. Его начала газета «Книжное обозрение» (Карп П. Взаимность.— 1989, 14 апреля). До этого на проблему намекали, говорили обиняком, а тут разговор начистоту. Я не согласен с автором, буду возражать ему, но благодарен за откровенность — гласность действительно раздвигает границы.

Русофобия факт, не фантом, не выдумка юдофобов, она входит составной частью в русский вопрос. П. Карп пытается объяснить этот феномен: сами русские вы-

[1] От рецензии О. Кучкиной выгодно отличается статья В. Сироткина в «Литературной газете» (23.08.89), который ведет разговор по всем трем пунктам, сравнивает историю США и России. «...Рабство американских негров существовало с XVII века, с момента интенсивного заселения Северной Америки, а территориально это рабство охватывало гораздо большее пространство (почти половину США), тогда как у нас оно концентрировалось преимущественно в Центральной Европейской России. Но в Америке, если следовать логике рассуждений В. Гроссмана, почему-то из рабства выходит демократия, а у нас..., Ленин?!»

зывают к себе неприязнь. Некая провинциалка живет в Неринге с двухлетнего возраста и до сих пор не удосужилась выучить литовский — «вот еще, стану я такой язык учить». Девица ведет себя неправильно, но здесь ли корни ненависти к русским? Не уверен. «Чтобы понять корни русофобства,— уверяет П. Карп,—надо понять суть и смысл начавшейся при Сталине, но, к счастью, еще не вполне возобладавшей.., перемены». Перемена эта, по Карпу, состоит в отказе от... космополитизма, да, именно так и написано — «космополитического духа русской культуры».

Невдомек нашему автору, что космополитизм и национальная культура — вещи взаимоисключающие. Назвать национальную культуру космополитической — это «противоречие в определении» («деревянное железо»). Космополит — «гражданин мира», ему всюду хорошо. Ubi bene, ibi patria (где хорошо, там родина) — вот его формула.

Русские всегда отличались привязанностью к родной земле.

> Любовь и родному пепелищу,
> Любовь и отвчвским гробам... —

Пушкин увидел ие за рубежом (где ему не довелось побывать), а у своих соотечественников. Оторвать русского от России можно разве что силой. Насильственно были изгнаны (под угрозой уничтожения) миллионы русских после гражданской войны, миллионы русских не вернулись после Отечественной, опасаясь репрессий. Ну а первопроходцы, переселенцы? Они осваивали новые земли, раздвигали границы России, ие порывая связи с родной культурой («верой, престолом»), перенимали одежду, нравы тех мест, куда пришли, но оставались русскими. Казаки-староверы («некрасовцы»), прожившие в Турции два с половииой века, и те потянулись на родину. Нет, космополитической русскую культуру может назвать только человек глубоко ей чуждый.

В предреволюционные годы космополитизм стал проникать в русскую интеллигентскую среду. С. Булгаков писал по этому поводу: «Воспитанный на отвлеченных схемах просветительства интеллигент естественно принимает позу маркиза Позы, чувствует себя Weltburger'ом, и этот космополитизм пустоты, отсутствие здравого национального чувства, препятствующие и выработке национального самосознания, стоит в связи с всенвродностью интеллигенции». Эти слова были сказаны Булгаковым в молодые годы, впоследствии он принял сан, стал отцом Сергием, оказался в эмиграции, но и на чужбине не изменил своим патриотическим воззрениям. Я это к тому, что сегодня можно столкнуться с неким космополитическим истолкованием православия. «Нет ни эллина, ни иудея» — все равны. Правильно, но православие — это русская вера, если ты принял ее, то ты не эллин (язычник), не чудей (исповедующий культ бога Яхве).

Что касается П. Карпа, боюсь, он спутал два понятия — «космополитизм» и «космизм». Слова похожие, но смысл различный. Русская культура космична, не замкнута, а беспредельна, открыта для всех, полна «всемирной отзывчивости» и вселенской ответственности. Русская идея, по Бердяеву,— «все ответственны за всех», на чужую беду мы откликаемся как на свою, о себе думаем в последнюю очередь (видимо, и сами оказались поэтому в беде). Все ответственны за все и вся, в том числе за космос. Связь микрокосма и макрокосма, постоянная устремленность к границам беспредельного — характерная черта русской культуры. «Когда Царство Божье наполнит всю вселенную и все будет сотворено заново, наш мир опять сделается тем раем, для которого он был первоначально сотворен,— таково православное учение о конечной судьбе человека и вселенной» [2]. Не конца света ждет русская душа, а его преображения, обновления.

П. Карп справедливо говорит о России, что она стала некоей «моделью мира». Произошло это в силу космического (а не космополитического) духа ее культуры. (Космополитизм — модель не мире, а поведения.)

Русский космизм нашел свое выражение в православной религии и в философии, выросшей на ее почве. Русский философский ренессанс конца прошлого, начала этого века — прямое продолжение европейской философии и вместе с тем явление специфически русское. Новое слово, о чем молчал философский Запад,— судьба мира, ответственность за космос и преобразование его. Русский космизм — это не только Федоров, Циолковский, Вернадский. Это и Соловьев, Бердяев, Флоренский. Достоевский дал формулу русской культуры — «всемирная отзывчивость», но большего патриота н почвенника представить себе нельзя.

И вот этот русский космизм попал (на первых порах — включая Достоевского) под запрет после революции. Стали насаждать космополитизм, отречение от родины. Тогда и расцвело русофобство (а вовсе не в последние годы диктатуры Сталина, как уверяет П. Карп). Дело совсем не в том, что русские девушки на окраинах не хотят учить местные языки. Разгул русофобства падает на двадцатые и тридцатые годы, когда был уничтожен цвет нации — дворянство, купечество, духовенство, интеллигенция, а потом и основные производители — крестьяне. Это был самый чудовищный в истории геноцид, направленный против русского народа. Нынешнее русофобство — это эхо того, что было.

В историографии ФРГ недавно развернулась оживленная дискуссия — «спор историков», спорили все, кто имел хоть какое-нибудь отношение к этой области знания, спорили в периодике, затем стали выпускать целые тома по спорному вопросу. А стоял он так: являются ли гитлеровские зверства в отношении евреев единственными и неповторимыми. Вот тут и пошли в ход статистические данные об истреблении русских и программные заявления Троцкого и Зиновьева на этот счет. Евреев погибли миллионы, русских — десятки миллионов. И самое чудовищное, самое непостижимое состояло в том, что это истребление совершалось во имя «блага народа», зачастую руками русских. Руководила геноцидом русофобствующая бюрократия, правившая в стране. Троцкий, Зиновьев, Сталин говорили по-русски, но русских истребляли.

[2] Хопко Фома. Основы православия, Нью-Йорк, 1987, с. 72.

П. Карп пишет, что Сталин якобы внушил «русскому народу мысль о его превосходстве над другими». Что за чушь! Каким это образом? Тем, что он истребил лучшую часть нации? Тем, что победа была куплена большой кровью русского народа? Мне довелось в 1944 году присутствовать на допросе генерала Гольвицера, командовавшего витебской группировкой немцев, разбитой в ходе летнего наступления. Генерал, который вел допрос, спросил пленного, что он думает о действиях наших войск. Гольвицер ответил: «Вы не жалеете своих солдат, можно подумать, что Вы командуете иностранным легионом, а не своими соотечественниками». — «Победителей не судят, — мрачно возразил наш генерал, а потом — не для перевода, в сторону стоявших рядом офицеров: — Воюем по-сталински».

Ныне нам стали доступны произведения о гражданской войне, открывающие взгляд на нее с «той стороны», со стороны белых. И зазвучала в них незнакомая дотоле нотка: нельзя стрелять в русских. Повесть Б. Савинкова «Конь вороной» («Юность», 1989, № 3): «Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре... Мы победили. Но нет во мне радости, знакомого опьянения: русские победили русских». Тот же лейтмотив в документальном повествовании Р. Гуля («Ледяной поход». — «Кубань», 1989, № 1—3): русские стреляют в русских. Это ужасно, это невозможно, и герой (автор) оставляет после гибели Корнилова белую армию, уезжает за границу.

Для Троцкого такой проблемы не существовало. Он без сожаления не только стрелял в белых, но расстреливал «своих», красных, рабочих и крестьян, — казнил «каждого десятого» в том случае, если часть дрогнула, отступила. Так расправлялись только с восставшими рабами в Древнем Риме.

Да, можно говорить на языке народа и не быть связанным с ним, говорить о благе народа и истреблять народ. Можно вырасти в России, быть по крови русским, но не усвоить ее культуру, остаться ей чуждым. «Что касается меня, то я никогда не ощущал себя представителем русской нации. Я всегда ощущал себя москвичом — представителем особого космополитичного скопления людей самых различных национальностей, причем — той части этого скопления, представителей которой подозревают в том, что они — замаскированные евреи или полуевреи. Москва, воплощая в себе всю нашу огромную страну во всем ее многообразии, вместе с тем противостоит ей, как совершенно новое мировое формирование противостоит глубочайшей полуазиатской провинции... И если уж говорить о роли русского народа, то мне реальной представляется лишь такая проблема: что внесет русский народ в эту новую общность, исчезнув с лица земли в качестве русского народа. А он фактически исчезает в качестве нации. Революция, гражданская война, коллективизация, бесконечные репрессии, вторая мировая война — все это сокрушило Россию как национальное образование. России давно уже нет. И не будет больше никогда. Осталось русское население, — материал для чего-то другого, только не для нации»...

Написано по-русски, но следует ли автора считать русским писателем? Мыслителем? Человеком? Не стану называть его имени: он входит в моду, его причислили к лику обиженных, его жалеют, расшаркиваются перед ним, скоро начнут публиковать.

Итак, допустимо делить литературу на русскую и русскоязычную, что не нравится П. Карпу. Кстати, существует ведь немецкая и германоязычная литература. Часть швейцарцев говорят и пишут по-немецки, но немцами себя не считают. А Фридрих Ницше, прекрасный немецкий стилист, считал себя поляком и германофобом.

Можно быть русскоязычным русофобом. Это, пожалуй, самое страшное. Александр Безыменский и Джек Алтаузен в стихах, написанных по-русски, выражали свою неприязнь к России; не скрывает своих чувств и П. Карп — если не неприязни, то во всяком случае неприятия, непонимания России. С русскими он себя не идентифицирует. Все в той же статье «Взаимность» он рассказывает о своем путешествии по Бурятии в писательском автобусе: «Дорога шла по красивым местам, и фотограф попросил: «Остановите, я сяду в «газик», буду снимать». Дверца за ним захлопнулась, и кто-то за моей спиной громко крикнул: «Русский ушел, можно разговаривать!» Ответом был общий смех».

Какой великой радостью была для русского читателя возможность вновь получить в свои руки «Историю государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Общедоступной сделала ее публикация в журнале «Москва». Все радовались, а П. Карп был недоволен. Он настаивал на издании М. Н. Покровского, пытавшегося отучить русских от понятия «отечество», «патриотизм».

В статье «Взаимность» П. Карп одергивает митрополита Питирима, утверждающего: «Запад ждет возрождения нравственности, духовности именно от России». П. Карп добавляет глубокомысленно: «Будь так, на Западе, видимо, резко росло бы число новообращенных в православие, а ведь ничего подобного не наблюдается». По структуре рассуждение напоминает «Письмо к ученому соседу», а по содержанию — дурно пахнущий фельетон в «Литгазете», автор которого уверял, что по духовности мы скоро «настигнем республику Чад».

Чтобы рассуждать о делах церковных, нужно иметь о них хотя бы элементарное представление. П. Карп называет митрополита Питирима «святой отец», это безграмотно: митрополит не «отец», а «владыка», а назвать православного священника

при жизни «святым» и вовсе никуда не годится.

Православная церковь вызывает симпатии прежде всего своей трагической судьбой. Нигде наш государственный террор не проявил себя столь беспощадно и отвратительно. Около пятнадцати тысяч духовных лиц были расстреляны в двадцатые годы без суда и следствия, свыше восьми тысяч — по суду, в том числе 3447 женщин (данные опубликованы журналом «Огонек», 1989, № 34). Семьсот монастырей разгромлено, тысячи и тысячи храмов осквернены и закрыты. Ни одна церковь мира не испытала таких гонений. И выстояла!

Недавно в Москву приезжал мюнхенский профессор философии Райнхард Лаут, для того чтобы выступить перед столичной интеллигенцией и раскрыть ей глаза на значение православия. В докладе он высказал примерно ту же мысль, что и митрополит Питирим: Запад ждет от России духовности, той, что дал Достоевский и его последователи, Достоевский — вершина мировой культуры. На вопрос, почему он не переходит в православие, Лаут ответил, что ему нет необходимости: он и так прекрасно чувствует себя в русском храме. В последнем я мог убедиться воочию: Лаут истово молился в тропаревской церкви св. Михаила Архангела, ничем не отличаясь от местных прихожан.

А вот лежит передо мной немецкая книга «Русская душа», выпущенная в Вене в 1988 году. Ее автор Катарина Бета, принявшая православие, популярно растолковывает смысл этой религии. Кстати, после католицизма православная церковь среди христианских занимает второе место (примерно 120—150 млн. верующих). Западная церковь адресована к индивиду, восточная — к общности, отсюда понятие «соборности», отсутствующее в западном лексиконе. Выше я говорил о русском космизме, об этом говорит и К. Бета: православие рассматривает Апокалипсис только как предостережение, предрекая человечеству новое преображение. «В западном христианстве натурфилософия отодвинута на задний план, восточная церковь обнаруживает понимание творения во всех новых образцах христианской космологии. Христианское понимание космоса выражается в том, что спасение рассматривается не только как дело человека в пределах рода, но как космическое событие, которое преображает весь универсум». В православии антропология и космология связаны теснее, чем в католицизме и протестантизме.

«Иногда возникает впечатление, — пишет К. Бета, — что люди Запада потеряли глубину религиозности, что они живут на пошлом, поверхностном уровне. Многие заняты исканиями, но неспособны конкретно выразить, что они ищут». В православии пафос любви и милосердия выступает явственнее, чем в других христианских религиях.

Мне не раз приходилось слышать об этом во время командировок в ФРГ. Католики рассказали мне о явлении Богоматери летом 1917 года в португальской деревне Фатима. Было предсказано, что в России произойдет катастрофа, страна отпадет от Бога, но со временем вернется к нему и спасет мир. Вот почему верующие на Западе с надеждой смотрят на нашу страну, а в перестройке видят осуществление божественных предначертаний. Да и Достоевский предрекал нашей стране многие беды, но и освобождение от них.

Нация — это общность святынь. Судьбы православия и России нерасторжимы. Православная церковь — единственный социальный институт, оставшийся неизменным на протяжении десяти веков. Православие принесло нам письменность и государственность. Мощная Киевская держава — прямой результат принятия Русью христианства; освобождение от татарского ига и возвышение Москвы, собравшей вокруг себя русские земли, связано с именем Сергия Радонежского. Пересвет и Ослябя — герои Куликова поля, святовитязи, монахи и одновременно воины, сражавшиеся в рясах поверх доспехов. Не только русская воинская доблесть, не только повседневный труд и быт, но русское просвещение носило религиозные черты. Ломоносов, Державин, Болотов — глубоко религиозные люди. Русскую классику XIX века понять вне православной религии невозможно. Откуда патриотический пафос «Истории государства Российского»? Откуда нравственный подвиг Татьяны Лариной? Куда устремлены были помыслы Гоголя? Как понять героев Достоевского и Толстого? Философские идеи Владимира Соловьева? А русский религиозно-философский ренессанс, русский космизм, выступивший достойным продолжением художественной классики и выдвинувший русскую мировоззренческую мысль на мировой уровень. Что питало его? Где искать побудительные причины всего того, что составляет духовную гордость земли русской? Повторяю, русская культура и православие в основе нерасторжимы, тождественны.

Озабоченный тем, что пережил мой народ в недавнем прошлом, и тем, что ждет его в будущем, я думаю о судьбах его веры. Сегодня мы осознали наконец глубину нашего падения и помыслы о национальном возрождении связываем с деятельностью церкви.

Важно отметить, что это не единичное, личное мнение, а общественное движение, поддерживаемое нашим государственным руководством. Наиболее зримый признак философской перестройки — возрождение интереса к русской религиозной философии. Философские тексты, созданные несколько десятков лет назад, появляются на страницах периодики, не только журналов, но и газет с многомиллионными тиражами. Поистине мы переживаем новый религиозно-философский ренессанс!

Я вижу причины этого ренессанса не только в росте русского национального самосознания, но в еще одном тесно связанном с ним обстоятельстве — понимании, что религия является единственным надежным средством массового воспитания морали. Мы смешиваем подчас нравственность и мораль. Первая может быть и в бандитской шайке: это принципы жизни, нравы группового поведения безотносительно к тому, хороши они или дурны. Мораль — безусловное служение добру. Этические принципы, провозглашенные в Новом завете, являются альфой и омегой, первой и единственной системой морали. Для воспитания морали необходимо представление об идеале, с которым человек обязан соотносить свое поведение. Образы христианской религии, ее категорический императив любви к ближнему — наиболее общедоступное и действенное средство морального воспитания, которое нам необходимо сегодня прежде всего. Долгие годы нам внушали, что добро — это нечто вроде выгоды: для пользы дела можно лгать и убивать, граница между злом и добром относительна. Отец Павел Флоренский ядовито назвал такой взгляд «этическим монизмом» и отверг его.

«Этическому монизму» (то есть взгляду, что добро и зло — едина суть) официальной философии и ее «метафизическому дуализму» (то есть резкому противопоставлению духа и материи пустопорожней болтовне о том, что первично, а что вторично) Флоренский противопоставил «этический дуализм» и «метафизический монизм», то есть резкое противопоставление добра и зла при признании принципа универсального всеединства, неразрывной связи двух искусственно противопоставимых субстанций. Первично добро, и этот принцип русской религиозной философии должен быть принят нами как символ веры.

Учиться добру трудно в одиночку. Кант считал важнейшим условием морального воспитания включенность индивида в этическую общину. Таковой является церковь. Русская религиозная философия выработала особую категорию для обозначения гармонического слияния общего и единичного — соборность. Вне собора, вне церкви воспитать соборность невозможно. Вот почему религия в нашей жизни должна занять надлежащее ей место. Нельзя ограничиваться абстрактными призывами к добру. Нужен яркий, впечатляющий образ. Ничего более убедительного, чем образ Христа, человечество не создало.

Кроме национальной и моральной ипостаси, есть в религии не менее важная, тесно связанная с ними третья сторона — ценностная. «Не хлебом единым жив человек», — сказано в Писании и повторено миллионы раз. Нужна человеку духовная пища, нужен катарсис.

Так пусть же живет и здравствует та область духовной деятельности, которая включает человека в национальное целое, учит добру, одаряет очищающей верой, наполняет смыслом жизнь на благо Родине и Человечеству.

* * *

Весной 1989 года в Институте философии АН СССР выступал израильский советолог профессор Михаил Агурский, бывший советский гражданин. По интересующему нас вопросу он сказал следующее:

— Главный национальный вопрос в СССР — русский, не армянский, не эстонский, не еврейский, а русский. Русский народ, русская культура подверглись наибольшему подавлению. Русские живут хуже других народов. Сравнительно высокий уровень жизни в Закавказье и Средней Азии осуществляется за счет России. Рост русского национального самосознания подчас вызывает опасение у части евреев, которые усматривают в этом антисемитизм, то есть опасность для себя. Аналогичные проблемы существуют и в других странах: живущие там евреи зачастую считают себя лучшими выразителями местной культуры, и на этой почве возникают конфликты. Но Израиль здесь ни при чем: израильтяне и евреи диаспоры — не одно и то же, хотя по законам нашего государства евреем считается каждый рожденный от еврейки. В интересах Израиля — установление нормальных отношений с СССР; те евреи, которые покинули Россию или, оставаясь в ней, разжигают к России ненависть, действуют во вред Израилю. А. Янов, например, ни разу не был в Израиле; то, что он пишет, не отражает наших устремлений и не имеет к нам никакого отношения. Мы полны уважения и интереса к русской культуре, мы поддерживаем идею русского национального возрождения. Конечно, русофобство есть в Израиле, но ведь и у вас есть «Память», экстремисты встречаются всюду. К сожалению, мы мало знаем о «Памяти». Сколько человек объединяет она? Десятки? Сотни? Тысячи? Миллион? Думаю, что слухи о ее влиянии преувеличены, не говоря уже о явных провокациях. Что стоила провокационная сплетня, подхваченная прессой на Западе, о том, что к тысячелетию крещения Руси готовится еврейский погром. Недостойно, когда в ряды шовинистов и юдофобов зачисляют крупных русских писателей, носителей культуры и совести русского народа. Давайте вместе бороться против экстремизма: мы против своей «Памяти», а вы против своей!

Я привел слова М. Агурского, чтобы поставить точки над «i»: противостояние русофобству не означает антисемитизма.

Народы не отвечают за своих вождей. Немцы — за Гитлера, евреи — за Жаботинского и Бегина, русские — за Петра I, англичане за Черчилля и т. д. Никакую другую нацию — ни евреев, ни чукчей, ни латышей, ни армян, ни татар — мы не можем считать виновниками нашей беды. У всех народов нашей страны один враг — бюрократия. Это главный носитель национального нигилизма. Бюрократия — антинациональна, в лучшем случае анациональна. Поскольку, как мы узнаем из печати, бюрократия срастается с уголовщиной, можно говорить о бандитократии (М. Алданов в романе «Ключ» показал связь уголовников и «революционеров», зарождавшуюся еще до взятия власти). Может быть, наш упадок и пошел не на пользу какой-нибудь нации, но винить надо не эту нацию, а бандитократию всех мастей и народов.

Национальное возрождение — насущная задача перестройки. Нужно восстановить и дружбу в нашей межнациональной семье. Но дружить могут только процветающие народы с развитым самосознанием и чувством собственного достоинства. Дружба — удел личностей. В обезличенной тол-

пе не дружат, лишь давят друг друга. Каждый народ должен знать самого себя, сильные свои стороны культивировать, слабые — контролировать.

Изначально носителем русофобии был «малый народ» (И. Шафаревич) — сравнительно небольшая группа профессиональных организаторов насилия, которая натравливала одну часть нации на другую, потому что в органической структуре народа видела главное препятствие для создания желенной командной системы. Сегодня неприязнь к русским возникает порой у подлинно малых народов окраинных республик, которые видят в русских главных носителей этой отжившей системы. Мало того, что русские больше всего пострадали от «казарменного социализма», но сегодня они должны нести ответственность за него. Парадоксальная ситуация.

Выход один — ликвидировать (не не словах, а на деле) командную систему, восстановить в стране демократию, которая складывалась до революции и в ходе нее, а затем была раздавлена установившейся надолго диктатурой. Что означает демократия в национальном вопросе? Право наций на самоопределение — давний лозунг большевиков. Так давайте осуществим его, для этого существуют референдумы. Я далек от мысли давать советы — что, где, когда, могу лишь восстановить одну историческую истину: наше централизованное государство было создано вопреки воле Ленина.

Среди множества публикаций о ленинском «Завещании», появившихся у нас за последнее время, выгодно выделяется статья Егора Яковлева «Последний инцидент» («Московские новости» от 22 января 1989 г.). Автор решительно обращает внимание на то, чего другие не желают замечать, — логическую неувязку в опубликованном тексте статьи «К вопросу о нециональностях или об «автономизации». Вот этот текст: «Во-первых, следует оставить и укрепить союз социалистических республик... Во-вторых, нужно оставить союз социалистических республик в отношении дипломатического аппарата». Яковлев справедливо замечает: «Но первое исключает второе. Если сохраняется союз государственный, то не стоит заботиться о дипломатическом. Если же отказываются от государственного союза, то можно сохранить его на дипломатическом уровне. Что это, описка или фальсификация?»

Когда возникла эта «описка или фальсификация»? В опубликованном за рубежом варианте ленинской статьи (из архива Троцкого), там, где Яковлев поставил три точки, помимо опущенного им всем известного текста фигурируют еще три слова — «в военном отношении», то есть Ленин с самого начала настаивает на сохранении союза республик, во-первых, в военном и, во-вторых, в дипломатическом отношении. Логически верно. А текстологически? Что это, произвольная вставка или ленинские слова? У нас «Завещание» Ленина впервые было напечатано в хрущевские времена, когда еще не избавились от сталинских методов обработки ленинского наследия. Сегодня институт марксизма-ленинизма обязан внести ясность.

Впрочем, ленинская мысль ясна из контекста. В четвертом пункте документа, о котором идет речь, Ленин предлагает «вернуться на следующем съезде Советов назад, то есть оставить союз советских социалистических республик лишь в военном и дипломатическом отношении». Может быть, еще не поздно это осуществить? Нужно ли это?

Ленин глубоко переживал случившееся («Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России...»), то, что за его спиной было создано государственное образование, не нужное ни России, ни другим республикам. Оно было нужно только правящей бюро- и бандитократии, которая пренебрегла волей Ленина.

Сегодня мы говорим о необходимости вернуться к ленинской модели социализма — к нэпу. Полагаю, что нужно вернуться и к ленинской модели национальных отношений. Во всяком случае обсудить ее.

России нужна экономическая и культурная самостоятельность. Полная хозяйственная независимость от кого бы то ни было. Почему мы должны выплачивать дотации (чуть было не написал «репарации») живущим лучше нас? Почему мы лишены всех надлежащих форм государственности, как она существует в других республиках? 31 августа 1989 года мы прочли сообщение Министерства финансов о выпуске юбилейных монет, посвященных «500-летию единого Русского государства». Это что, в память о том, что было и чего больше нет? Неужели юбилей пройдет только по финансовому ведомству? Кстати, годовщину Петра Великого, превратившего Русское государство в мощную европейскую державу, у нас украли; мы отмечаем далеко не круглые даты кого угодно, а триста лет со дня рождения великого монарха не заметили. Петр учредил национальный флаг; почему в других республиках в официальном ходу их флаги, а мы прячем свой по углам? Где российская Академия наук? Получит ли Москва свой древний герб — святого Георгия Победоносца, или будем мы по-прежнему исподтишка изображать некоего «всадника, поражающего дракона», неизвестно что означающего? Вернут ли нам наше исконное наименование великороссов или посоветуют — во избежание обвинений в шовинизме — называть себя впредь скромно нечерноземцами? Много, много недоуменных вопросов возникает, когда размышляешь над русским вопросом. Кто и когда даст ответ?



КРИТИКА



ТАИСИЯ НАПОЛОВА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЗЛА

Я только робко осмеливаюсь сказать, что зло надо было назвать злом, а не подвигом.

Достоевский

I

ЖУРНАЛЬНЫЕ битвы, целью которых было утверждение не истины, но одной лишь правоты «своего» направления, хула на народ, ёриничанье и гаерство — с целью заявить о себе, а заодно и «свалить» противника — все это не ушло в прошлое. Ушло в будущее, к нам. Если бы Достоевский мог познакомиться с нашей журнальной и газетной полемикой, он сказал бы со свойственной ему разящей образностью: «Сколько здесь истрепанного старья!»

Действительно, читаешь статьи вековой давности и возникает странное чувство, словно тамошние социально-нравственные недуги, по какой-то таинственной связи времен, взяли да и перекочевали в наши дни. Если все, что было наиболее важного в текущих вопросах тех лет, собрать в одну точку, то это будет разрушительная сила отрицания отечества, прошлого народа, его лучших традиций, культуры, этики. И яростная ненависть к тем, кто не разделяет подобной позиции.

Картину этого противостояния дает Н. С. Лесков в статьях «Деспотизм либералов», «О деспотизме направлений». Писатель отмечает, что либеральный террор стал настоящим бедствием русской общественной жизни. По принадлежности к направлению, либералы радикального толка «начали раздавать патенты на ум и безумие, на честность и бесчестность, не стесняясь никакой иной критикой, кроме своего «направленного масштаба». И тут уж было не до церемоний. «Если ты не с нами, так ты подлец!» Держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно свято верило. Отвергайте авторитеты, не стремитесь к идеалам, не имейте религии (кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера), не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы «подлец». Если вы обидетесь, что вас назовут подлецом, ну, так вдобавок вы еще «тупоумный глупец и дрянной пошляк».

Не правда ли, что слова эти, написанные 128 лет назад, отражают состояние и сегодняшней полемики? Только либералов — радикалов века минувшего сменили экстремисты и авангардисты века нынешнего. Подновились маневры и формы, а суть осталась. Флаг вроде бы другой, а тенденции те же самые — разрушительные, антипатриотические и нередко с оттенком русофобии века минувшего.

Очернительство всех форм русской жизни под знаменем отрицания деспотизма и «защиты» угнетенного народа стало могучим поветрием начиная с 60-х годов XIX века. О причинах этого явления еще придется говорить. Они не так просты и связаны как с достоинствами и недостатками русского национального характера, так и с потенциалом и историческими корнями «завладевающей» силы радикал-либералов. Для начала отметим лишь тяжелое положение, в котором очутилась «передовая общественная мысль» в России. В бой с этой силой вступили лучшие умы России: Достоевский, Лесков, Бунин. По отдельным вопросам высказались Толстой, Короленко. Появились замечательные полемические статьи Н. Страхова, Ап. Григорьева, М. Владиславлева и др. Достоевский, кажется, первый понял зловещую опасность для России всеобщего очернительства под флагом отрицания отживших форм жизни. «Тут и идея не своя, — писал он, — ничего своего нет. Все, дескать, скверно. А как с положительной программой? Ведь нельзя же все отрицать. Надо ведь и об чем-нибудь сказать положительно, высказать энтузиазм кому-нибудь — показать свои карты. Ба, да у нас и на это лекарство есть, крайний свист: все освистать, все благородное и прекрасное, каждый факт освистать, прикинуться Диогенами, скептиками, дескать, мы смеемся, скалим зубы, а в груди-то, в груди-то у нас сколько заложено!.. И страданий, и того, и сего... Долго ведь не догадываются».

Таисия Тарасовна Наполова, доктор филологических наук, автор книг: «Творчество писателя-реалиста», «Живое дыхание современности», «История и современность» и др. Член СП. Живет в Саратове.

В этом-то вся и беда. Читатели долго ведь не догадаются. А пока догадаются, скептицизм и всеразрушающая анархия подорвут веру в идеалы, в добро, начнется падение нравственности. Диогенам всех мастей того и надо. «Наше дело разрушить». «После нас хоть потоп». Вот их символ веры, хорошо выраженный Базаровым, а позже с новой силой подтвержденный Потугиным в романе «Дым». Достоевский с грустью вспоминал, как Тургенев говорил ему, что «основная точка его книги «Дым» состоит в фразе: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве».

Самое парадоксальное, по мысли Достоевского, что все это преподносилось под соусом «любви» к России. «Ну, вздор! Нас-то не надуете»,— заметил по этому поводу Достоевский. Больнее всего ему было видеть нападки на Россию, низведение народа до «стадного скота». «Им хочется,— писал он о либералах-радикалах,— «подогнать» Россию, согнуть ее в бараний рог... Это все от презрения к России и к народу». В 80-е годы, когда русофобия стала идейной программой и вдохновляющей «верой» либералов в торжество этой программы, Достоевский пишет о либералах уже как о партии, не только враждебной народу, но и готовой к бою против народа. Позиция этой партии — худший вид деспотии: «А народ опять скуем». «...Во всяком либерале — чиновник и попиратель свободы народной».

Слова эти были сказаны в пылу полемики с Кавелиным, статьи и высказывания которого привлекали особенное внимание Достоевского. Кавелин, можно сказать, был центральной фигурой радикально-либерального направления, хотя и не принадлежал к крайним «левым». Он выделялся среди них образованностью, интеллигентностью и некоторой долей терпимости в полемике. Долгие годы был другом Герцена. Достоевский посвятил Кавелину многие страницы своих записных книжек. Он обвинял Кавелина и его партию «в презрительном отношении к народу», в том, что партия либералов «стала над народом». В записной книжке он с горечью спрашивает: «Кавелину. Да когда кончатся, наконец, эти барины (свысока на народ)?» И в другом месте: «Вся надежда на народ. Так не подрывайте корни народные». И, наконец, полный безнадежности вывод: «Он уже старец и угаснет с самым полным незнанием народа русского и с презрением к нему».

Причину подобной русофобии Достоевский видел не только в отрыве либералов от народа и, следовательно, незнании его. Со свойственной ему проницательностью он заметил: «Любители народа, почти все, смотрят у нас на народ, как на теорию, и ровно никто его не любит таким, каков он есть... Мерило народа не то, каков он есть, а то, что считает прекрасным и истинным, по чем вздыхает». Он ценил именно духовные свойства народа, отрицаемые либералами. Суть ошибочной позиции либералов была в том, что, отрицая духовные свойства народа, они фокусировали внимание на негативных фактах (скажем, пьянство) и отдельные факты возводили в теорию.

Этой дешевой тактике писатели, стоящие близко к народу, противопоставили глубокий социальный анализ причин негативных явлений в русской жизни. Таковы яркие журнальные выступления Лескова, Достоевского, Мельникова-Печерского, К. Леонтьева, Н. Данилевского, Вл. Соловьева и др.

Как бы итожа обсуждение этих больных вопросов времени, Достоевский писал: «Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается все наше будущее, даже, так сказать, самый практический наш вопрос теперь...»

II

Почему, однако, этот «самый практический вопрос» либералы сбрасывали со счета? Суть тут, очевидно, не в узости и неглубокости его понимания. Либералы радикального толка не могли бы даже допустить его разумное и объективное решение, потому что оно противоречило бы их радикальной стратегии — задаче разрушения государства. Следовательно, отрицательное отношение к народу было для них и тактической позицией. «Отрицая» народ, они отрицали и все его установления и ценности, им созданные. А коли не имеют цены эти установления и традиции, значит, все существующее, включая и государство как форму правовой культуры подлежит уничтожению. У нас, мол, не может быть ничего охранительного, потому что «нечего охранять».

Такова «логика», породившая и сами принципы разрушения. Наиболее полно и последовательно они сформулированы «апостолом разрушения» Бакуниным, идеи которого поддерживали некоторые наши шестидесятники. «Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что теперь называют дурными страстями, и разрушения того, что называется «общественным порядком». Ему вторил Кавелин, писавший: «Революционная партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правительство». О Бакунине с восторгом писал Варфоломей Зайцев, гордо причислявший себя и своих единомышленников к стану «погибающих за великое дело любви».

Любви? Но к кому и к чему? Патриотизм они отрицали и осмеивали. Вот что писал В. Зайцев: «Возьмем, например, патриотизм. Чувство невинное, даже, пожалуй, похвальное,— иронизирует он.— Не признавать в природе вида лучшего, как вид Москвы с Воробьевых гор, не признавать иного кваса, кроме московского, не знать зрелища, более возвышающего душу, как зрелище пасхальной процессии в Кремле,— все это дышит безобидностью и святой простотой. Но ежели у этой божьей коровки вырастет жало скорпиона, если она вносит разладицу, воскрешает затихшие распри, силится раздуть искру потухших антисоциальных предрассудков и страстей, тогда она делается глубоко безнравственной и требует позорного клейма».

Итак, патриотизм — это «божья коровка», у которой «вырастает жало скорпиона»(?!), явление «безнравственное» и т. д. Вот те похвальные чувства, с какими иные шестидесятники вышли на «святую борьбу», провозгласив: «Кто не за нас, тот против нас». И объявив ханжами тех, кто исповедует христианскую мораль. Их лозунг: «Свобода от всего», в том числе и от нравственности. Их идеалом, идеалом всех «левых» был Писарев, потому что он доходил «до отрицания всякой абсолютной нравственности, до проповедования полнейшего индивидуализма в понимании добра и зла».

Достоевский по поводу лозунга «свобода от всего» остроумно заметил: «Разделись донага, как дикие». И, главное, другим тоже предписывают подобные правила «свободы».

Они навязывали обществу свои принципы, побуждали людей примкнуть к их «форсированному движению», которое было не чем иным, как насаждением анархии. Достоевский с болью писал: «Это безначалие и отсутствие законности имеет развращающее свойство не менее пьянства. Доведет до отчаяния, до бунта». И заключал: «Вся надежда на народ».

Но народ-то и не хотели признавать либеральные крикуны, выступившие под соблазнительными лозунгами «свободы», «демократии» и «гласности». Не признавали они и боялись, по словам В. Зайцева, слов «долг», «обязанность», «право». Иронизировали над заповедью Христа: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», «Поступай с другими так, как желаешь, чтобы с тобой поступали». Эту мораль они объявили ханжеской. А где же новая? В. Зайцев цитирует письмо к нему Бакунина: «Старая нравственность, основанная на религиозном, патриархальном и словесно-социальном авторитете, безвозвратно рушилась. Новая далеко еще не создалась, она предчувствуется, но так как действительно осуществить ее может только коренной социальный переворот и ни одно лицо, отдельно взятое, не в силах ее создать, она еще не существует...»

Процитировав эти слова, В. Зайцев с присущим ему «оптимизмом» утверждает, что они создали новую мораль. Ведь со времени этого письма Бакунина прошло целых десять лет. И мораль эта вмещается в одной фразе: «Кто не за нас, тот против нас». С видом победителя, перешедшего Рубикон, он провозглашает: «Провозгласим же нетерпимость!» Статья его так и называется: «Новая нравственность». Другой шестидесятник Г. Благосветлов в многозначительно названной статье «Кто с нами?» также ставит вопрос о бесполезности самой постановки нравственных вопросов в условиях существующего строя. Он подвергает критике Роберта Оуэна за то, что тот увидел в указке школьного учителя архимедов рычаг, между тем как ему следовало начать и окончить преобразованием общества. Между тем наш либерал берет формулу нетерпимости Р. Оуэна: «У меня с трупами нет ничего общего, и я был бы крайне дерзок, если бы надеялся убедить таких свиней, как мои противники».

О том, как выглядела эта формула нетерпимости на деле, как воплощалась она в человеческих отношениях, рассказывают в своих произведениях Лесков, Бунин, Чехов. Еще ранее — Писемский, Достоевский. Вот небольшая жанровая сценка из рассказа Бунина «На даче». Обстановка, казалось бы, самая мирная, люди отдыхают. Но и здесь кипят страсти. Сначала возникает иносказательный разговор: как поступить, если сломался в дороге дилижанс? Толстовец Каменский говорит: «...Починка делается не злобой, а единением и любовью!». Непримиренец Бернгардт не дает ему договорить. «А может быть, непротивлением злу?» — перебил Бернгардт и резко захохотал». Не ограничившись этой выходкой, Бернгардт «со злобой» заявляет: «В наше время таких бы не слушали... Мы жизнью жертвовали» «...Вы увлекаете общество от полезной и честной работы в свою келью под елью...» И хотя в словах его много злобы, он же и упрекает Каменского: «У вас злоба кипит». Возможно ли «единение» подобных людей? Каменский ищет и верит в него. Беду Бернгардта он выражает словами Паскаля: «Есть три рода людей: одни те, которые, найдя бога, служат ему, другие, которые заняты исканием его, и третьи, которые, не найдя его, все-таки не ищут его...» На эти слова Бернгардт отвечает с иронией непримиримости: «Опять тексты!»

Да, это и есть самый главный камень преткновения: непримиримость. «Мы боролись»,— говорит Бернгардт. Это значит, выпускали листовки, подстрекали к бунту. В нравственное оздоровление общества они не верили, а тех, кто в это верит, они считали подлецами и дураками. Этим и объясняется бесцеремонно-грубое обращение Бернгардта с Каменским. «Поверьте мне, как брату, у меня нет злобы против вас»,— говорит Каменский. Бернгардт равнодушен к этим словам, ибо братьев он видит только среди единомышленников.

Деспотически-упорная позиция шестидесятников оказалась живучей. Менялись формы жизни, приходили новые люди — позиция оставалась. Красивая, богатая добродетелями Лида Волчанинова в повести «Дом с мезонином» Чехова так же нетерпима и жестка в своих суждениях о людях, как и бунинский герой. Это лишает ее обаяния и женственности, но зато она всегда «права». Она не выносит художника, жениха своей сестры, только за то, что он пишет пейзажи, а не картины бесправного положения народа, и равнодушен к земской деятельности. Ей удается разрушить счастье своей сестры, и делает она это с полным сознанием своей правоты.

Подобного рода жестокая нетерпимость проникала во все сферы общественной жизни России минувшего века. Доставалось не только государственному строю и людям, доставалось и искусству. Не буду останавливаться на этом вопросе (он должен стать предметом специального исследования), но все же сошлюсь на один знаменательный факт. Во время восстания в Дрездене в 1848 году Бакунин распорядился выставить на баррикадах «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. К счастью, нашлись разумные головы, сумевшие предотвратить этот акт вандализма. Но не тем же ли духом вандализма были проникнуты

статьи Писарева, подвергшего жестокому «избиению» Пушкина! Поступок Бакунина, как и разносные статьи Писарева о Пушкине (и не только о Пушкине) — это не отдельные эксцессы, а часть планомерной программы по разрушению нажитых человечеством ценностей.

Важно отметить, что непримиримость радикалов, навязывавших обществу свою программу, вела к резкому размежеванию людей, которые должны были бы объединиться в борьбе с общим злом. Дороговато заплатили русские люди за эти распри: братоубийственной войной, роковыми репрессиями ряда грядущих десятилетий, идейным расколом. Что можно было бы сделать, чтобы остановить эти процессы еще в зародыше?

Этот вопрос возникает, когда знакомишься с прессой и художественной литературой тех лет. Но есть еще одно свидетельство — более поздняя повесть Бунина «Жизнь Арсеньева», написанная им в эмиграции. Первое, что бросается в глаза, — это кастовость «прогрессистов» — нетерпимцев. Они жили «очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы и з а л ю д е й н е с ч и т а я всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике), чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое, особое и непоколебимое: свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России: отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, за которое и нужно было «бороться». Читали они «только Златовратского и Короленко, а Чехова презирали за «политическое безразличие», Толстого всячески поносили за «постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания», за то что он «носится с богом как с писаной торбой» и т. д. Естественно, что они клеймили «ренегатом» всякого, кто хоть мало-мальски усомнился в чем-нибудь ими узаконенном, и поминутно издевались над чьей-нибудь «умеренностью и аккуратностью».

Таким «ренегатом» стал для этих людей и Алеша Арсеньев, герой повести. И хотя не был он «правее» их в своей «легкомысленной революционности», ему было тяжко и неловко в этом обществе. Он видел, однако, что хозяйка «замечает это и раздражается». Но что было делать ему, если он видел ложь и неискренность «выдуманных на всю жизнь мыслей и чувств, и когда они звонко затягивали «От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови», ему это казалось «просто ужасно — да кто это уж так ликует.., кто болтает и обагряет! А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодчеством: «Из страны-страны далекой, с Волги-матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой собралися мы сюда». Я даже отворачиваюсь от этой Волги-матушки и славного труда и вижу, как Браиловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти».

Эти картины позволяют психологически точно представить явление, обозначенное Лесковым как «террор либералов». Люди, борющиеся за свободу, были менее всего свободны сами и не разрешали этой свободы другим. В прессе развернулись жестокие битвы. Подавлялось всякое многообразие мысли. Либералом это удавалось по целому ряду причин. Одной из них была умело разработанная тактика журнальных атак. К тому же почти все ведущие газеты и журналы были в их руках.

Тяжко приходилось даже такому опытному полемисту, как Достоевский. Стоило ему вступить в полемику с профессором А. Градовским, как против него тотчас же «вылетел» другой Градовский, а затем и вся «стая». По поводу этого он заметил в записной книжке: «Вы изолгались и избарабанились. Не всякому же Градовскому отвечать». Проф. Градовскому он все же ответил. Не мог он обойти молчанием позицию А. Градовского, утверждавшего, что русский народ недостоин называться великим народом. «Ведь сказал же один профессор, что «русский не может быть великодушен и иметь благородные чувства, потому что он не образован». Уязвимость позиции профессора Достоевский видел в том, что качества народа, в данном случае его «несовершенство», А. Градовский прямо выводил из несовершенства общественных учреждений, которые по причине-де этого несовершенства, не могли воспитывать в народе «гражданских доблестей». Отсюда и неверие в духовное самосознание народа, неверие и в нравственное единение людей.

Возражая ему, Достоевский писал: «Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремит их в будущее к целям вековечным. Попробуйте-ка соединить людей в гражданское общество с одной только целью «спасти животишки»? Ничего не получите, кроме нравственной формулы: «Каждый за себя, а бог за всех». С такой формулой никакое гражданское учреждение долго не проживет, г-н Градовский».

Мысль Достоевского о том, что гражданские идеалы сами по себе никогда не являются, но имеют целью лишь «утоление нравственного стремления данной национальности», актуальна и в наши дни. Собственно, это наблюдалось во все времена. Как только ослабевало в народе чувство национального единения, ослабевали и нравственные основы жизни и вместе с этими основами начинали постепенно исчезать и «гражданские учреждения», ибо нечего более охранять и, как правило, начинается перерождение гражданских учреждений в бюрократические. А тут вырастает и другая закономерность: где нет гражданственности и нравственности, там ослабевает и деятельная любовь к земле и чувство хозяина.

Не удивительна ли преемственность этих процессов? От эпохи к эпохе тянется цепочка причин и следствий... Корни наших сегодняшних бед — падение нравственности, экологические катастрофы, разруха в сельском хозяйстве — в прошлом. Те, кто сегодня ведет нас к национальной гибели, ведет по проторенным ранее дорожкам.

Удивительно, что повторяется еще одна закономерность: находятся любители поменять местами причину и следствие. Либералы XIX века во всех бедах винили Россию и ее народ. Обращаясь к профессору, напавшему на его речь о Пушкине, Достоевский писал: «Вы, г-н Градовский, безжалостно укоряете Россию за ее неустройство. А кто мешал до сих пор ей устроиться во все эти два последние века и особенно в последнее пятидесятилетие? А вот все подобные вам, русские европейцы, г-н Градовский, которые у нас все два века не переводились, а теперь о с о б е н н о н а н а с н а с е л и. Кто враг органическому и самостоятельному развитию России на с о б с т в е н н ы х е е н а р о д н ы х н а ч а л а х? Кто насмешливо не признает даже существование этих начал и не хочет их признавать? Кто хотел переделать народ наш, фантастически возвышая его до себя, — попросту наделать все таких же, как сами, либеральных европейских человеков, отрывая от времени до времени от народной массы по человечку и развращая его в европейца хоть фалдочками мундира?»

Не нашему ли времени адресованы эти строки? Немало и в наши дни любителей все формы народной жизни и в экономике, и в землевладении и в культуре — переделать на западный образец! Не предлагают разве нам донашивать изношенное на Западе платье?

На это опять-таки можно возразить словами из века минувшего, словами Достоевского: «Не против прогресса мы, боже сохрани, но дело в том, что в прогресс-то идут стертые пятиалтынные люди, люди без предания, с ненавистью, а ненависть есть явление ненормальное».

И. Шафаревич в статье «Русофобия» («Наш современник», 1989, № 6), обращаясь к прессе XIX века, отмечает существование «интеллигенции, противопоставившей себя народу», ставшей «воюющим орденом». Сто с лишним лет тому назад о таком интеллигенте-нигилисте писал профессор Овсянико-Куликовский: «Он относится с величайшим отвращением к историческим формам русской жизни, среди которой он чувствует себя решительным отщепенцем». Игорь Шафаревич видит у этой интеллигенции ненависть к одной нации, к русским, ненависть, связанную «с обостренным переживанием своей принадлежности к другой».

Русофобия была, очевидно, развита и в других славянских странах, но встречала там отпор. Лесков пишет, что некий «Иосиф Фрич в последние годы нажил себе своим русофобством очень много врагов между чехами». Но в России, подчеркивает Лесков, русофобия и вызванная ею клевета на писателей развита сравнительно с Западом сильнее, особенно начиная со второй половины XIX в. Общее настроение литературного духа «не имеет ничего общего с тем, что было в начале 19 в.». Причину этого Лесков видит в падении общественного вкуса. Одну из своих статей Лесков так и называет «Большие брани», где говорит о засилье развязных фельетонистов, которые объявляют одного писателя независимым, другого — продажным, одного — талантливым, другого — бездарным, но ничего не приводят в подкрепление своих слов и ни за что не отвечают. К сожалению, им верят согласно пословице: «Пьян ты или не пьян, но если говорят, что пьян, то ложись спать...» Говоря о недостойных обвинениях по адресу Некрасова со стороны Антоновича, Лесков замечает: «На подобные вещи один благоразумный ответ: «молчание».

III

Легко понять, почему все эти больные вопросы, поставленные еще в веке минувшем, не ограничивались и не ограничиваются, к сожалению, безобидной полемикой. И хотя ненависть есть явление ненормальное, ненавистью-то все и решалось. Эта ненависть появлялась там, где людям либерально-радикальной партии не хватало логики. Да и где им было взять логики, если в рассуждениях их, в самой их позиции не было элементарного здравого смысла! Они «компенсировали» эту недостачу криком, атакой на репутации наиболее сильных своих противников. И начиналась, по остроумному замечанию Достоевского, «стукотня в литературе».

Однако почему этим «крикунам» сопутствовал все же успех? Почему их ругательства достигали своей цели, хотя каждый здравомыслящий человек понимает, что сила не нуждается в ругательствах? Здесь мы сталкиваемся с явлением почти парадоксальным. Дело в том, что на Руси строго придерживались кодекса чести. С человеком, у которого репутация «подлеца», считалось зазорным даже здороваться. Что же касается либералов и радикалов всех мастей, то они были великими мастаками по части обструкции. По этой части у них была разработана целая серия ярлыков. Действуя согласно их излюбленной форме: «Кто не за нас, тот против нас», они не церемонились в выборе слов и выражений, особенно если надо было «свалить» крупного противника. В народе же испокон веков сложилось уважение к печатному слову, доверие к нему. Что же касается наших либералов, или «прогрессистов», как они себя величали, то они были великими хитрецами. Хитрость заменяла им и талант и честность. Словом, они сумели сильные стороны народа, его кодекс чести, его доверчивость к сказанному в печати, — обратить против самого же народа. И зная эту доверчивость, они пускали в ход и слухи, и самую гнусную сплетню. Всем было памятно, как Антонович в своей грязной статейке оплевал поэта Некрасо-

ва. И что же, общество отвериулось от Антоновича? Да нет же, он продолжал пребпагополучно пописывать свои бездарные статейки, привлекая многих читателей хлесткостью тона.

Но чаще всего «критика» на личности носила у «прогрессистов» как бы концептуальный характер. Человеку неугодному приклеивался политический ярлык, и это определяло его репутацию. Так было с критиком «Русского вестника» П. Громекой. Этот талантливый публицист обратил на себя внимание читателя статьями, обличавшими произвол попиции. Он хорошо знал разоблачаемую им среду как бывший жандармский офицер. Казалось бы, смелость и объективиость его статей должны были привлечь к нему симпатии в либеральном лагере, но вышло наоборот. Вот как рассказывает об этом Лесков: «Кто-то из Москвы свистнул стихом «Громека мне синий картуз подария». В Петербурге это подхватили с радостью, с восторгом и заколотили на все лады: «А, мол, Громека-то, умник-то, полицию пробирает, а у него с и н и й к а р т у з был». Смейтесь или не смейтесь, а Громека для многих преблагополучно исчез весь с своими статьями. С той поры относиться к их литературным трудам по их существу, а не по картузу их автора, стало якобы неприлично. Оробевшее и смирившееся перед направлением общество уже не вступалось ни за кого, и пошел перекос: в одном журнале кричали: «Бей направо и налево!»; в другом кричали: «Кто не с нами, тот подлец!», и тут уже

«И народам, и царям
Приходилось жутко».

Вот уж действительно деспотизм направления!

Видимо, критиков Громеки побудила к «свисту» не одна лишь зависть к его таланту (хотя, случалось, либералы поколачивали из зависти даже своих). Главной причиной быпа дружба Громеки с Лесковым. Этого «прогрессисты», ненавидевшие и преследовавшие Лескова, не могпи снести. Еще не так давно главный его гонитель Писарев, давая оценку романа писателя «Некуда», вызвавшего гнев радикалов-прогрессистов, закончил эту оценку такими словами: «Меня очень интересуют следующие два вопроса: 1) Найдется ли теперь в России — кроме «Русского вестника» — хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера г. Стебницкого (псевдоним Лескова) и подписанное его фамипией? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами г. Стебницкого».

Это уже не деспотизм. Это — террор целого иаправления, возглавляемого такими радикалами, как Писарев. Бедный Громека повел себя действительно «неосторожно». Его ведь загодя предупредили — не работать в журнале, где печатался Лесков, и тем более (боже упаси!) не дружить с самим Лесковым (хотя дружба эта сложилась ранее угроз Писарева, да и печататься в журнале он начал до истории с романом «Некуда»).

Самого же Лескова «прогрессисты» объявили «отпетым». Писарев заявил, что Лескова «следует обходить с той осторожиостью, с какой благоразумный спутник обходит топкое болото». А роман «Некуда» В. Зайцев назвал «чудищем». Главная «вина» писателя заключалась в том, что он «в памфлетном виде» изобразил нигилистов. Разгневанные нигилисты, чтобы «уничтожить» писателя в глазах публики, пошли на прямую клевету против него. В их статьях содержались прямые намеки на «доносительство», связь Лескова с III отделением. Оперативные товарищи развернули эту кампанию против писателя еще до окончания печатания романа, чтобы оттолкнуть от него читателей. Салтыков-Щедрин, со свойственной ему беспощадностью, предрекал не только гибель репутацин, но и гибель его таланта, о его же романе с издевкой отзывался как об «издепии», недостойном называться романом. Бедный Лесков, поспе всех этих гонений, многие годы не мог устроиться на работу. Чиновники опасались связываться с писателем, которому создали столь дурную репутацию. Пожаловаться же на свою судьбу Лесков мог только друзьям. Он писал, что его преследуют «тупым измором» и «острым терзательством», что часто при одной мысли, что у него нет работы, он обливается холодным потом. Через 12 лет после этих печальных событий он восклицал в одном из писем: «Хоть горшки выносить, только бы было чем детей кормить».

Гоиения переживал не один Лесков. Доставалось и Писемскому, и Мельникову-Печерскому. Много бед обрушилось на голову Достоевского. Примечательно, что время, когда террор либералов особеино набирал силы, называлось «демократией» и «гласностью».

Эта необъявленная война против истинных талантов, потому что именно они представляли народное направление в литературе, продолжалась в 80—90-е годы. Доносительство, политические ярлыки, рассчитанные на уничтожение репутации писателей и журналистов, стали обычным явлением. Так, Чехова либералы величали «нововременцем» — за сотрудничество в журнале Суворина «Новое время». Это были атаки на добрую репутацию писателя, и атаки успешные, потому что журнап «Новое время» весь бып обклеен ярлыками типа «шовинистический», «черносотенный», «антисемитский» и др. Репутация — сила могучая. Перед ней отступил даже Чехов. Во всяком случае, дружба между ним и Сувориным стала прохладнее, и хотя добрые отношения между ними продолжались (незадолго до смерти он просип Суворина писать ему письма «подлиннее»), Чехов предостерегал брата от сотрудничества в «Новом времени». Очевидно, Чехов устал от атак, которые вели на него левые либералы. Увы, в эпоху гласности печать могла позволить себе любые выпады. Критик Скабичевский, который числится в нашей науке по рангу «народнической критики», писап о том, что Чехов когда-нибудь умрет под забором в пьяном виде: Чехов-де пессимист, и в его произведениях отсутствует «какое бы то ни быпо объединяющее идейное начало». Это писал критик, выпустивший два тома критических сочинений. Но этот профессионал, по существу, ставил крест на русской классике. Даже Гоголь, великий мастер сатиры, согласно Скабичевскому, «положительно держался теории чистого искусства».

Столь же решительным в своих приговорах был и его старший соратник в журналистике Михайловский, находивший в произведениях Чехова «беспринципность и равнодушие», называл его «даром пропадающим талантом». Сурово обошелся Михайловский и с Толстым, увидев в его произведениях «антинародную мораль», а в теории Толстого — «рабскую обывательскую трусость и готовность мириться с угнетением».

IV

В том, что подобного рода эксцессы в жизни выдающихся русских писателей стали своего рода роковыми закономериостями, убеждают и судьбы русских писателей советского периода. Сохранив прежние черты идола и деспота, «Направлеиие» узурпирует функции политические, государственные. Уничтожение репутации русских писателей принимает, как правило, зловещие формы и ведет к расправе физической. 20—30-е годы — это террор в питературе. Вначале неписаным приказом объявляется решение «сбросить классиков с парохода современности». Одновременно начинаются зловещие атаки на современных русских писателей. После того как Бухарин выступил против «воспевания русского начала в новой поэзии», объявляются выразителями «кулацкой идеопогии» талантливые крестьянские поэты Клюев, Орешин, Клычков, в печати их называют «стихотворными мертвецами». Еще ранее начались нападки на Есенина. Есть основание предполагать, что травля поэта предшествовала его физическому уничтожению. В 1927 году будут опубликованы «Злые заметки» Бухарина, проникнутые стремлением вытравить даже память о гениальном русском поэте: «Есенинщина — это самое вредное, заспуживающее самого настоящего бичевания явление нашего литературного дня. По есенинщине нужно дать х о р о ш е н ь к и й з а л п». Можно после этого понять, почему были уничтожены все крестьянские поэты.

Все эти годы свирепствовали ярлыки. Писатель, для которого «направленцы» придумали очередной опасный ярлык, чувствовал себя обреченным. Прежде чем уничтожить талантливейшего поэта Павла Васильева, ему наклеили политические ярлыки: «антисоветчик», «антисемит», «хулиган фашистского пошиба». Серьезная угроза нависла над Шолоховым, когда о нем стали писать как о выразителе «кулацкой идеологии» (Лежнев и др.). Романы Леонова квалифицировались как «антисоветские». В духе доноситепьства была написана книжечка Кирпотина «Романы Леонида Леонова».

Кто-то захотел бы объяснить все это сталинизмом, хотя трагическая ситуация в литературе наметилась задолго до прихода к власти Сталина и продолжалась после него. Чего стоит одна лишь беспрецедентная история с Шолоховым. Кому-то надо быпо будоражить общественное мнение вокруг признанного миром великого мастера. Стыдно допустить подобное, но позорные слухи о «литературном воровстве» Шолохова держались до самого последнего времени, пока шведский ученый не доказал с помощью компьютера принадлежность «Тихого Дона» перу Шолохова, заметив при этом, что авторство Шолохова очевидно и без компьютера.

Есть все основания говорить об изначально заданной агрессивной ненависти леволиберального направления к большим талантам, верным традициям национального искусства. Кто в наши дни больше других подвергался критическим атакам, чем представители так называемой «деревенской прозы» Астафьев, Белов, Распутин и др.! И что существенно, литературные наскоки крайних «левых» переходили в политические обвинения. В газете «Московские новости» Татьяна Толстая аттестовала писателя В. Белова как «человеконенавистника» за его роман «Все впереди». Когда же писатель Проскурин выступил против сей «хулиганской» выходки, редакция «Московских новостей» пошла еще дальше, заявив, что произведеиия Белова — «пустота в литературе, особенно звонкая пустота».

К сожалению, тут не только зависть к талаиту писателя, его славе, ибо «левые» перешли от полемики к масштабным обвинениям. И чем крупнее талант, тем беззастенчивей обвинения. Распутина, глубоко выразившего в своих книгах мысли и чувства народа, книжник посмел назвать «лжепатриотом» («КО», 1988, № 45). А эта история с письмами Астафьева, которые адресат, размножив, распространил по всем городам и весям! Случай — невозможный ни в какой другой стране, где существуют законы, охраняющие свободу личности и ее репутацию!

Сейчас создалась опасная ситуация, когда «левые» испопьзуют гласность как побочную обвинительную силу в борьбе с противниками. Тенденциозно-критические выступления при помощи множительиой техники распространяются среди населения. Тотальное наступление против «не своих» поддерживаетcя сплетнями и слухами.

С этой организованной ненавистью мне пришлось столкнуться как доверенному лицу кандидата в депутаты по Волгоградскому национально-территориальному округу Ю. Бондарева. Атаки на него начала центральная пресса: «Огонек», «Советская культура», «Неделя», «Московские новости» и др. Эта кампания была так целенаправленно спланирована, что очернительные материалы выходили и в канун предвыборной кампании и в ходе ее. Экстремисты были достаточно вооружены, чтобы начать беспримерную в истории выборных кампаний войну против бывшего солдата Сталинградской битвы, большого

писателя с мировым именем. Я говорю именно о войне, а не борьбе, ибо борьба предполагает честные приемы. Парадоксальность ситуации была в том, что силу писателя, его заслуги перед литературой и народом «левые» сумели использовать против него. Это удалось им благодаря крючкотворным манипуляциям такими понятиями, как «застой», «государственные премии», «тиражи» и др. Был депутатом Верховного Совета в годы застоя? Это уже становилось поводом для атаки с помощью передержек и подтасовок. Писателю вменили в вину даже тиражи его книг. Но книги Бондарева вошли в золотой фонд советской классики, их тиражирует сам народ.

Полной дезинформацией, рассчитанной на доверчивого читателя, была и шумиха вокруг бывшего редактора «Лит. России» М. Колосова. Все знали, что он низвел еженедельник до уровня захудалой газетенки. Но когда пришло время ухода М. Колосова на пенсию, «Огонек» воспользовался ситуацией, чтобы уязвить Бондарева, который якобы выживал неугодного ему человека. Сейчас, когда при новом редакторе Э. Софонове газета стала яркой, многократно увеличился тираж, версия о «невинно пострадавшем» бывшем ее редакторе отвергнута самой жизнью, но в те дни, когда в «Огоньке» появилось письмо М. Колосова, где было читателю разобраться в истинном положении дел! Тем более что негативы против Бондарева распространялись миллионными тиражами, ими заклеивали столбы на улицах, стены домов, они ходили по рукам. Для атаки на кандидата в депутаты использовались все средства массовой информации. Да и немалые денежные средства.

Расскажу такой случай. В саратовской газете «Заря молодежи» был напечатан репортаж о встрече Бондарева с избирателями в пединституте. Бросилась в глаза ловкая подтасовка: пропуск слов в тексте, несовпадение между вопросом и ответом. И «получилось», будто Бондарев сам признал «справедливую» критику в его адрес за его выступление на 19 партконференции, но из «упорства» продолжал стоять на своем. Первой это искажение заметила секретарь парткома педагогического института Н. Рябинина и, сверив газетный текст с магнитофонной записью, позвонила в редакцию газеты «Коммунист». В свою очередь я попросила сотрудников редакции дать опровержение ошибочной публикации. Но моя просьба была переадресована «Заре молодежи». Конфликт сочли «исчерпанным» — со ссылкой на плюрализм. Хорош плюрализм, допускающий любую подтасовку! Помимо прямого искажения текста, газета напрочь отсекла вопросы по программе Ю. Бондарева, хотя на той же полосе рядом был помещен пространный разговор о программе второго кандидата, А. Киселева. Случайность? Слишком много было таких «случайностей»! Мне пришлось выдержать упорное и очень сердитое сопротивление работников Саратовского гостелерадио, чтобы они согласились все же включить в текст выступления Бондарева вопросы по его программе, а не случайные и весьма сомнительные. Я спросила: «Почему вы так агрессивны?» Господи! Вечное «почему?».

Как тут не вспомнить о терроре либералов века минувшего! И как это страшно, что террор этот ужесточился начиная с 20-х годов века нынешнего. Менялись его формы. Террор мог смягчаться, оставаясь, однако, террором. Во время предвыборной кампании мне случалось не раз слышать, что избиратели, поддерживавшие Бондарева, вынуждены были скрывать это от начальства или, как выразился преподаватель одного вуза — «закрываться», чтобы под тем или иным предлогом не было неприятностей на службе.

Легко представить себе, какие масштабы может принять подобный террор в будущем, если учесть, что средства массовой информации преимущественно в руках «левых». Случай с Бондаревым — очевидное тому свидетельство. И случай этот заслуживает внимания как узловая драма времени. Если страдает большой талант, проигрывает весь народ. Не слишком ли дорого обходятся нам подобные «накладки»! Ведь ближайшая цель подобного рода «кампаний» — ослабить (хотя бы на время) действенную силу слова писателя — гражданина.

И снова приходят на ум исторические параллели. Как в веке минувшем особенному преследованию со стороны «левых» либералов подвергались Лесков и Достоевский за свои выступления против них, так и Бондарев повторил их судьбу — после открытого и смелого выступления в печати и на 19 партконференции против экстремистов. Писатель предупредил, что разрушительно-тоталитарный характер деятельности лжедемократов приведет нас к пропасти, над которой уже зажжен «украденный у справедливости и правды фонарь гласности». На конференции он не менее остро поставил вопрос о необходимости надежной посадочной площадки для «самолета» перестройки.

Как же набросились на него за это лжеправдолюбцы, обвинив его чуть ли не в «антиперестроечных настроениях». А что мы видим сегодня? Писатель предупредил об опасности экстремизма, а сейчас об этой опасности пишут все газеты. Сработало и предупреждение писателя о том, что не определены цели перестройки — о «посадочной площадке». Сколько резких правдивых слов, подтверждающих опасения Ю. Бондарева, услышали мы с трибуны Съезда народных депутатов! Однако «левая» печать продолжает недостойные выходки против него. «Прошелся» по Бондареву на страницах мало читаемой «Литературной Костромы» и критик И. Дедков. Ну ладно бы высказывал суждения о книгах его, нет, Дедкову надо уязвить самолюбие писателя. Очевидно, он так и не понял, что унизил прежде всего самого себя, когда написал: «Поражение под Сталинградом, которое потерпел писатель Ю. Бондарев (я имею в виду выборы в народные депутаты), показывает, что русская провинция не так темна, как на это рассчитывают».

Сказать так о солдате Сталинградской битвы мог только человек, которому незнакомо чувство гордости за отечественную культуру. А какова унизительная фраза о русской провинции, которая, коли проголосовала, как угодно Дедкову, «не так темна». Очевидно, на эту «бедную» провинцию и рассчитаны подобные издания.

V

Позиция «левых», выступающих под лозунгами экстремизма, не была бы столь агрессивной, если бы в основе ее не лежала идея разрушения, столь памятная нам по выступлениям нигилиствующих либералов XIX в. Сейчас эта идея обнаруживает себя в разжигании национальных страстей, в подрыве экономики, культуры. Кому это нужно? Сошлюсь на верное и тонкое наблюдение Д. Урнова: «У меня горькие чувства вызывают многие выступления наших деятелей культуры, писателей, критикующих и власть, и союз писателей, призывая к его упразднению. Ощущение такое, что люди, все получившие от данного порядка вещей, хотели бы *еще получить от его разрушения*».

Но что могут получить экстремисты от разрушения, если агрессия их нацелена на самые основы жизнедеятельности народа!.. Они уже «получили» подорванную экономику, резкое понижение культурного и нравственного уровня народа, больную природу. И еще русофобию, имеющую самое непосредственное отношение ко всем этим бедам. Хорошо, что о русофобии стали нынче и писать и говорить открыто. Сошлюсь на замечательную статью И. Шафаревича «Русофобия» («Наш современник», 1989, № 6), вскрывающую исторические корни русофобии. К проблеме этой еще не раз вернутся, богатые материалы для размышления о ней дает, кстати, «История...» Карамзина.

Но что любопытно, «левые» и тут пристроились. Они, кажется, тоже начинают разоблачать русофобию. Любопытно, *как* они это делают. Некий книжник видит корни русофобии в переменах, начавшихся при Сталине («КО», 1989, 14 апреля). Он убежден, что и обратный поворот может осуществиться лишь на основе космополитизма, который якобы присущ любой культуре вообще, а в России был «особенно стоек», и лишь «великодержавный шовинизм» подрывал его основы. Словом, начал критик с осуждения русофобии, а закончил утверждением обязательности для России космополитизма. Но как ни верти, а русофобия и космополитизм — явления одного плана. У космополита нет родины, как и у русофоба. Вот что мы читаем в словаре иностранных слов: «Космополитизм — отрицание патриотизма под лозунгом: «Человек — гражданин мира». И русофобия и космополитизм враждебны патриотизму, всегда национальному по сущности своей. Так оно и прежде было. Недаром же великие русские писатели вели самую непримиримую борьбу и с русофобией и с космополитизмом. И не показал ли Достоевский в романе «Бесы» трагедию «гражданина мира» Ставрогина? Отрыв от родной почвы, исповедание космополитической веры гибельны для личности, независимо от того, к какой национальности принадлежит эта личность. Посмотрите «Дневник» Достоевского, его рабочие тетради («Неизданный Достоевский»). Сколько там неустанной борьбы с космополитическими затеями.

Иными словами, космополитизм — это синоним русофобии. И не надо делать вид, что отрицание космополитизма ведет к национальной замкнутости. Чем самобытнее национальная культура, тем разнообразнее ее связи с миром, тем органичнее вбирает она достижения мирового опыта. Но при чем тут космополитизм? Есть все основания думать, что заигрывания на тему «мирового гражданства» и мировых связей приведут к серьезным просчетам и в области экономики. Сейчас стало модным говорить об экстраполяции западного опыта, то есть распространении чужих форм на собственные национальные основы жизни.

Увы, все это уже было в XIX веке. И тот же Достоевский израсходовал немало чернил, чтобы доказать: нет лучшего способа разрушить собственное хозяйство, чем соблазниться заморскими методами. Вспомним также, что еще Пушкин осмеял западнические затеи помещика Муромского, вконец его разорившие. И вот остроумное резюме: «Но на чужой манер хлеб русский не родится».

Никто не говорит, что зазорно изучать чужой опыт. Зазорна рабская переимчивость. Ревнители западных достижений уж очень торопятся охаять свое, национальное. А между тем те же успехи Японии объясняются именно бережным отношением к национальной модели экономического развития страны. У нас же эту модель разрушили, а сейчас охаивают ее. И в этом случае даже реанимация разрушенного полезнее подражания чужим образцам. Здесь требуются и оглядка на прошлое, где оставлено в забвении много разумного и полезного, и прорыв в будущее. Но только не позорное бегство с поля битвы.

Что же касается космополитов (убежденных, воинствующих), то у них нет кредита и на Западе, перед которым они так преклоняются. Пока живут в нашей стране, они — «сторонники» перестройки. Выехали на Запад и уже вещают в какой-нибудь газетенке об «ужасах» социализма, а перестройку называют «блефом». Об этом свидетельствует, в частности, одно письмо из-за рубежа, написанное в «Книжное обозрение» Сашей Арсантовым (№ 28 от 14 июля 1989 г.): «Думаю, не будет преувеличением сказать, что именно этим немногочисленным людям эмигрантская печать и обязана своим нынешним разложением и маразматическим состоянием. Не та же ли участь ожидает «Огонек», «Московские новости» и «Книжное обозрение», а вместе с ними и всю перестройку, если у их руля станут те, кого вы сейчас взялись защищать... Не боитесь?»

Вопрос этот адресован критикессе

«Огонька», которая защищает людей, «перестроившихся», а точнее, постоянно перестраивающихся в целях личной карьеры. Скажем, до 1953 года человек был обожателем Сталина, после 56-го борцом против культа личности, потом шел «ленинским курсом» против волюнтаризма, «а теперь снова «перестроился» и стал бороться за перестройку». В словах критикессы, выдающей такого человека за героя перестройки, автор письма видит «не просто случайную неправду, а бесспорно заведомую и совершенно злокачественную ложь».

Это письмо из-за рубежа вызывает чувство глубокого уважения, так как в основе его лежат бесспорные нравственные принципы: строгая беспристрастная оценка фактов и нелицеприятная искренность. Мы узнаем, как честные люди на Западе оценивают наших горе-эмигрантов. А главное, письмо оставляет чувство надежды на диалог с людьми иначе мыслящими по вопросам самым щекотливым. Заканчивается письмо просьбой, чтобы оно было напечатано если не в либеральном издании, то хотя бы в «Нашем современнике»: «Будет, кстати, довольно пикантно, если статья израильтянина будет впервые напечатана в СССР именно в этом «охранительном» органе».

Я думаю, что Саша Арсентов, корреспондент «Книжного обозрения», не ошибся, выразив надежду на публикацию его письма в журнале не-либеральном. Диалог с людьми инакомыслящими, но честными позволит лишний раз остановиться на больных вопросах времени. И слава богу, что у нас еще есть «охранительные» журналы. Значит, у нас есть, *что* охранять.

VI

Начав этот воображаемый диалог с автором письма из-за рубежа, я подошла к главному, ради чего и была задумана эта статья. Мы живем в такое больное взрывоопасное время, что необходимость диалога по всем спорным вопросам ощущается, кажется, всеми. Но все ли захотят поступиться привычными стереотипами мыслей, чувствований, привычек? Однако необходимость договоренности ощущается, хочу надеяться, всеми. Для начала — хотя бы правильная постановка вопросов или хотя бы попытки обоюдного внимания к наболевшим сюжетам. Я понимаю, что тема эта драматическая, и на пути ее возможны всякие неудачи. И все же... У П. Палиевского есть верное наблюдение о людях, которые ничего так не боятся, как понимания. Конфронтация, преследования радуют их, и только понимание представляет для них реальную опасность. Поэтому никаких средств эти люди не пожалеют, чтобы подавить, уничтожить точку, откуда исходит понимание. «И, наконец, если пониманию удается все же пробиться, хула на него вдруг сменяется безудержной хвалой, которая, окружив понимание плотным кольцом, не выдает его никому иначе, как в своем растворе и из своего стакана» («ЛГ» от 28 июня 1989).

Учитывая все эти сложности, необходимо, очевидно, выработать правила диалога. Пришло время если не примирения, то изучения друг друга. Людям надо договориться до правды. Пропущены все сроки. Пора со всей откровенностью сказать, что подобные «манипуляции» с пониманием — признак нашей несвободы. Наум Коржавин тонко заметил, что свобода от властей еще не означает свободы абсолютной. Существует еще и зависимость от направлений и несвобода от групповых пристрастий. И сейчас нет ничего важнее задачи преодоления «направленческих» крайностей. Нужен диалог противоборствующих сил с участием в этом диалоге широкого читателя.

Определим для начала неотложные проблемы.

Первое. Необходимо снять «хрестоматийный глянец» с направлений и имен минувшего века. Почему у нас до сих пор ходят в «передовых» критики, шельмовавшие таких гениев, как Пушкин, Лесков, Достоевский? Правомерно ли называть передовым критиком Н. Михайловского, глумившегося над Чеховым? Ведь речь идет не просто о критике, пусть даже резкой, но именно о глумлении. Пора, видимо, избавиться от крайностей. Исторические имена у нас или захваливают, или заругивают. Почему у нас не говорят всей правды о декабристе Пестеле, который сек крепостных, или о Чаадаеве, который «высек» русскую историю? И кстати, почему не включен в литературный обиход Ответ Д. Давыдова на письмо к нему Пушкина, спрашивавшего: «Что за человек, Чаадаев?», почему замалчивается открытое письмо Чаадаева Вяземскому? Чтобы справиться с русофобией, надо начать с прошлого. Надо обратить наконец внимание на опасность глумления над талантами — как минувшего века, так и в наши дни.

Славные имена во все эпохи вызывали ненависть и зависть лакеев прогресса. Когда критик ищет, как бы унизить, уязвить русского писателя,— это, как ни крути, аномалия, неизлечимый изъян ума и сердца. Вспомним слова друга Белинского Н. Станкевича, который видел в понимании не только высшее проявление образованности, но и саму образованность. Точную характеристику людей полукультуры дал еще Станиславский более полувека назад: «Большинство театров и их деятелей— не русские люди, *не имеющие* в своей душе зерен русской творческой культуры».

Отсутствие «зерен русской творческой культуры» во всех так называемых культурных акциях, отсутствие национального, а значит, и творческого начала, непонимание души народной, отчуждение от нравственных и эстетических нужд народа — вот что стало в наши дни сущим бедствием. Нечего и говорить, что со времени Станиславского критическое положение усугубилось, особенно в театре и кинематографе. Удивительно ли, что кинозалы и театры пустуют. Бедность содержания, отсутствие эмоциональной заразительности и сердечной простоты, что всегда отличало подлинное искусство, нельзя «компенсировать» стриптизом и сексом. О том же, что творят с музыкой и с песней, нечего и говорить. Люди чаще «выключают» такую музыку, чем слушают ее. А ведь еще древнекитайский мудрец Конфуций говорил: «Покажите мне, что поет народ, и я скажу, как народ управляется и какова его нравственность».

Вопрос о засилье полукультуры заслуживает особого диалога между представителями разных направлений — перед широким читателем и с участием широкого читателя. Но именно *обоюдного*, а не по типу принятого на телевидении «круглого стола», когда лидирует одно направление. Помню «круглый стол» с участием Бондарчука. Художник с мировым именем, он был в полном одиночестве, без единомышленников. Диалога не могло получиться. Ему разрешили сказать несколько слов, но так и чувствовалось: человек в изоляции. А ведь это видный представитель национального искусства.

Если вдуматься в то, что происходит, то на ум приходит одно парадоксальное наблюдение. При деспотизме одной стороны, одного направления даже самые честные и мудрые представители этого направления попадают в зависимость от самых неумных, но самых энергичных. Торжествуют агрессия и пошлость. И нужно видеть всю меру сложившейся опасности, чтобы прорвать этот заколдованный круг.

О, как мудро пророчил Достоевский: «Явится пресса, а не литература». Но размеры зла, творимого этой «прессой», и в тоталитарные годы и в наши дни стали очевидными лишь ныне. Разумеется, понимание опасности несколько уменьшает ее, но не снимает. Зло активнее добра. И сейчас на уме каждого мыслящего человека один вопрос: «Что же еще спасет нас?» Взор невольно обращается к религии, к *соединяющему* людей началу. Целое тысячелетие православие было той живительной почвой, которая питала нравственную и духовную силу народа. И когда церковь была, по существу, под запретом, народ в массе своей продолжал исповедовать православие. Даже люди, считающие себя атеистами, в душе оставались православными. Достоевский имел все основания сказать: «Кто не понимает православия, тот никогда ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского народа».

Чем можно объяснить такую, казалось бы, категоричность? Великий русский писатель глубоко понимал, что православие самим народом *призвано*. Смысл основной идеи православия заключался не в господстве над другими, а в служении людям. Но это отвечало складу души русских людей. «*Наше назначение быть другом народов*, служить им. *Тем самым мы наиболее русские. Все души народов совокупить в себе*... Мы настолько же русские, насколько и европейцы, всемирность и общечеловечность — вот назначение России».

Из этих особенностей русского народа Достоевский выводил и национальный вопрос. Он считал, что чем сильнее мы развиваемся в национальном русском духе, тем сильнее отзовемся в европейской душе. Поэтому нам незачем бояться «славянщины», «национальности», ибо «мы в высшей степени породнимся с Европой, именно когда станем национальными и перестанем скитаться по Европе международными межеумками без уважения».

* * *

Мы только теперь обнаруживаем истоки событий и явлений, смысл которых был закрыт от нас в течение ряда десятилетий. И. Шафаревич в глубокой статье «Две дороги — к одному обрыву» раскрыл связь и своеобразную синхронность двух вроде бы чуждых политических систем, разделенных железным занавесом («Новый мир», 1989, № 7). Казалось бы, парадоксально звучит вывод автора о наличии «какой-то духовной близости, каких-то существенных общих черт командной системы и западного либерального течения прогресса». Имеются в виду сталинский режим и буржуазная демократия. В той и другой системе технологическая цивилизация пришла на смену крестьянской. В той и другой человек должен был отказаться от своих требований к жизни и подчиниться логике техники. Человеческая индивидуальность все больше вытеснялась «индивидуальностью» предприятий и трестов, ценность человеческой жизни низводилась до «винтика» и т. д.

Неудивительно, что «у западных либералов существовала симпатия к сталинской командной системе». Эта близость двух систем, как отмечает автор, имеет исторические корни. «Именно либералы снабдили террористов мировоззрением». Можно ли удивляться, что «западные либералы полностью игнорировали все зверства сталинского режима, бывшего для них лишь «блистательным историческим экспериментом»!

Обращаясь к нашим дням, И. Шафаревич отмечает актуальность опытов прошлого, но актуальность не в смысле «конструирования» планов на будущее — от обратного, ибо история — это «не одномерный процесс». Поэтому автор как бы предостерегает современных теоретиков от жесткой дилеммы: либо возврат к командной системе, либо максимальное приближение к западному образцу. «Запад болен всего лишь другой формой болезни, от которой мы хотим излечиться. Оба пути ведут к одной социально-экологической катастрофе и даже помогают в этом друг другу». Перед нами стоит задача искать свой путь, чуждый каким бы то ни было заранее заданным схемам. Это убедительно продемонстрировал минувший Съезд народных депутатов. Много было высказано далеко не бесспорного, но в общем балансе противоречивых суждений лидировал все же

здравый смысл. Существенно, однако, что в минувших дебатах обнаружился тот водораздел между партиями, истоки которого теряются в минувших десятилетиях. Речь идет о той группе депутатов, которая, выступая против тоталитаризма, навязывала Съезду западные образцы демократии и делала это тоталитарными методами. Были все основания видеть в этих атаках «решительных людей» борьбу за власть, стремление выдвинуть своего лидера.

Некоторые теоретики, обобщая политическую ситуацию в стране, депают далеко идущие выводы. А. Мигранян пишет: «Сегодня феномен Ельцина заставляет политическую систему модифицироваться таким образом, чтобы преодолеть паралич власти и консолидироваться вокруг лидера. Нельзя упускать из виду, что если этого не произойдет, то дальнейшее ухудшение общего положения в стране еще больше расширит круг «решительных пюдей», которые готовы будут поддержать пюбого лидера, еспи тот пообещает систему простых, быстрых и эффективных решений под лозунгом социальной справедливости. Подобные лидеры не смогут модернизировать систему, они смогут ее только разрушить». Автор статьи делает убедительный вывод, что ставка на перераспределение имеющихся благ — «тупиковый путь в грядущее новое рабство. Очень скоро оказывается, что уже нечего перераспределять. А дальше... террор, репрессии». Что и говорить, картина мрачная, но она нуждается в комментариях. Нельзя допустить, чтобы народ не видел опасности экстремизма. Слишком тяжелой ценой заплатил он за эксперименты подобного рода. Да и можно ли рассчитать по линейке то, что происходит или произойдет в душе народной? И неизбежно просчитается тот, кто рассчитывает на эту «линейку».

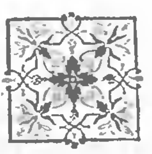
Между тем у нас все больше появляется любителей спрогнозировать будущее на основе простого расчета, элементарной альтернативы.

О. Попцов в статье «Кремлевские каникулы» («ЛГ» от 6 сентября 1989) видит выход из экономического кризиса в том, чтобы в «руководящее ядро партии» ввести интеллектуалов, способных оценить «дерзкие мысли» научной элиты. Но не в том разве беда, что у нас слишком даже переоценили «дерзкие» прожекты, которые оказались губительными для страны. Уничтожили памятники прошлого, снесли деревни, растранжирили миллиарды на пустые начинания. Едва не приступили к переброске вод северных рек. Куда уж «дерзновеннее»! Беда в другом: у нас никто не отвечает за «научный» брак. Не было еще такого случая. И причина этого — в неуважении к народу, в том, что народ наш еще не стал реальной правящей силой. И автор статьи «Кремлевские каникулы», кажется, солидарен со сложившимся в стране положением, ибо заявляет: «Не обманем себя криками: оттирают рабочий класс, не замечают крестьянство». Но ведь так оно и было. И выборы в Верховный Совет подтвердили это. Тот народ, который экстремисты окрестили «агрессивным большинством», и есть та сила, с которой им придется считаться. Вызовом звучащие слова: «Давайте поможем ему (правительству) найти беспартийных депутатов» — не более чем демагогический трюк. И уже в явном противоречии с заявлением шахтеров о том, что они верят в перестройку, автор пишет: «Не идеи перестройки вывели людей на площадь, а неверие, что эти идеи реальны».

Названная статья огорчает какой-то нигилистической эйфорией, так напоминающей радикально-либеральную прессу 19 века. В статье нет боли за наши беды, одно лишь желание «с подъемом» констатировать их и с высоты поучать «неразумных». У В. В. Розанова есть замечательное выражение о том, что боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни, поэтому философия никогда не победит религию. Здесь для меня боль как сострадание нуждам и бедам человека. Именно это составляет характерную черту национального самосознания народа.

Нет никаких оснований думать, что инициативу у народа и его лидеров перехватили «радикально настроенные группы», как это думают некоторые критики. У нас, слава богу, есть историческая память, как ни старались ее уничтожить, есть богатая «экспериментами» история. И радикалы играли в ней столь мрачную роль, что народ не может пойти у них на поводу.

Разумеется, никто не может быть застрахован от повторения ошибок. Поэтому и необходим широкий диалог как путь к примирению противоборствующих партий. Для этого и необходимо выявить всю меру угрожающей людям опасности. Нельзя сбрасывать со счетов чувство самосохранения как связующего звена между людьми. «Если сосед твой горит, беда и тебе угрожает». Проста и убедительна мудрость этих слов Горация. Может быть, эта мудрость и спасет мир, ибо мудрость — это разум народа.



Из нашей почты

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ

С глубоким вниманием слушала я слова Егора Яковлева (телефильм «Дети XX съезда») о том, что он не понимает своих детей — сына и дочь, ушедших из журналистики в кооперативы. Полностью разделяю это непонимание, поскольку имела деловые отношения с его дочерью, председателем информационного агентства «Семья и младенец».

Я не понимаю, как у Александры Яковлевой хватило совести пообещать мне заключить договор на определенных условиях, а получив пакеты информации, забыть о договоре и заплатить копейки. Ее не остановило даже то, что по возрасту я гожусь ей в матери...

Я не понимаю, почему дочь Егора Яковлева и ее муж — зам. председателя агентства (тоже, кстати, из бывших журналистов: перешел в кооператив жены из редакции газеты «Известия») установили такие высокие цены на мои пакеты информации без моего, разумеется, ведома. Они продали, вероятно, не одну сотню пакетов, а расходы возместили уже после продажи в двадцати экземплярах. При таком соотношении доходов и расходов «зарплата» каждого из супругов должна составлять не менее 1,5 — 2 тысяч рублей в месяц.

Вот так одна молодая семья помогает сотням других молодых семей воспитывать детей...

Но честно говоря, не эти причины заставили меня написать письмо в редакцию (при такой жадности к деньгам агентству, я считаю, все равно долго не жить). Меня рассмешила плохо замаскированная реклама, которую Егор Яковлев сделал своим детям. Помните? «...Я не понимаю своих детей... сына, председателя кооператива «Факт»... дочь, кооператив которой готовит пакеты информации для молодых мам...» Спешите, как говорится, пользоваться. Не спешите, товарищи!

В. ОВСЯННИКОВА.

P. S. Пакеты информации, которые я перевела с корейского, — это рецепты классической восточной (тибетской) медицины для матери, для ребенка, от простуды. Могу выслать их кооперативам, которые обязуются продавать их по цене, соотносимой с реальными расходами.

* * *

Редакция журнала ознакомила меня с письмом В. Овсянниковой как раз в те дни, когда на сессии Верховного Совета СССР обсуждался вопрос о возможности или недопустимости участия в кооперативах должностных лиц, прямо или косвенно контролирующих кооперативное движение. И в этой связи огорчение главного редактора «Московских новостей» Е. Яковлева тем, что его дети подались в кооператоры, приобретает оттенок не только сугубо родительских сожалений. Ведь хорошо известно, что газета «Московские новости» неравнодушна к судьбам кооперации, более того, именно она является главным рупором кооператоров, неотступно, даже яростно защищает их интересы. Разумеется, по нынешним, плюралистическим временам ничего удивительного, а уж тем более предосудительного в такой линии нет, газета вправе занимать определенную позицию. И вопрос заключается совсем в другом: каковы ее социальные корни? Что в основе такой позиции: истинно гражданские чувства или же отзвуки личного интереса?

Вот в этой-то связи и не могут не привлекать внимания родительские огорчения Е. Яковлева.

Недавно «Московские новости» в очередной раз пожаловались, что пресса открыла по кооператорам огонь из всех калибров, и в качестве курьеза процитировали одного из народных депутатов СССР, который заявил, будто бы «нити, организующие новую советскую кооперацию, ведут в Вашингтон». Тут я полностью согласен с «Московскими новостями», такое заявление не только не соответствует истине, но и звучит весьма обидно для американцев. Именно в Вашингтоне мне довелось услышать резкую критику нашего кооперативного движения.

Помнится, один из учредителей миротворческой общественной организации «Вашингтон — Москва: обмен граждан столиц» госпожа Фрице Коэн рассказала мне такую историю. Американские предприниматели средней руки получили предложение от московского посреднического кооператива провести обмен... поварами: группа кулинаров из США прибудет в советскую столицу, а в Америку отправятся повара из наших кооперативных кафе и шашлычных. Тут надо сказать, что заокеанские коки — народ темный и наивный, они трудятся с утра до ночи в своих горячих цехах, честно и не без труда «вытягивая» на жизненные стандарты среднего американца, им и в голову не могло прийти, что их советские кооперативные коллеги, работающие в условиях продуктового дефицита, принадлежат ныне к наиболее состоятельному слою общества. Но так или иначе, а договор состоялся, и делегация кулинаров-кооператоров прибыла в США.

Американцы приняли их сердечно, показали свою страну, — в общем, первая часть договора была выполнена неукоснительно, и настало время ответного визита.

Но тут, увы, произошла осечка. Поваров из США в Москве встретили очень плохо, гостиницы для них не нашлось, они ютились по частным квартирам и вернулись домой разочарованными, зареклись

впредь связываться с советскими кооператорами. Госпожа Фрице Коэн, владелица маленького частного отеля в самом центре Вашингтона, который славится кухней из «чистых» продуктов, удивленно говорила:

— Мы, в Америке, не понимаем, как работают ваши кооперативы. Наших поваров встретили отвратительно... Но самое интересное было потом!

И показала апрельский номер журнала «Тайм» (1989 г.), посвященный СССР. Раскрыв 82-ю страницу, воскликнула:

— Вот этот кооператив! Здесь опубликовано интервью с его председателем, где сказано, что он зарабатывает 1500 рублей в месяц, шикарно одевается и посещает лучшие рестораны. За что ему платят такие большие деньги? — удивленно спрашивала госпожа Коэн. — Ведь этот кооператив так плохо работает, наши повара лично убедились в этом!

Тот номер «Тайм» я привез в Москву. В нем действительно есть интервью с бывшим журналистом, 30-летним председателем посреднического кооператива «Факт» Владимиром Яковлевым — Владимиром Егоровичем Яковлевым, сыном главного редактора «Московских новостей».

В сегодняшних условиях прямая семейная причастность главного редактора «Московских новостей» к посредическому кооперативному бизнесу — это уже далеко не личное дело Яковлевых. Чем, собственно говоря, такая «расстановка кадров» отличается от кумовства брежневских лет? На сессии Верховного Совета депутат А. Собчак заявил, что в системе внешнеэкономических связей много «высокопоставленных» родственников, и это послужило причиной неутверждения А. Каменцева зампредом Совмина. А тут, в «неформальной», но тоже внешнеэкономической системе трудятся бок о бок отец и сын — и ничего! Причем для поддержки кооперативного дела, где преуспевает сын, используется на всю мощь газета, находящаяся в руках отца.

Как все это согласуется с общественной моралью, с очистительным климатом перестройки? С лозунгами об отмеие привилегий, провозглашаемыми «МН»? Нравственно ли это? Нет ли тут все-таки прямого использования служебного положения в личных целях и семейственности — на новый, «перестроечный» лад? Хотя папе и не нравится увлечение сына...

Как вообще воспринимать теперь позицию «МН», которые добиваются «социальной справедливости» для богатых и допытываются у зампреда Внешэкономбанка СССР:

— У некоторых людей скопилось много денег. Может, имеет смысл обменивать им рубли на валюту не по официальному, а по реальному курсу?

О ком же пекутся здесь «Московские новости»? Уж не о таких ли, как председатель кооператива «Факт»? Кстати насчет «смысла», который выискивает корреспондент «МН», то ему ответила газета «Правда», написавшая о ситуации в Польше: «Полгода назад в стране был разрешен свободный обмен валюты, отчасти во имя укрепления курса национальных денег, сдерживания инфляционных процессов. Увы, обмен получился «односторонним»: в обменные пункты, в банки ринулись люди с толстыми пакетами злотовых банкнот с намерением превратить их пусть даже в тоненькие стопки долларов. Цены на продукты питания, промтовары, на бытовые услуги, на газеты, на проезд в общественном транспорте, плата за жилье — подскочили в полтора-два, в три раза!»

О ком же, повторяю, пекутся «Московские новости», подталкивающие к такому катастрофическому развитию событий?

Судьба детей — главная родительская забота. И если уж так случилось, что в наше строгое, взыскательное время да в такой острой, очень спорной сфере, как кооперация, пересеклись пути отца и сына— главного редактора популярной газеты, яростно защищающей интересы тех, «кто хочет и может», и подающего надежды молодого кооператора, — старшему надо бы посторониться, это был бы благородный шаг. Сегодня репутация политического деятеля должна быть безукоризненной, безупречиой. В противном случае он теряет моральное право выражать общественное мнение, ибо вольно или невольно оказывается во власти личных, семейных пристрастий.

Анатолий САЛУЦКИЙ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НУЖДАХ НАРОДА!

Мы, трудящиеся завода «Серп и молот», заявляем о нетерпимости создавшегося в стране положения, угрозе выдвинутым партией идеям перестройки. Выражая поддержку обновлению жизни страны, развитию демократизации и гласности, мы не можем не замечать, что определенные силы пытаются деформировать перестройку, открыто выдвигают предложения антисоциалистического толка, стремятся ввергнуть нас в пучину трудностей.

Мы заявляем: перестройка — это прежде всего дело самих трудящихся, успех ее решается в трудовых коллективах. Вот почему мы осознаем особую ответственность за судьбу Родины.

Мы поддерживаем решения VI пленума ВЦСПС против роста цен, дефицита товаров, снижеиия уровня жизни, об извращениях в кооперативном движении. В стране создалась обстановка, когда пышным цветом расцветает спекуляция, растет преступность, в трудовых коллективах обострилось недовольство кооперативами, которые наживаются за счет трудящихся — такие кооперативы нам не нужны.

Наши сердца переполнены тревогой за будущее поколение страны. Дети, подростки воспитываются в неблагоприятной для них атмосфере, повседневно узнавая из прессы, телевидения и радио о зверских преступлениях. Почему Закон не защищает нас в полной мере? Почему матери живут в постоянной тревоге? Почему, говоря о гуманности, имеется в виду только гуманность по отношению к преступникам? Мы требуем решительных мер по укреплению правопорядка в стране, ликвидации преступности! Необходимо ужесточение мер к злостным правонарушителям.

Мы за социальную справедливость, за то, чтобы не забывался главный принцип социализма «Каждому — по труду!». Но вместе с тем заявляем: нельзя только на плечи трудящихся взваливать ответственность за кризисное положение в стране, когда одновременно усиливается «теневая» экономика, в открытую отмываются грязные деньги, рождаются легальные миллионеры. Мы за справедливую денежную реформу. Согласны с тем, чтобы по каждому паспорту обменивать по десять тысяч рублей. Пусть те, у кого этих тысяч больше, докажут их трудовое происхождение. Нельзя допускать, чтобы лозунг правового государства стал прикрытием власти людей с нечестными тугими кошельками: восемьюдесятью процентами накоплений владеют только три процента населения, и социальное расслоение продолжается.

Сегодняшние миллионеры рвутся к власти. Мы заявляем: этому не бывать! Мы не допустим, чтобы рабочий класс, трудовая интеллигенция оказались в меньшинстве в Советах. Вспомним ленинское положение о том, что первичной избирательной единицей и основной ячейкой государственного строительства является при Советской власти не территориальный округ, а экономическая производственная единица (завод, фабрика).

Мы поддерживаем предложения ВЦСПС, собраний трудящихся Ленинграда, Москвы о внесении в Закон о выборах в местные Советы положения о выборах не только по территориальным, но и производственным округам. Мы за лозунг «Вся власть — Советам трудящихся!».

Мы настаиваем на пересмотре Верховным Советом СССР постановления о налогообложении государственных предприятий, ставящего многие трудовые коллективы в безвыходное положение. Как известно, предприятия по этому постановлению должны выплачивать в госбюджет прогрессивный налог с прироста средств, направленных на оплату труда, составляющих более 3 процентов.

Такое налогообложение замораживает рост заработной платы на уровне этих 3 процентов, ведет к замедлению роста объемов производства, подрывает заинтересованность трудовых коллективов в снижении себестоимости продукции. Кроме того, эта система налогообложения не учитывает роста объемов производства, предусмотренных планами предприятий, которые были разработаны еще в конце 1988 года. Это вдвойне затрудняет положение предприятий. Если предприятие расторгнет ранее заключенные договоры, то вынуждено будет платить штраф, если выполнит повышенные планы и обязательства — будет платить налог, который, как правило, превышает прирост оплаты труда.

Вновь предложенная система налогообложения сводит на нет основные принципы хозрасчета, не обеспечивает сохранения за трудовыми коллективами прав, определяемых Законом о государственном предприятии.

Мы надеемся, что Верховный Совет СССР с глубоким пониманием отнесется к создавшейся ситуации и примет решение об отмене постановления о налогообложении государственных предприятий. Налоги должны учитывать реальный уровень инфляции, рост цен.

Мы обращаемся с призывом к Верховному Совету СССР в кратчайшие сроки принять закон, создающий равные условия для деятельности государственных предприятий и кооперативов.

Наш наказ народным депутатам: активнее защищать интересы народа! Требуем ввести поименное голосование по принимаемым Верховным Советом СССР законам, чтобы знать позицию каждого депутата.

Мы обращаемся ко всем советским людям, кому дорого дело социализма, сила наша — в укреплении единства всех народов, в социалистическом интернационализме. Защитим делом идеи перестройки, используем шанс, который дает нам перестройка, в интересах и на благо трудящихся!

Резолюция принята на митинге трудового коллектива московского металлургического завода «Серп и молот» в поддержку решений VI пленума ВЦСПС.

МЫ ТРЕБУЕМ ИЗВИНИТЬСЯ

Нам, русскому народу, нанесено публичное оскорбление. В недавнем своем «актуальном» интервью академик Абалкин назвал русский народ ленивым. И леность русского народа вызывает у т. Абалкина сомнение в успехе экономической реформы и перестройки в целом.

Нам трудно представить, какой совокупностью академических знаний нужно обладать, чтобы назвать великий народ, создавший уникальную культуру, имеющий многотрудную и многотысячелетнюю историю за плечами, ленивым? Нам непонятно, как лень народа могла поднять из разрухи гражданской войны хозяйство, создать мощную экономику и первоклассную технику, с помощью которой народ-лентяй переломил хребет фашизму? Нам непонятно, как после страшной войны страна, залитая горем и слезами вдов и сирот, опираясь на свою леность, смогла противостоять сверхсильной и сверхбогатой Америке, да еще ухитриться обойти ее в космосе. Да при всем при этом на плечи народа, не без помощи сомнительных академиков, сваливались великие

стройки века, которые в конце концов оборачивались пустой тратой неимоверных сил народа.

И вот теперь, когда бесконечно уставший народ не в силах тащить непомерно перегруженный воз «мировых революций», сповоблудия, бессмысленных строек и изощренного геноцида, когда народ начал задумываться о своей судьбе, его объявляют лентяем на весь Союз, на весь мир. А разве не был академик Абалкин в числе тех, кто привносит в нашу экономическую жизнь новации, позволяющие целому слою людей получать премии до 99 окладов (как заявил Председатель Совета Министров СССР т. Рыжков — «не до конца продуманные решения»)? А такие ли уж это непродуманные решения? Ни этот ли слой верноподданнически обслуживает Абалкин и, понимая неизбежный провал этой политики, заранее все пытается свалить на лень русского народа?

Мы, делегаты профсоюзной конференции производственного объединения «Оренбургоблгаз», призываем народных депутатов СССР от профсоюзов, используя трибуну Верховного Совета СССР, потребовать от академика Абалкина **публичного извинения перед русским народом.**

Нам, русскому народу, не нужен член правительства, который не верит народу, которым вызвался руководить.

Принято единогласно делегатами профсоюзной конференции работников газовых хозяйств управления «Оренбургоблгаз».

25.10.1989 г.

Председатель объединенного профкома Л. Н. КИРЮШИНА.

В конце номера

К читателям

Поздравим друг друга, читатель, — наконец-то на наш журнал была проведена действительно свободная подписка. И сразу число подписчиков возросло более чем в два раза, превысило 480 000. Сколько же людей до самого последнего времени не могло реализовать естественное право получать и читать журнал по своему выбору...

Но успокаиваться рано. Опыт минувшего года предостерегает: журнал пропадает целыми контейнерами, причем — примечательная подробность — в самых горячих точках. Почти тысяча книжек исчезла в Харькове перед выборами В. Коротича, сотни экземпляров — в Фергане перед печально известными событиями. Видимо, кого-то пугает наш призыв к единению народов страны, всех здоровых сил общества в поддержку стабильности Союза. Поступали сообщения о сожжении части тиража майского номера, так и не удалось выяснить, был ли это типографский брак или такие вот «потерявшиеся» в дороге экземпляры.

А бесконечные проволочки в доставке журнала. Смешно сказать — в Московскую область «Наш современник» приходит с месячным (и это в лучшем случае!) опозданием. Не менее тридцати дней требуется «Союзпечати», чтобы преодолеть не такую уж широкую ленту окружной дороги, отделяющей столицу от области. Право же, в допетровские времена почта работала куда оперативнее...

Иной раз письма озвдаченных подписчиков заставляют усомниться в правильности сведений, приобретенных еще в школе на уроках географии. Вроде бы расстояние от Южно-Сахалинска до Москвы во много раз больше, чем от столицы до Одессы. И все же одесситы получают журнал одними из последних — вместе с читателями Сахалина. Теперь вот и до Ленинграда, как пишут читатели, журнал идет чуть ли не два месяца. Что это — свидетельство полного развала железнодорожного сообщения или проявление чьей-то чиновной воли?

Возможно, и в этом году подобные «случайности», омрачающие подписчикам радость общения с журналом, повторятся. Где же выход? Как всегда, мы рассчитываем на помощь читателей. Только совместные действия могут принести успех. Мы не раз представляли жалобы с мест в директивные инстанции. Но и сами подписчики должны проявлять большую активность. Помощь в защите их интересов могли бы оказать и возникшие во многих городах клубы друзей «Нашего современника». В случае серьезной задержки в доставке журнала (считая от дня выхода — 15 числа каждого месяца) следует обращаться в местное отделение «Союзпечати». Для тех, чьи законные интересы не будут удовлетворены и после такого обращения, сообщаем телефон заместителя министра связи СССР, начальника Главного управления почтовой связи и распространения печати Манякина Евгения Алексеевича — 201-60-32. Обязанность министерства — поддерживать порядок во вверенной ему области. Надеемся, что подписчикам, стремящимся получить номер журнала, в новом году не придется обращаться с телеграммами к Председателю Совета Министров СССР, как вынуждена была сделать ленинградка Ольга Федоровна Конечна.

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА.

ПРЕМИИ

журнала «НАШ СОВРЕМЕННИК» за 1989 год

Редакционная коллегия присудила премии за лучшие произведения, опубликованные в журнале в 1989 году







С. АЛЕКСЕЕВ · М. АНТОНОВ · Т. ГЛУШКОВА · В. КОЖИНОВ · В. КОЧЕТКОВ









Ю. КУЗНЕЦОВ · И. МАРКЕЛОВ · Г. НЕМЧЕНКО · В. ПИКУЛЬ · О. ПЛАТОНОВ









В. РАСПУТИН · В. СОЛОУХИН · И. СТРЕЛКОВА · И. ШАФАРЕВИЧ · Ф. ШИПУНОВ

Сергею АЛЕКСЕЕВУ за первую книгу романа "Крамола" (№№ 1–4).

Михаилу АНТОНОВУ за статью "Выход есть!" (№№ 8, 9).

Татьяне ГЛУШКОВОЙ за статью "О русскости, о счастье, о свободе" (№№ 7, 9).

Вадиму КОЖИНОВУ за статью "Самая большая опасность..." (№ 1).

Виктору КОЧЕТКОВУ за подборку стихотворений "Остается лишь правды зерно", "Вот она – Родина", "Рубеж" (№№ 1, 7, 12).

Юрию КУЗНЕЦОВУ за подборку стихотворений "Дух или ветер" (№ 10).

Ивану МАРКЕЛОВУ за повесть "Коллегия" (№ 8).

Гарию НЕМЧЕНКО за повествование в рассказах "Заступница" (№ 10).

Валентину ПИКУЛЮ за исторические миниатюры "Мы не можем не любить Россию" (№ 6).

Олегу ПЛАТОНОВУ за статьи "В двух шагах от обрыва" и "О, Русь, взмахни крылами!.." (№№ 1, 7, 8).

Валентину РАСПУТИНУ за очерк "Байкал" и статьи "Правая, левая где сторона?", "Смысл давнего прошлого", "Из глубин в глубины" (№№ 7, 11).

Владимиру СОЛОУХИНУ за "Рассказы" и за подборку стихотворений "Осознавать светло и трезво..." (№№ 3, 9).

Ирине СТРЕЛКОВОЙ за статью "Заметки о национальном" (№ 7).

Игорю ШАФАРЕВИЧУ за статью "Русофобия" (№№ 6, 11).

Фатею ШИПУНОВУ за статью "Великая замятня" (№№ 9–12).